ИНСТИТУТ К.МАРКСА и Ф.ЭНГЕЛЬСА

К. МАРКС

И

Ф.ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ ТОМ XIV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

АНТИ-ДЮРИНГ

ПЕРЕВОРОТ В НАУКЕ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ г. ЕВГЕНИЕМ ДЮРИНГОМ

СОДЕРЖАНИЕ.

Тираж 20 000

Ноябрь 1931 г. Зак. № 201.

Типография “Печатный двор” Ленинград, Гатчинская, 26.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В XIV том Собрания сочинений Маркса-Энгельса вошли основные философские работы Энгельса.

В «Анти-Дюринге», «Диалектике природы» и «Людвиге Фейербахе» рассматриваются все коренные проблемы марксизма. Основное внимание здесь сосредотачивается на обосновании и развитии метода диалектического материализма, который Энгельс разрабатывает на основе изучения огромного исторического и эмпирического материала различных областей человеческого знания. Энгельс— материалист-диалектик, и поэтому для него диалектика понятий, это — лишь отражение того диалектического движения и развития, которое совершается в самом материальном мире.

«Анти-Дюринг» впервые был издан отдельной книгой в 1878 г. До этого он печатался отдельными статьями в органе германской социал-демократии «Vorwarts». В «предисловии к трем изданиям» Энгельс излагает причины и историю появления своего труда. «Анти-Дюринг» является прекрасным образцом того, как основоположники марксизма свою теоретическую работу непосредственным образом увязывали с насущными задачами рабочего движения.

Работа Энгельса над «Диалектикой природы» по времени совпадает и даже начало ее несколько предшествует работе над «Анти-Дюрингом». Основные выводы, к которым пришел Энгельс, работая над «Диалектикой природы», нашли свое выражение в «Анти-Дюринге», что, однако, ни в коей мере не умаляет самостоятельного значения первой работы, где всесторонне и систематически формулированы основные проблемы диалектики в естествознании.

После смерти Маркса Энгельсу пришлось заняться подготовкой к печати второго и третьего томов «Капитала», поэтому у нега не осталось времени, чтобы издать свою работу по диалектике природы.

«Людвиг Фейербах» вначале был напечатан отдельными статьями в «Neue Zeit», теоретическом органе социал-демократии, в 1886 г., отдельным же изданием в несколько переработанном виде вышел в 1888 г. В этой работе Энгельс излагает историю развития теоретических взглядов своих и Маркса и дает краткое изложение их содержания. Значение этой работы Энгельса в истории развития марксизма очень велико. Сжатость и популярная форма изложения делают ее доступной для самого широкого массового читателя.

* * *

Ввиду того, что большая часть материалов этого тома уже была набрана и отпечатана еще при старом руководстве института Маркса и Энгельса, чтобы не оттягивать его издание на ряд месяцев переводы остались старые: «Анти-Дюринг» и «Людвиг Фейербах»— по изданиям 1928 г., «Диалектика природы» — по изданию 1930 г. Проверку и исправление переводов приходится оставить до следующего издания.

Предметный указатель составлен заново т. Юдиным.

7 сентября 1931 г.

АНТИ-ДЮРИНГ

ПЕРЕВОРОТ В НАУКЕ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ г. ЕВГЕНИЕМ ДЮРИНГОМ

ПРЕДИСЛОВИЯ К ТРЕМ ИЗДАНИЯМ.

I.

Предлагаемый труд вовсе не есть плод какого-нибудь «внутреннего побуждения».

Наоборот, когда три года тому назад господин Дюринг появился вдруг в качестве адепта и в то же время реформатора социализма и вызвал на бой весь свой век, мои друзья в Германии стали обращаться ко мне с неоднократными настоятельными просьбами подвергнуть критике эту новую социалистическую теорию в тогдашнем центральном органе социал-демократической партии «Volks-staat». Они считали это безусловно необходимым, чтобы не дать молодой и только недавно окончательно объединившейся партии нового повода к сектантскому расколу и раздору. Они могли лучше, чем я, судить о положении вещей в Германии, поэтому я обязан был верить им. К этому присоединилось еще то обстоятельство, что часть социалистической печати приветствовала неофита с теплотой, которая, хотя и относилась к «доброй воле» господина Дюринга, заставляла, однако, опасаться, чтобы под предлогом именно этой дюринговской доброй воли не было на веру принято и дюринговское учение. Нашлись и люди, которые уж готовились распространить это учение в популярной форме среди рабочих. И, наконец, господин Дюринг и его маленькая сектантская кучка прибегли ко всем ухищрениям рекламы и интриги, чтобы заставить «Volksstaat» занять решительную позицию по отношению к новому, выступившему с такими огромными претензиями, учению.

Несмотря на это, прошел год, прежде чем я решился, отложив в сторону другие работы, «вкусить» от этого кислого плода. Это был плод, который приходилось, раз отведав его, съесть до конца. И он был не только очень кисел, но и очень велик. Новая социалистическая теория выступила как последний практический итог новой философской системы. Нужно было поэтому изучить ее в связи с этой системой, а значит, изучить и самое систему; нужно было следовать за господином Дюрингом в ту обширную область, в которой он трактует о всевозможных вещах и сверх того еще кое о чем. Так возник ряд статей, которые появились с начала 1877 года в преемнике «Volksstaat'a», лейппигском «Vorwarts'e», и здесь предлагаются в связном виде.

Таким образом, характер объекта критики побуждал ее к такой обстоятельности, которая абсолютно непропорциональна научному содержанию этого объекта, т. е. дюринговских сочинений. Впрочем, в извинение этой обстоятельности я могу сослаться еще на два других обстоятельства. Во-первых, она дала мне возможность развить с положительной стороны в многообразнейших затрагиваемых здесь областях мою точку зрения на вопросы, представляющие теперь более общий научный или практический интерес. Это имело место в каждой отдельной главе, и хотя это сочинение совсем не имеет цели противопоставить системе господина Дюринга другую систему, но от читателя, надеюсь, не укроется внутренняя связь выдвинутых мной идей. У меня уже теперь имеется достаточно доказательств, что в этом отношении мой труд не оказался совершенно бесплодным.

С другой стороны, «системосозидающий» господин Дюринг не представляет собою единичного явления в современной Германии. С некоторых пор в Германии растут дюжинами, как грибы, системы космогонии, натурфилософии вообще, политики, политической экономии и т. д. Ничтожнейший доктор философии, даже студиоз не могут

обойтись без целой «системы». Подобно тому как в современ-ном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех вопросах, по которым он должен подать свой голос; подобно тому как в политической экономии допускается, что каждый потребитель — основательный знаток всех товаров, которые ему приходится покупать для себя, подобно этому обстоит дело и в области науки. Свобода науки означает право писать обо всем, чему не учился, и выдавать это за единственный строго научный метод. А господин Дюринг — один пз характернейших представителей этой заносчивой псевдонауки, которая теперь выступает повсюду в Германии на переднем плане, заглушая все громом своих трескучих фраз. Трескучие фразы в поэзии, в философии, в политике, в политической экономии, в истории, трескучие фразы с кафедры и трибуны, трескучие фразы везде, трескучие фразы с претензиями на превосходство и глубину мысли в отличие от простых, плоско-вульгарных, трескучих фраз других наций, трескучие фразы как самый характерный и массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии: дешево, но скверно, подобно другим немецким фабрикатам, рядом с которыми они не были, к сожалению, представлены на филадельфийской выставке. Даже немецкий социализм — после доб-рого примера, поданного господином Дюрингом, с успехом упражняется теперь в трескучих фразах высшего сорта и выпускает кое-каких господ, чванящихся «наукой», из которой они «на самом деле ничегошеньки не выучили». Это — детская болезнь, свидетельствующая о начинающемся обращении немецкого студиоза в социал-демократическую веру, болезнь, которая неотделима от этого движения, но которая, однако, при удивительно здоровой натуре наших рабочих, будет, несомненно, изжита.

Не моя вина, что я должен был следовать за господином Дюрингом в области, в которых, в лучшем случае, я мог выступать только в качестве дилетанта. В подобных случаях я, по большей части, ограничивался тем, что противопоставлял ложным или неправильным утверждениям моего противника правильные, бесспорные факты. Так пришлось мне поступить в области юриспруденции и в некоторых вопросах естествознания. В других случаях дело шло об общих принципах из области теоретического естествознания, следовательно о вещах, в которых и естествоиспытатель-специалист вынужден выйти из рамок своей специальности и переступить в соседнюю область, — т. е. о вещах, в которых он, по признанию господина Вирхова, является таким же «полузнайкой», как и мы, простые смертные. Надеюсь, что к небольшим неточностям и погрешностям моего изложения отнесутся с тем же снисхождением, каким относятся в этих случаях друг к другу специалисты.

Когда я заканчивал это предисловие, мне попалось на глаза составленное господином Дюрингом объявление о новом «капитальном творении господина Дюринга «Новые основные законы рациональной физики и химии». Я отлично сознаю недостаточность своих сведений в химии и физике, но все же, думается, я достаточно знаю господина Дюринга, чтобы, не заглядывая даже в вышеназванное сочинение, предсказать, что установленные в нем законы физики и химии по своей ошибочности или тривиальности достойны занять место рядом с прежними, открытыми господином Дюрингом и ра-зобранными в моем сочинении законами политической экономии, мировой схематики и т. д. и что построенный господином Дюрингом ригометр, или инструмент для измерения очень низких температур, пригодится в качестве измерителя не высоких или низких температур, а единственно только невежественной дерзости господина Дюринга.

Лондон, 11 июня 1878 г.

II.

Для меня было неожиданностью, что настоящее сочинение должно появиться новым изданием. Разбиравшиеся в нем вопросы в наше время уже почти что забыты; само оно не только печаталось частями в лейпцигском «Vorwarts'e» в 1877 и 1878 гг. для многих тысяч читателей, но было выпущено отдельной книгой в большом количестве экземпляров. Кого же еще может интересовать, что я писал несколько лет тому назад о господине Дюринге?

Успехом этим я обязан, разумеется, прежде всего тому обстоятельству, что это произведение, как и вообще почти все мои находившиеся еще тогда в продаже сочинения, было, вскоре после объявления закона против социалистов, запрещено в Германской империи. Для того, кто не закоснел в наследственных бюрократических предрассудках стран Священного союза, было ясно, к чему приведет этот запрет; следствием его были удвоенный и утроенный сбыт запрещенных книг и доказательство бессилия господ из Берлина, которые объявляют запрещения и не могут провести их на практике. В результате — любезность имперского правительства вызывает потребность в большем количестве новых изданий моих мелких сочинений, чем я это могу взять на себя; у меня нехватает времени просмотреть как следует текст этих вещей, и, по большей части, я должен ограничиваться простой перепечаткой их.

К этому присоединяется еще другое обстоятельство. Разобранная здесь «система» господина Дюринга захватывает обширнейшую теоретическую область; я вынужден был повсюду следовать за ним и противопоставить его взглядам свои собственные. Отрицательная критика стала благодаря этому положительной; полемика превратилась в более или менее связанное изложение представляемого Марксом и мной диалектического метода и коммунистического мировоззрения, к тому же в довольно обширном ряде областей знания. С тех пор как Маркс впервые изложил в «Нищете философии» и «Коммунистическом манифесте» этот метод, последний пережил двадцатилетний инкубационный период, пока с появлением «Капитала» он не стал захватывать с растущей быстротой все более широкие круги; а в настоящее время он имеет последователей во всех странах, даже за пределами Европы, где имеются, с одной стороны, пролетарии, а с другой,—добросовестные научные теоретики. Таким образом, существует, повидимому, читающая публика, настолько интересующаяся этим вопросом, что она готова ради положительной части сочинения примириться и с ставшей теперь во многих отношениях бесцельной полемикой со взглядами Дюринга.

Замечу мимоходом: так как излагаемый здесь метод и мировоззрение в значительнейшей своей части был обоснован и развит Марксом и лишь в ничтожной мере мной, то, само собой разумеется, что моя книга появилась не без его ведома. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как отослать ее в печать, а десятая глава отдела о политической экономии («Из критической истории») была написана Марксом и только из посторонних соображений была мною, к сожалению, виде предыдущее. Во-первых, как мне ни хотелось изменить кое-что в изложении, у меня не было времени для основательного пересмотра книги. Дело в том, что на мне лежит обязанность приготовить к печати оставшиеся от Маркса рукописи, а это гораздо важнее, чем все прочее. К тому же и совесть моя противится всякому изменению текста. Моя книга представляет полемическое сочинение, и по отношению к своему противнику я считаю себя обязанным не улучшать ничего там, где он не может ничего улучшить. Я мог бы только потребовать себе право возразить на ответ господина Дюринга. Но я не читал и без особой нужды не стану читать того, что господин Дюринг написал о моей работе: теоретические счеты с ним я покончил. Кроме того, я тем более обязан соблюдать по отношению к нему правила литературной борьбы, что с тех пор берлинский университет обошелся с ним до позорности несправедливо. Правда, он был за это наказан. Университет, который идет на то, чтобы лишить господина Дюринга, при всех известных обстоятельствах, свободы преподавания, не вправе жаловаться, если

при других, тоже всем известных обстоятельствах, ему навязывают господина Швенингера.

Только во второй главе третьего отдела, «Очерк теории», мною сделаны объяснительные дополнения. Так как в ней излагается коренной пункт защищаемого мною мировоззрения, то мой против-ник не будет сетовать на меня за то, что я старался быть более популярным и сделать кое-какие дополнения. У меня же к этому есть и внешний повод. Дело в том, что три главы—первая глава Введения и первая и вторая главы третьего отдела—были мною обработаны в самостоятельную брошюру для моего друга Лафарга, который должен был перевести ее на французский язык; затем с французского издания были сделаны переводы на итальянский и польский языки. По-немецки эта же брошюра вышла под заглавием «Развитие социализма от утопии к науке»; в течение нескольких месяцев она выдержала три издания и была переведена на русский и датский языки. Во всех этих изданиях только упомянутая выше глава появилась с дополнениями, и было бы педантично с моей стороны в новом издании оригинального произведения придерживаться первоначального текста, а не того, который в позднейших изданиях получил международное значение.

Но, кроме этого, мне хотелось бы внести изменения по двум пунктам. Во-первых, по отношению к первобытной истории человечества, ключ к которой дал нам Морган лишь в 1877 году. Но так как мне за это время пришлось обработать относящийся сюда доступный мне материал в моей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (Цюрих 1884 г.), то я считаю достаточным простое указание на эту работу. Во-вторых, по отношению к той части, в которой речь идет о теоретическом естествознании. Она сильно страдает от неясности изложения, и многое можно было бы изложить гораздо яснее и определеннее. Если я не считаю себя вправе изменить текст, то тем более я обязан критиковать самого себя здесь, в предисловии.

Маркс и я были единственными, которые из немецкой идеалистической философии спасли сознательную диалектику, перенеся ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы требуется знакомство с математикой и естественными науками. Маркс знал основательно математику, но за естественными науками мы могли следить лишь урывками, спорадически. Поэтому, как только я покинул торговую контору и переехал в Лондон, я в меру сил подверг себя, в области математики и естествознания, процессу полного «линяния», как выражается Либих, п потратил на это бОльшую часть своего восьмилетнего пребывания там. Но в самый разгар этих занятий мне пришлось познакомиться с так называемой натурфилософией г. Дюринга. Вполне естественно поэтому, если я в то время часто не мог подыскать надлежащего технического термина и с некоторым трудом ориентировался в области теоретической. Зато сознание моей неуверенности делало меня осторожным и тем предохраняло от серьезных прегрешений против установленных в то время фактов и от извращения общепризнанных теорий. И лишь один непризнанный великий математик письменно жаловался Марксу, что я дерзнул оскорбить честь.

В этих занятиях математикой и естествознанием мне важнее всего было убедиться на частностях, — по отношению к общему я давно уже в этом не сомневался, — что над хаосом бесчисленных изменений в природе господствуют те же диалектические законы движения, что и над кажущейся случайностью исторических событий, — законы, которые проходят красной нитью через историю развития человеческой мысли и постепенно проникают в сознание мыслящих людей; законы, которые во всеобъемлющей, хотя и мистической форме,впервые были открыты Гегелем и которые нам хотелось — такова была одна из наших задач—освободить от этой мистической формы и представить во всей

их простоте и всеобщности. Само собою разумеется, что старая натурфилософия, как бы много она ни содержала в себе действительно хорошего и плодотворного, нас не могла удовлетворять, как показано в прилагаемом сочинении.

Она в своей гегельянской форме грешила тем, что не признавала за природой никакого развития во времени, ничего идущего «одно за другим», но лишь идущее «одно возле другого». Причины этого коренились, с одной стороны, в самой гегелевской системе, которая только «Духу» приписывала историческое развитие, а с другой стороны, и в тогдашнем общем состоянии естествознания. Таким образом, в этом отношении Гегель стоит далеко позади Канта, который в своей теории о происхождении миров предполагал, что солнечная система имела начало, а своим открытием влияния морских приливов на замедление вращения земли предвещал ее гибель. Наконец, моя задача была не в том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а в том, чтобы найти их в ней и из нее их развить.

Однако выполнить это в общей связи и по отношению к каждой отдельной области составляет исполинский труд. Столь обширное поле едва ли был бы в состоянии обработать даже тот, кто посвятил бы этому все свое свободное время. Но со смерти К. Маркса мое время было поглощено более настоятельными обязанностями, и я должен был прервать свою работу. Я вынужден пока удовлетвориться содержащимися в этой работе намеками; быть может, в будущем мне представится случай собрать и издать результаты моих работ вместе с весьма важными математическими манускриптами, оставшимися после Маркса.

Может, впрочем, случиться, что прогресс теоретического естествознания сделает большую часть моей работы или всю ее совершенно излишней, ибо революция, на которую теоретическое естествознание толкается простой необходимостью систематизировать массу накопляющихся чисто эмпирических открытий, заставит даже самого упорного эмпирика признать диалектический характер явлений природы. Старьте, застывшие противоречия, резкие, необходимые границы все больше и больше исчезают. С того времени, как удалось превратить в жидкое состояние последние «настоящие» газы, с того времени, как было доказано, что тело может быть приведено в такое состояние, в котором нельзя отличить капельнообразной формы от газообразной, — аггрегаты утратили последний остаток своего прежнего абсолютного характера. Закон кинетической теории газов, в силу которого в совершенных газах квадраты скоростей, с какими при одинаковой температуре движутся отдельные молекулы газов, обратно пропорциональны весу молекул, — этот закон ввел также и теплоту в ряд тех форм движения, которые подлежат нашему измерению. Если еще десять лет тому назад вновь открытый великий основной закон движения понимали как простой закон сохранения энергии, как простое выражение неразрушимости и несози-даемости движения, следовательно просто с его (закона) количественной стороны, то в настоящее время это узкое отрицательное определение все больше и больше вытесняется положительным — именно учением о превращении энергии, и в атом определении ясно выражено качественное содержание процесса и исчезает последнее воспоминание о внемировом творце. Теперь уже не приходится доказывать как нечто новое, что количество движения (так называемая энергия) не изменяется, когда из кинетической энергии (так называемой механической силы) оно превращается в электричество, теплоту, потенциальную энергию и т. п. и наоборот; это раз навсегда служит теперь основанием более глубокого исследования самого процесса превращения, того великого основного процесса, в познании которого заключается все познание природы. С тех пор как биологию изучают при свете теории эволюции, в области органической природы одна за другой исчезают окостенелые границы классификации; не поддающиеся классификации промежуточные звенья

увеличиваются с каждым днем, более точное исследование перебрасывает организмы из одного класса в другой, и отличительные признаки, делавшиеся чуть ли не символом веры, теряют свое безусловное значение; мы знаем теперь кладущих яйца млекопитающих и, если это подтвердится, то и четвероногих птиц. Если уже много лет тому назад Вирхов вынужден был вследствие открытия клетки заменить неделимость индивидуума федерацией клеточных государств, —что, конечно,очень прогрессивно, но мало соответствует научной и диалектической точке зрения, — то теперь понятие о животном (следовательно , и человеческом) индивидууме еще более осложняется вследствие открытия белых кровяных шариков, амебообразно движущихся в организме высших животных. А ведь именно эти будто бы непримиримые и неразрешимые полярные противоположности, эти насильственно закрепленные границы классификации и придали современному теоретическому естествознанию ограниченно-метафизический характер. Признание, что эти противоположности и различия имеют в природе лишь относительное значение, что, напротив, приписываемая природе неподвижность и абсолютность внесены в нее лишь нашей рефлексией,—это признание составляет основной пункт диалектического понимания природы. Правильность диалектического понимания все более подтверждается накопляющимися фактами естествознания, и это понимание легче воспринимается, если с диалектическим характером этих фактов сопоставить познание закона диалектического мышления. Во всяком случае естествознание находится теперь на такой ступени развития, что оно не может уже ускользнуть от диалектического обобщения, если не забудут, что результаты, в которых обобщаются данные опыта, суть понятия; искусство же оперировать понятиями не врожденно и не заключается в обыденном здравом смысле, но требует действительного мышления, которое, в свою очередь, имеет за собой столь же продолжительную историю, как и опытное естествознание. Именно тем, что естествознание усвоит себе результаты, достигнутые развитием философии в течение двух с половиной тысяч лет, оно, с одной стороны, освободится от всякой обособленной, вне и над ним стоящей натурфилософии, а с другой—также и от своего собственного, унаследованного от английского эмпиризма, поверхностного метода мышления.

Лондон, 23 сентября 1885г.

III.

Нижеследующее новое издание представляет, за немногими, очень незначительными, стилистическими поправками, перепечатку предыдущего. Я позволил себе существенные дополнения только в одной главе, в десятой главе второго отдела: «Из критической истории», в силу следующих соображений.

Как уже упомянуто в предисловии ко второму изданию, эта глава во всем существенном составлена Марксом. Первоначально, когда работа предназначалась для газетной статьи, я был вынужден значительно сократить рукопись Маркса, и именно в тех местах, где критика дюринговских взглядов отступает на задний план перед самостоятельным изложением истории политической экономии. Но именно эти части рукописи представляют еще и теперь величайший интерес. Я считаю себя обязанным привести, по возможности, полно и дословно те рассуждения Маркса, в которых он отводит таким людям, как Петти, Нора, Локк, Юм, подобающее им место в зарождении классической политической экономии; еще более относится это к его объяснению «Экономической таблицы» Кенэ, этой оставшейся для всей современной политической экономии неразрешимой загадки сфинкса. Все же то, что касалось исключительно сочинений господина Дюринга, я выпустил, поскольку это не нарушало связи целого.

Вообще же я могу быть совершенно доволен тем распространением, которое получили со времени предыдущего издания изложенные в этом сочинении взгляды в науке и в рабочем классе, и притом во всех цивилизованных странах мира.

Лондон, 23 мая 1894 г.

ВВЕДЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Новейший социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдений, с одной стороны, над господству- ющим в современном обществе антагонизмом между имущими и неимущими классами, капиталистами и наемными рабочими, с дру-гой, — над анархией, существующей в производстве. Но по своей теоретической форме он кажется на первый взгляд только дальнейшим развитием и как бы более последовательным проведением принципов, установленных великими философами XVIII века. Как всякая новая теория, социализм должен был примкнуть к порядку идей, созданному его ближайшими предшественниками, хотя его корни и лежали очень глубоко в экономических фактах.

Великие люди, просветившие французские головы для приближавшейся революции, сами были крайними революционерами. Никаких внешних авторитетов они не признавали. Религия, взгляды на природу, общество, государство, — все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности. Разум стал единственной меркой, под которую все подводилось. Это было то время, когда, по выражению Гегеля, «мир был поставлен на голову», т. е. когда человеческая голова и придуманные ею теоретические положения предъявляли притязание служить единственным основаннем всех человеческих действий и общественных отношений и когда вслед за тем противоречившая этим положениям действительность была фактически ниспровергнута сверху донизу. Все старые общественные и государственные формы, все традиционные понятия признаны неразумными и отброшены, как старый хлам. Было решено, что до настоящего момента мир руководился одними предрассудками и все его прошлое достойно лишь сожаления и пре-зрения. Теперь впервые взошло оолнце, наступило царство разума, и с этих пор суеверие и несправедливость, привилегии и угнетение уступят место вечной истине, вечной справедливости, естественному равенству и неотъемлемым правам человека.

Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализованным царством буржуазии; что вечная справедливость осуществилась в виде буржуазной юстиции; что естественное равенство ограничилось равенством граждан перед законом, а существеннейшим из прав человека было объявлено право буржуазной собственности. Разумное государство и «общественный договор» Руссо оказались и могли оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Мыслители XVIII века, как и все их предшественники, не могли выйти за пределы, которые ставила им тогдашняя эпоха.

Но рядом с борьбой между феодальным дворянством и буржуазией, выступавшей в качестве представителя всего остального общества, существовал общий антагонизм— эксплуататоров и экс-плоатируемых, богатых тунеядцев и трудящихся бедняков. Именно он дал возможность представителям буржуазии явиться защитниками не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества. Более того. Буржуазия уже с самого начала носила в себе своего будущего противника: капиталисты не могли существовать без наемных рабочих, и те самые условия, в которых средневековый цеховой мастер развился в современного капиталиста, заставили цехового подмастерья и не принадлежащего к цеху поденщика превратиться в пролетария. И хотя требования, которые защищало третье сословие в своей борьбе с дворянством, в общих чертах действительно соответствовали интересам различных слоев трудящегося населениятого

времени, тем не менее при каждом крупном восстании горожан вспыхивало самостоятельное движение того слоя, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата.. Таково было движение перекрещенцев и Томаса Мюнцера в эпоху реформации и крестьянских войн в Германии, левеллеров — во время английской революции, Бабефа — во время французской. Вместе с революционными попытками еще не сложившегося класса возникали и соответствующие теории: утопические изображения идеального общественного строя в XVI и XVII столетиях, а в XVIII— уже прямо коммунистические теории (Морелли и Мабли). Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение отдельных личностей; доказывалась необходимость уничтожить не только классовые привилегии, но и самые классы. Аскетически суровый, спартанский коммунизм, осуждавший всякое наслаждение, был первым проявлением нового учения. Потом явились три великих утописта: Сен-Симон, у которого буржуазные стремления уживались еще отчасти с защитой интересов пролетариата, Фурье и, наконец, Оуэн, который в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порожденного этим способом производства антагонизмами выработал ряд проектов устранения классовых различий виде системы, непосредственно примыкавшей к французскому материализму.

Эти три великих утописта сходились между собою в том, что никогда не выступали защитниками интересов исторически развившегося к тому времени пролетариата. Подобно философам XVIII века, они хотели с самого начала освободить все человечество, а не только данный общественный класс. Подобно этим философам, они хотели основать царство разума и вечной справедливости, но их царство, как небо от земли, отличается от царства разума французских просветителей. Буржуазный порядок, основанный на принципах философов XVIII века, так же неразумен и несправедлив и должен быть отброшен с таким же презрением, как феодализм и все прежние общественные формы. До сих пор истинные законы разума и справедливости не были известны человечеству, и только по этой причине оно ими не руководилось. Для его счастья недоставало того гениального человека, который явился теперь поведать миру всю истину. Что он появился именно теперь, что истина открыта только теперь, это вовсе не является необходимым результатом общего хода исторического развития, неизбежно ведшего к нему, а просто случайностью. Гениальный человек мог с таким же удобством родиться пятьсот лет тому назад и тем избавить человечество от пяти веков заблуждений, борьбы и страданий.

Миросозерцание утопистов долго господствовало над социалистическими воззрениями XIX века и отчасти господствует еще поныне. Его держались все английские и, до недавнего времени, все французские социалисты, а также прежние немецкие коммунисты, не исключая Вейтлинга. Социализм в их представлении есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости, и нужно только открыть его, чтобы он собственной силой покорил весь мир; а так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта. При этом абсолютная истина, разум и справедливось различны у каждого основателя школы и обусловливаются субъективным складом его ума, условиями его жизни, количеством его познаний и способом мышления. Поэтому при столкновении этих различных сортов абсолютной истины примирение возможно лишь путем сглаживания их взаимных противоречий.

Из этого не могло выработаться ничего, кроме особого рода эклектического, среднего социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства рабочих-социалистов Англии и Франции. Этот эклектический социализм представляет собою пеструю смесь из наиболее общепризнанных критических замечаний,

экономических положений и идеальных представлений различных основателей сект; эта смесь получается тем легче, чем скорее ее составные части утрачивают в потоке споров, как камешки в ручье, свои острые углы и грани. Чтобы превратиться в науку, социализм должен был прежде всего стать на реальную почву.

Между тем рядом с французской философией XVIII века и вслед за нею развилась новейшая философия, нашедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой было возвращение к диалектике как высшей форме мышления. Древние греческие философы были все прирожденными диалектиками, и Аристотель, самая всеобъемлющая голова между ними, — исследовал уже все существеннейшие формы диалектического мышления. Хотя и в новой философии диалектика имела блестящих представителей (Декарт и Спиноза), но она, особенно под влиянием английской философии, все более и более склонялась к так называемому метафизическому способу мышления, почти безраздельно овладевшему также французами XVIII века, по крайней мере в их специально-философских трудах. Однако вне этой области они смогли оставить нам высокие образцы диалектики; припомним только «Племянника Рамо» Дидро и сочинение Руссо «О происхождении неравенства между людьми». Мы укажем здесь вкратце на существеннейшие черты обоих этих методов мышления.

Когда мы мысленно рассматриваем природу или человеческую историю, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения соединений и взаимодействия, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все представляется движущимся, изменяющимся, возникающим и исчезающим. Таким образом, мы видим сперва общую картину, в которой частности еще более или менее стушевываются, мы больше обращаем внимание на ход движения, на переходы и сцепления, чем на то, что именно движется, переходит, сцепляется. Этот первоначальный, наивный, но по существу правильный взгляд на мир был присущ древне-греческой философии и впервые ясно выражен Гераклитом: все существует и в то же время не существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения частностей, составляющих ее, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая кар-тина. Для того, чтобы изучить эти частности, мы должны изъять их из их естественной или исторической связи и, рассматривая каждую порознь, исследовать ее свойства, ее частные причины, действия и т. д. В этом состоит прежде всего задача естествознания и истории, т. е. тех отраслей науки, которые, по вполне понятной причине, занимали у греков классических времен лишь второстепенное место, потому что грекам нужно было раньше накопить необходимый для этого материал. Только после того, как естественно-научный и исторический материал был накоплен в достаточном количестве, могло возникнуть критическое исследование, сравнение и разделение на классы, порядки и виды. Поэтому приемы точного исследования природы развились впервые лишь у греков александрийского периода, а затем, в средние века, развиты дальше арабами. Настоящее же естествознание начинается только со второй половины XV века, и с этого времени оно непрерывно делает все более быстрые успехи. Разложение природы на отдельные ее части, разделение различных явлений и предметов в природе на определенные классы, анатомическое исследование разнообразного внутреннего строения органических тел,—все это было основой тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось развитие естествознания в последние четыре столетия. Но тот же способ изучения оставил в нас привычку брать предметы и явления природы в их обособленности, вне их великой общей связи, и в силу этого—не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменяющиеся, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми. Перенесенное Бэконом и Локком из естествознания в философию,

это мировоззрение создало характерную ограниченность последних -столетий: метафизический способ мышления.

Для метафизика вещи и их умственные образы, т. е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Метафизик мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из «да—да, нет—нет; что сверх того, то от лукавого». Для него вещь существует или не существует; для него предмет не может быть самим собою, и в то же время чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и следствие также совершенно противоположны друг другу. Этот способ мышления потому кажется нам на первый взгляд вполне верным, что он присущ так называемому здравому смыслу. Но здравый человеческий смысл, весьма почтенный спутник в домашнем обиходе, между четырьмя стенами, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится пуститься в далекий путь исследования. Точно так же и метафизическое миросозерцание, вполне верное и необходимое в известных, более или менее широких областях, рано или поздно достигает тех пределов, за которыми оно становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за предметами оно не видит их взаимной связи, за их бытием не видит их возникновения и исчезновения, за их покоем не видит их движения за деревьями не видит леса. Мы, например, в обыденной жизни можем с уверенностью сказать, существует ли данное животное или нет, но при более точном исследовании мы убеждаемся. что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, трудности которого прекрасно известны юристам, тщетно пытавшимся открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери можно считать убийством. Невозможно точно так же определить и момент смерти, так как физиология доказывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень медленно совершающийся процесс. Всякое органическое существо в каждое данное мгновение таково же, каким оно было в предыдущее, и вместе с тем не таково. В каждое мгновение оно перерабатывает полученное им извне вещество и выделяет из себя другое вещество, одни клеточки его организма вымирают, другие нарождаются, так что, спустя извест-ный период времени, вещество данного организма вполне обно-вляется, заменяется другим составом атомов; вот почему каждое органическое существо всегда то же и однако не то же. Точно так же, при более точном исследовании, мы находим, что оба полюса какой-нибудь противоположности — положительный и отрицательный—столь же неотделимы один от другого, как и противоположны, и что они, несмотря на всю противоположность, взаимно проникают друг друга. Мы видим далее, что причина и следствие суть понятия, имеющие значение лишь в применении к отдельному явлению, но что если рассматривать то же явление в его общей мировой связи, то эти два понятия соединяются и переходят в представление о всеобщем взаимодействии, в котором причина и следствие постоянно меняются местами, и то, что теперь или здесь является следствием, станет там или тогда причиной, и наоборот.

Все эти явления и приемы исследования не вмещаются в рамки метафизического мышления. Для диалектики же, которая берет вещи и их умственные отражения главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении, такие явления, как вышеприведенные, напротив, подтверждают лишь ее собственный метод. Природа есть пробный камень диалектики, и современнре естествознание, представившее для этой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал, тем самым доказало, что в природе, в конце концов, все свершается диалектически, а не метафизически, что она движется не в вечно однородном, постоянно сызнова повторяющемся круге, а переживает действительную историю. Здесь

прежде всего следует указать на Дарвина, который нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь современный органический мир, растения и животные, а следовательно также и человек, есть продукт процесса развития, длившегося миллионы лет. Но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то это противоречие добытых научных результатов с вышеизложенным метафизическим способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и их читателей.

Итак, точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии человека, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может быть приобретено только путем диалектики, только принимая постоянно в соображение общее взаимодействие между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными. На такую именно точку зрения стала новейшая немецкая философия. Кант начал свою ученую карьеру с превращения неизменной и вечной — после знаменитого первого толчка—солнечной системы Ньютона в исторический процесс, начавшийся возникновением солнца и планет из вращающейся туманной массы. Он уже пришел при этом к тому выводу, что возникновение солнечной системы предполагает и ее будущее исчезновение. Спустя полстолетие его взгляд был математически обоснован Лапласом, а еще полустолетием позже спектроскоп показал существование во вселенной предположенных Кантом раскаленных газовых масс в различных степенях сгущения.

Новейшая немецкая философия нашла свое завершение в гегелевской системе, величайшая заслуга которой состоит в том, что она впервые представила весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. исследовала его в беспрерывном движении,, изменении, преобразовании и развитии и пыталась раскрыть взаимную внутреннюю связь этого движения и развития. Людям, стоящим на этой точке зрения, история человечества перестала казаться нелепой путаницей бессмысленных насилий, которые в равной мере все осуждаются перед судейским креслом теперь лишь созревшего-философского разума и которые лучше всего возможно скорее забыть. История людей явилась процессом развитая самого человечества, и задача научной мысли свелась к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей.

Для нас здесь безразлично, разрешила ли система Гегеля все поставленные ею себе задачи; ее великая заслуга состояла в самой постановке этих задач. Разрешение их не может быть делом какого бы то ни было единичного ума. Хотя Гегель, на-ряду с Сен-Симоном, был самым всеобъемлющим умом своего времени, но ему все-таки пришлось считаться как с неизбежной ограниченностью своих собственных знаний, так и с ограниченностью — в смысле глубины и обширности—знаний и взглядов своей эпохи. К этому присоединилось еще третье обстоятельство. Гегель был идеалист, т.е. его мысли не казались ему более или менее отвлеченными отражениями существующих в действительности вещей и явлений, а, наоборот, предметы и их развитие казались ему лишь воплощением «Идеи», существовавшей где-то еще до сотворения мира. Таким образом, все было поставлено на голову, и действительная связь мировых явлений вывернута наизнанку. И хотя Гегель сделал немало верных и гениальных указаний относительно взаимной связи некоторых отдельных явлений, но все же упомянутые нами причины привели к тому, что даже в частностях его системы многое оказалось ошибочным, искусственным, натянутым, словом — извращенным. Гегелевская система, как система, была колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде. К тому

же она страдала неизлечимым внутренним противоречием: с одной стороны, в основе ее лежало убеждение в том, что человеческая история есть процесс развития, ход которого по самой его природе не может быть закончен открытием так называемой абсолютной истины; но, с другой стороны, его система претендует быть изложением этой именно истины. Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления, что, однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать громадные успехи с каждым поколением.

Уразумение полной ошибочности господствовавшего до тех пор в Германия идеализма должно было неизбежно привести к материализму, но, само собой разумеется, не простому, метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века. В противоположность наивно-революционному, простому отрицанию всей протекшей истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества, причем его задачей является открытие законов движения этого процесса. В противоположность господствовавшему у французов XVIII века и еще у Гегеля представлению о природе, как о всегда равном себе целом, неизменно движущемся в одних и тех же ограниченных сферах с вечными мировыми телами, как учил о них Ньютон, и с неизменными органическими видами, как учил о них Линней, современный материализм связывает в одну систему все новейшие успехи естествознания, благодаря которым стало ясно, что природа тоже имеет свою историю во времени, что небесные тела, как и все виды организмов, населяющие их при благоприятных условиях, возникают и исчезают и что эти сферы, поскольку мы их вообще допускаем, принимают бесконечно большие размеры. В обоих случаях материализм является по существу диалектическим и делает излишней всякую философию, предъявляющую претензию стать выше других наук. Когда к каждой отдельной науке применяется требование выяснить свое место в общей системе вещей и знаний, какая-либо особая наука об этой общей их связи становится излишней. Из всей прежней философии самостоятельное значение сохраняет лишь наука о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика, все же остальное входит в положительные науки о природе и истории.

Но между тем как естественно-научное миросозерцание могло развиваться лишь по мере того, как исследования доставляли соответствующие положительные знания, — уже значительно раньше совершились исторические события, обусловившие собою решительный поворот в понимании истории. В 1831 г. в Лионе произошло первое рабочее восстание; с 1838 по 1842 год первое национальное рабочее движение, движение английских чартистов, достигло своего апогея. Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом стала занимать первое место в истории более развитых стран Европы, по мере того как развивались, с одной стороны, крупная промышленность, а с другой— новоприобретенное политическое господство буржуазии. Факты все с большей и большей наглядностью показывали всю лживость учения буржуазной экономии о тожестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и всеобщем благополучии народа, которое будто бы явится следствием свободной конкуренции. Невозможно уже было не считаться с этими фактами, равно как и с французским и английским социализмом, который являлся их теоретическим, правда крайне несовершенным, выражением. Но старое, идеалистическое, еще не отвергнутое воззрение на историю не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах, как вообще оно не признавало этих интересов. Производство, как и все экономические отношения, являлось в нем, между прочим, в качестве второстепенного элемента «истории культуры». Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что вся она, за исключением первобытного состояния, была историею борьбы классов, что эти борющиеся общественные классы являются в каждый данный момент результатом

отношений в производстве и на транспорте,— словом, экономических отношений своего времени. Экономический строй общества каждой данной эпохи представляет собою ту реальную почву, свойствами которой объясняется в последнем счете вся надстройка, образуемая совокупностью правовых и политических учреждений, равно как религиозных, философских п прочих воззрений каждого данного исторического периода. Гегель освободил от метафизики понимание истории: он сделал его диалектическим,— но его собственный взгляд на нее был идеалистичен по существу. Теперь идеализм был изгнан из его последнего убежища, из области истории, теперь понимание истории стало материалистическим, теперь найден был путь для объяснения человеческого самосознания условиями человеческого существования вместо прежнего объяснения этих условий человеческим самосознанием.

Поэтому социализм является теперь не случайным открытием того или другого гениального ума, а неизбежным следствием борьбы двух исторически возникших классов—пролетариата и буржуазии. Его задача заключается уже не в том, чтобы измыслить возможно более совершенный общественный строй, а в том, чтобы исследовать историко-экономический процесс, необходимым следствием которого явились названные классы с их взаимной борьбою, и чтобы в экономическом положении, созданном этим процессом, найти средство для разрешения этой борьбы. Но прежний социализм был так же несовместим с этим материалистическим взглядом на историю, как несовместимы были с диалектикой и с новейшим естествознанием воззрения французских материалистов на природу. Прежний социализм хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, но он не мог объяснить его, а следовательно не в состоянии был справиться с ним,—он мог лишь объявить его никуда не годным. Чем сильнее восставал он против неизбежной при этом способе производства эксплоатации рабочего класса, тем менее был он в состоянии наглядно объяснить, в чем состоит эта эксплоатация и как она возникает. Это было сделано благодаря открытию прибавочной стоимости. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и свойственной ему эксплоатации рабочих; что даже в том случае, когда капиталист покупает рабочую силу по полной стоимости, какую она, в качестве товара, имеет на рынке, он все же извлекает из нее стоимость больше той, которую он заплатил за нее, и что эта прибавочная стоимость есть источник той суммы стоимостей, благодаря которой накопляется в руках имущих классов постоянно возрастающая масса капиталов. Так было выяснено происхождение капиталистического способа производства, равно как и производства самого капитала.

Этими двумя великими открытиями — материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического про-изводства посредством понятия о прибавочной стоимости — мы обязаны Марксу. Благодаря им социализм стал теперь наукой, которую нужно лишь разработать во всех ее подробностях и во взаимной связи ее отдельных частей.

Приблизительно так обстояли дела в области теоретического социализма и отмершей ныне философии, когда г. Евгений Дюринг не без громкого шума выскочил на сцену и возвестил о произведенном им полном перевороте в философии, политической экономии и социализме.

Посмотрим же, что обещает нам г. Дюринг и... как он выполняет свои обещания.

II. ЧТО ОБЕЩАЕТ ГОСПОДИН ДЮРИНГ.

Относящиеся сюда сочинения господина Дюринга, это—прежде всего его «Kursus der Philosophic» («Курс философии»), его «Kursus der National- und Sozialoekonomie» («Курс политической и социальной экономии») и его «Kritische Geschichte der Nationaloeko-nomie und des Sozialismus» («Критическая история политической экономии и социализма»). Мы займемся прежде всего преимущественно его первым сочинением.

На первой же странице его господин Дюринг возвещает о себе как о «том, кто берет на себя представительство этой силы (философии) в данную эпоху и на ближайший обозримый период времени». Таким образом он провозглашает себя единственным истинным философом настоящего времени и «обозримого» будущего. Кто расходится с ним, расходится с истиной. Не мало людей уже до господина Дюринга думали о себе нечто подобное, но — за исключением Рихарда Вагнера—он, кажется, первый, который невозмутимо говорит это о себе. И к тому же истина, о которой идет у него речь, это — «окончательная истина в последней инстанции».

Философия господина Дюринга есть «естественная система» или «философия действительности»... действительность мыслится в ней таким способом, который исключает всякий повод к мечтательному и субъективно ограниченному представлению о мире. Таким образом, философия эта такого свойства, что она возносит господина Дюринга над признаваемыми и им самим границами его лично-субъективной ограниченности. Это, разумеется, необходимо, чтобы позволить ему устанавливать окончательные истины в последней инстанции, хотя мы пока еще не знаем, как должно совершиться это чудо.

Эта «естественная система самого по себе ценного для духа знания», «не поступаясь нисколько глубиной содержания, надежно установила основные формы бытия». С своей «действительно критической точки зрения» она представляет элементы действительной и, сообразно с этим, направленной на действительность природы и жизни философии, которая не оставляет никаких мнимых горизонтов, а в своем мощно революционизирующем движении развертывает все небеса и земли внешней и внутренней природы; это—«новый способ мышления», и результаты его представляют «совершенно своеобразные выводы и взгляды... системосозидающие идеи... твердо установленные истины». Мы имеем в ней «работу, которая должна искать свою силу в концентрированной инициативе», — что это значит, бог его знает; «доходящее до корней исследование... глубоко основательную науку... строгонаучную концепцию вещей и людей... всесторонне проникающую умственную работу... творческий набросок охватываемых мыслью предпосылок и следствий... абсолютно фундаментальное». В политико-экономической области он дает нам не только «исторически и систематически объемлющие работы», из которых исторические, сверх того, отличаются «моим историеописанием в высоком столе» и которые в политическую экономию вносят «творческие изменения», но заканчивает также собственным, совершенно разработанным, социалистическим планом будущего общества «практическим плодом ясной и проникающей до последних корней теории» и поэтому так же непогрешим и единоспасающ, как дюрингова философия; ибо «только в той социалистической картине, которую я нарисовал в своем «Курсе политической и социальной экономии», может на место просто иллюзорной или же насильственной собственности стать подлинная собственность», с чем придется сообразоваться будущему.

Можно было бы без труда увеличить во много раз этот букет восхвалений господина Дюринга господином Дюрингом. Приведенного уже достаточно, чтобы вызвать в читателе сомнение, действительно ли он имеет дело с философом или же с... но мы просим читателя воздержаться от приговора, пока он не познакомится поближе

вышеназванной «основательностью». Мы привели этот букетец только для того, чтобы показать, что перед нами не обыкновенный философ и социалист, высказывающий просто свои мысли и предоставляющий времени решить вопрос об их ценности, но совершенно необыкновенное существо, которое претендует на не меньшую непогрешимость, чем папа, и единоспасающее учение которого приходится принять, если не желаешь впасть в предосудительнейшую ересь. Перед нами не одна из тех работ, которые имеются с избытком во всех социалистических литературах, а за последнее время и в немецкой, и в которых люди различного дарования, но, при всех их научных и литературных недостатках, все же ценные социалистической доброй волей, пытаются искреннейшим образом разобраться в вопросах, для ответа на каковые у них, может быть, нехватает данных. Напротив, господин Дюринг преподносит нам положения, которые он объявляет окончательными истинами в последней инстанции, рядом с которыми, следовательно, всякое иное мнение уже заранее является ложью: и он имеет в своем исключительном обладании не только истину, но и единственный строго научный метод исследования, рядом с которым все прочие ненаучны. Или он прав — и тогда перед нами величайший гений всех времен, первый сверхчеловеческий в своей непогрешимости человек. Или он не прав—и тогда, каков бы ни был наш приговор, благожелательная снисходительность к доброй воле господина Дюринга была бы для него все же смертельнейшим оскорблением.

Когда обладаешь окончательными истинами в последней инстанции и единственной строгой научностью, то естественно, что относишься с изрядным презрением к остальному заблуждающемуся и ненаучному человечеству. Мы не должны поэтому удивляться,. что господин Дюринг отзывается с величайшим пренебрежением о своих предшественниках и что лишь немногие из них, в виде исключения произведенные им в великие люди, находят милость перед его «основательностью».

Послушаем сперва, что он говорит о философах: «Лишенный всякого здравого смысла Лейбниц, этот наилучший среди всех возможных придворных философствователей». Кант еще кое-как терпим, но после него все пошло вкривь и вкось: явились «вздорные, пошлые, дикие нелепости ближайших эпигонов, именно неких Фихте и Шеллинга... чудовищные карикатуры невежественной натурфилософистики... послекантовские чудовищности» и «горячечный бред», которые увенчал «некий Гегел». Этот последний говорил на «гегелевском жаргоне» и распространял «гегелевскую чуму» с помощью своей «еще и по форме ненаучной манеры» и своих «неудобоваримых мыслей».

Естествоиспытателям достается не меньше, но по имени упоминается только Дарвин, и поэтому мы должны ограничиться лишь им одним. «Дарвиновская полупоэзия и игра в метаморфозы с их грубой, чувственной узостью понимания и тупостью силы различения... По нашему мнению, специфический дарвинизм, — от которого надо, разумеется, отличать ламарковские воззрения,—представляет какое-то направленное против человечности зверство».

Но хуже всего достается социалистам. За исключением незначительнейшего из них, Луи Блана, они все грешники и недостойны славы, которой они пользовались до господина Дюринга. И грешники они не только с точки зрения истины и науки, но и с точки зрения характера. За исключением Бабефа и нескольких коммунистов 1871 г., все они не «мужчины». Три утописта называются «социальными алхимиками». К Сен-Симону господин Дюринг относится еще сравнительно снисходительно: он упрекает его только в «сумасбродстве» и сострадательно намекает, что он страдал религиозным томешательством. Но по поводу Фурье у господина Дюринга соверешенно лопается терпение, ибо Фурье «обнаружил все элементы безумия... идеи, которые можно встретить скорее всего в сумасшедшем доме... самые дикие бредни... порождения безумия...

Невыразимо ограниченный Фурье», эта «детская головка», этот «идиот», к тому же даже не социалист: его фаланстер вовсе не представляет собой элемента рационального социализма, а «сфабрикованную по шаблону обычной торговли карикатуру». И наконец: «Для кого этих выходок» (Фурье против Ньютона) «недостаточно, чтобы убедиться, что в имени Фурье и во всем фурьеризме истину представляет только первый слог» (fou — сумас-шедший), «тот должен быть зачислен сам в какую-нибудь категорию идиотов». Наконец, у Роберта Оуэна «были такие плоские и скудные идеи... его столь грубое в вопросе морали мышление... некоторые спутанные, искаженные общие места... бессмысленная и грубая концепция... Ход мыслей Оуэна не заслуживает того, чтобы подвергать его сколько-нибудь серьезной критике... его тщеславие» и т. д. Таким образом, если господин Дюринг с необычайным остроумием характеризует утопистов по их именам: Сен-Симон—saint (святой), Фурье—fou (сумасшедший), Анфантен — enfant (детский), то ему остается только прибавить: Оуен – o weh! (о горе!), чтобы в четырех словах отделаться от одного из важнейших периодов в истории социализма, а кто в этом со-мневается, «тот должен быть зачислен сам в какую-нибудь категорию идиотов».

Из дюринговских отзывов о позднейших социалистах мы, ради краткости, приведем лишь следующие суждения о Лассале и Марксе:

Лассаль: «Педантически-крохоборские попытки популяризации… дебри схоластики... чудовищная смесь из общих теорий и мелочного вздора… лишенное смысла и формы гегелевское суеверие... отпугивающий пример… собственная ограниченность... важничанье ненужнейшим хламом... наш иудейский герой... памфлетчик... ординарен... внутренняя бессодержательность жизне- и миросозерцания».

Маркс: «Узость воззрений... его работы и труды сами по себе, т.е. рассматриваемые чисто теоретически, не представляют длительного значения для нашей области (критической истории социализма), а для общей истории духовных направлений они являются, в лучшем случае, симптомами влияния одной ветви новейшей сектантской схоластики... бессилие концентрирующих и упорядочивающих способностей... бесформенность мыслей и стиля, лишенные достоинства аллюры языка... англизированное тщеславие... одураченье... пустые взгляды, являющиеся на деле только ублюдками исторической и логической фантастики... вводящие в заблуждение обороты... личное тщеславие... гнусное манерничанье... омерзителная... беллетристическая болтовня... китайская ученостъ... философская и научная отсталость»...

И так далее, и так далее — ибо и эти отрывки лишь небольшой букетец из дюрингова цветника. Разумеется, мы пока еще не поднимаем вопроса, не представляют ли окончательных истин в последней инстанции и эти милые ругательства, которые не должны были бы позволить господину Дюрингу — при некоторой воспитанности — находить что бы то ни было гнусным и омерзительным. Точно так же мы — пока — не позволим себе еще усомниться в их «основательности», так как в противном случае нам, может быть, запретят даже отыскать категорию идиотов, к которой мы принадлежим. Но мы сочли своим долгом, с одной стороны, привести пример того, что господин Дюринг называет образцом серьезного и в полном смысле слова скромного способа выражения», а с другой стороны, установить, что господин Дюринг так же твердо убежден в негодности своих предшественников, как в своей собственной непогрешимости. А затем мы умолкаем, преисполненные глубочайшего благоговения к самому мощному гению всех времен, если, конечно, все обстоит именно так.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

ФИЛОСОФИЯ III. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. АПРИОРИЗМ.

Философия есть, по Дюрингу, развитие высшей формы сознания мира и жизни, и она обнимает, в более широком смысле, принципы всякого знания и хотения. Где только человеческое сознание ни встречает ряд познаний или волевых побуждений, или какую-нибудь группу форм существования, — принципы всего этого должны стать предметом философии. Эти принципы представляют простые, или признаваемые пока простыми, элементы, из которых складывается многообразный мир знания и воли. Всеобщее устройство вещей можно, подобно химическому составу тел, свести к основным формам и основным элементам. Как только познаны эти последние составные части или принципы, они имеют силу не только для непосредственно известного и доступного, но и для неизвестного и недоступного нам мира. Таким образом, философские принципы образуют то последнее дополнение, в котором нуждаются науки, чтобы стать единой системой объяснения природы и человеческой жизни. Кроме основных форм всякого существования, философия имеет только два собственных предмета исследования, именно природу и человеческий мир. В соответствии с этим у нас получаются, для систематизации нашего материала, совершенно непринужденно три группы: именно всеобщая мировая схематика, учение о принципах природы и, наконец, учение о человеке. В этой последовательности содержится в то же время внутренний логический порядок: ибо впереди располагаются формальные основоначала, имеющие силу для всякого бытия, а затем, в иерархическом порядке, следуют те материальные области, к которым их надо применить. Таковы рассуждения Дюринга, приведенные почти сплошь дословно.

Итак, речь идет у него о принципах, о формальных, выведенных в из мышления, а не их внешнего мира, основоначалах, которые надо применить к природе и к человечеству и по которым должны направляться природа и человек. Но откуда берет мышление эти основоначала? Из самого себя? Нет, ибо господин Дюринг заявляет сам, что чисто идеальная область ограничивается логическими схемами и математическими образованиями (последнее, как мы увидим, к тому же ложно). Логические схемы могут относиться только к формам мышления; здесь же дело идет только о формах бытия, внешнего мира, а этих форм мышление ни в коем случае не может творить и выводить из себя, но только из внешнего мира. Но в таком случае все отношение следует перевернуть: принципы оказываются не исходным пунктом, а конечным результатом исследования; они не привлекаются для приложения к природе в человеческой истории, а выводятся из них; не природа и царство человека направляются по принципам, а принципы правильны лишь постольку, поскольку они согласуются с природой и историей. Это — единственное материалистическое понимание дела, а противоположное, принадлежащее господину Дюрингу, идеалистично: оно ставит дело совершенно на голову и конструирует реальный мир из мыслей, из каких-то от века существующих, до-мировых схем или категории, точь-в-точь как «некий Гегель».

Действительно. Возьмем «Энциклопедию» Гегеля со всем ее горячечным бредом и сопоставим ее с окончательными истинами в последней инстанции господина Дюринга. У господина Дюринга мы встречаем прежде всего всеобщую мировую схематику, которая у Гегеля называется логикой. Затем у обоих мы имеем приложение этих схем — соответственно логических категорий — к природе, что дает натурфилософию, и, наконец, применение их к царству человека, что Гегель называет философией духа. «Внутренний логический порядок» дюринговской последовательности приводит нас, таким образом, «совершенно непринужденно» обратно к «Энциклопедии» Гегеля, из

которой он взят с верностью, способной тронуть до слез вечного жида гегелевской школы, профессора Михелета в Берлине.

Так бывает всегда, когда принимают «сознание», «мышление» совершенно натуралистически за нечто данное, заранее уже противоположное бытию, природе. В этом случае должно, конечно, казаться необычайно удивительным, что сознание и природа, мышление и бытие, законы мышления и законы природы так согласуются между собой. Но если затем спросить, что такое мышление и бытие, откуда они происходят, то оказывается, что они—продукты человеческого мозга и что человек сам продукт природы, развившийся в окружающей его среде и вместе с ней; отсюда уже само собой следует, что порождения человеческого мозга, являющиеся ведь в последней инстанции тоже продуктами природы, не противоречат, а согласуются со всей остальной природой.

Но господин Дюринг не в праве рассматривать так просто вопрос. Ведь он мыслит не от имени человечества, — что само по себе уж довольно недурно, — но и от имени сознательных и мыслящих существ всех небесных тел. Действительно, было бы «умалением достоинства основных форм сознания и знания, если бы хотели эпитетом «человеческий» устранить или даже только умалить их суверенную значимость и их безусловное притязание на истинность». Таким образом, чтобы не зародилось подозрение, что на каком-нибудь небесном теле дважды два — пять, господин Дюринг отказывается от права называть мышление человеческим, т. е. он вынужден оторвать его от единственной реальной основы, на которой оно существует для нас, т. е. от человека и природы, и благодаря этому он шлепается безнадежно в идеологию, делающую из него эпигона такого «эпигона», как Гегель. Впрочем, нам придется еще не раз встречаться с господином Дюрингом на других небесных телах.

Само собою разумеется, что на подобной идеологической основе нельзя построить материалистического учения. Мы впоследствии увидим, что господин Дюринг вынужден неоднократно приписывать природе сознательный образ действия, т. е. ввести в рассуждение то, что называют обыкновенно богом.

Но наш философ действительности имел еще другие мотивы перенести основу всякой действительности из действительного мира в мир мысли. Ведь наука об этом всеобщем мировом схематизме, об этих формальных основоначалах бытия, есть основа философии господина Дюринга. Если мы станем выводить мировой схематизм не из головы, а посредством головы из действительного мира, если мы будем выводить основоначала бытия из того, что есть, то для этого нам нужна вовсе не философия, а положительные знания о мире и о том, что в нем происходит; а то, что таким образом получается, опять-таки есть не философия, а положительная наука. Но в таком случае все произведение господина Дюринга оказалось бы не более как зря потраченным трудом.

Далее. Если не нужно больше философии как таковой, то не нужно и никакой системы, даже естественной системы философии. Убеждение в том, что совокупность процессов природы находится в систематической связи, побуждает науку находить эту систематическую связь повсюду, как в частностях, так и в целом. Но соответственное, исчерпывающее, научное изображение этой связи, составление точного мысленного отображения той системы мира, в которой мы живем, невозможно ни для нас, ни для всех грядущих поколений. Если бы в какой-нибудь момент развития человечества была составлена подобная окончательная, завершающая система мировых связей,—физических, духовных и исторических,—то тогда закончился бы рост человеческого познания, и прекратилось бы дальнейшее историческое развитие с того мгновения, когда общество было бы устроено в соответствии с этой системой, что является абсурдом,

просто бессмыслицей. Таким образом, люди стоят перед противоречием: с одной стороны, они стремятся познать мировую систему исчерпывающим образом в ее совокупной связи, а с другой, в силу законов своей собственной природы п природы мировой системы, они никогда не будут в состоянии вполне решить эту задачу. Но противоречие это не только лежит в природе обоих факторов — мира и человека,—оно есть также главный рычаг всего интеллектуального прогресса и постоянно, ежедневно разрешается в бесконечном прогрессивном развитии человечества, подобно тому как иные математические проблемы решаются с помощью бесконечных рядов или непрерывных дробей. Фактически каждое мысленное изображение системы мира ограничено объективно историческим моментом, субъективно — физической и духовной организацией автора его. Но господин Дюринг заранее заявляет, что его образ мышления таков, что не допускает какого-нибудь субъективно ограниченного представления о мире. Как мы видели, он был вездесущим— на всех возможных небесных телах. Теперь мы видим также, что он всеведущ. Он разрешил все последние задачи науки, наглухо заколотив таким образом для развития науки будущее.

Относительно всей чистой математики господин Дюринг думает, что он может ее — как и основные формы бытия — вывести априорно, т. е. прямо из головы, не прибегая к опыту из внешнего мира. В чистой математике, уверяет он, рассудок занимается «своими собственными свободными творениями и фантазиями»; понятия числа и фигуры составляют «достаточный для нее и создаваемый ей самой объект», и, таким образом, она имеет «значимость, не зависящую от частного опыта и реального содержания мира».

Что чистая математика имеет значимость, не зависящую от специального опыта каждой отдельной личности, это, конечно, верно и применимо ко всем прочно установленным фактам всех наук, да и вообще ко всем фактам. Магнитные полюсы, состав воды из водорода и кислорода, тот факт, что Гегель мертв, а господин Дюринг жив, имеют значимость независимо от моего опыта или опыта других отдельных людей, даже независимо от опыта господина Дюринга, когда он спит сном праведника. Но отсюда вовсе не следует, что рассудок в чистой математике имеет дело только со своими «собственными творениями и фантазиями». Понятия числа и фигуры заимствованы именно из действительного мира. Десять пальцев, на которых люди учились считать, т. е. производить первое арифметическое действие, представляют что угодно, но только не свободное творение рассудка. Для счета необходимы не только объекты счета, но также уже и способность, при рассмотрении этих объектов, отвлекаться от всех их свойств, кроме их числа, а эта способность—продукт долгого исторического, эмпирического развития. Понятие фигуры, как и понятие числа, заимствовано исключительно из внешнего мира, а не возникло вовсе в голове из чистого мышления. Раньше чем люди могли прийти к понятию фигуры, должны были существовать вещи, которые имели форму и формы которых сравнивали. Чистая математика имеет своим предметом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, т. е. весьма реальное содержание. Тот факт, что это содержание проявляется в крайне абстрактной форме, может лишь слабо затушевать его происхождение из внешнего мира. Чтобы изучить эти формы и отношения в их чистом виде, следует их оторвать совершенно от их содержания, устранить его как нечто безразличное для дела. Так получаются точки без протяжения, линии без толщины и ширины, a и b, x и y, постоянные и переменные, лишь в самом конце мы приходим к настоящим «свободным творениям и фантазиям» рассудка, именно к мнимым величинам. Точно так же выведение математических величин как будто бы друг из друга доказывает не их априорное происхождение, но только их рациональную связь. Прежде чем пришли к мысли выводить форму цилиндра из вращения прямоугольника вокруг одной из его сторон, нужно было исследовать не мало реальных прямоугольников и цилиндров, хотя бы и в весьма несовершенной форме. Как и

прочие науки, математика возникла из потребностей человека: из измерения земли и вместимости сосудов, из исчисления времени и механики. Но, как и во всех областях мышления, отвлеченные от действительного мира законы на известной ступени развития отрываются от действительного мира, противопоставляются ему как нечто самостоятельное, как явившиеся извне законы, по которым должен направляться мир. Так было с обществом и государством; так, а не иначе, применяется впоследствии чистая математика к миру, хотя она и заимствована из этого мира и представляет только часть его составных форм и, собственно, только поэтому она вообще применима к нему.

Господин Дюринг, воображающий, что он может, без какого бы то ни было содействия опыта, вывести всю чистую математику из математических аксиом, «которые и с чисто логической точки зрения не допускают обоснования и не нуждаются в обосновании», и потом применить их к миру, воображает себе точно так же, что он сумеет сперва породить из головы основные формы бытия, простые элементы всякого знания, аксиомы философии, вывести из них затем всю философию или мировую схематику и, наконец, высочайше пожаловать эту свою конституцию природе и человечеству. К сожалению, природа совсем не состоит, а человечество состоит, только в ничтожнейшей части, из мантейфелевской Пруссии 1850 г.

Математические аксиомы представляют собой выражения крайне скудного умственного содержания, которое математика должна заимствовать у логики. Их можно свести к двух следующим аксиомам:

1) Целое больше части. Это положение есть чистая тавтология, так как, взятое в количественном смысле, представление «часть» уже заранее отнесено определенным образом к представлению «целое», — именно так, что понятие «часть» означает попросту, что количественное «целое» состоит из нескольких количественных «частей». Оттого, что указанная аксиома выражает это явным образом, мы ни на шаг не подвигаемся дальше. Можно даже известным образом доказать эту тавтологию, можно сказать: целое есть то, что состоит из нескольких частей: часть есть то, несколько экземпляров чего составляет целое, следовательно часть меньше целого. Ясно, что благодаря пустоте повторения здесь только резче проявляется пустота содержания.

2) Если две величины равны третьей, то они равны между собой. Это положение, как показал еще Гегель, представляет собой умозаключение, за правильность которого ручается логика; оно, значит, доказывается, хотя и вне области чистой математики. Прочие аксиомы о равенстве и неравенстве являются просто логическим развитием этого умозаключения.

Этими тощими положениями ни в математике, ни где-либо вообще никого не соблазнишь. Чтобы двинуться дальше, мы должны привлечь реальные отношения, отношения и пространственные формы, взятые из реальных тел. Все представления о линиях, поверхностях, углах, о многоугольниках, кубах, шарах и т. д. заимствованы из действительности, и нужна известная доза идеологической наивности, чтобы поверить математикам, будто первая линия возникла от движения точки в пространстве, первая поверхность—от движения линии, первое тело—от движения поверхности и т. д. Уже язык протестует против этого. Математическая фигура трех измерений называется телом, corpus solidum, что по-латыни означает даже осязаемое тело, т. е. она носит название, являющееся продуктом не «свободной фантазии» рассудка, а взято из грубой действительности.

Но к чему все эти пространные рассуждения? После того как господин Дюринг на страницах 42 — 43 с воодушевлением воспел независимость чистой математики от мира опыта, ее априорность, ее оперирование собственными свободными творениями и фантазиями рассудка, он на странице 63 замечает: «Легко проглядеть то обстоятельство, что эти математические элементы (число, величина, время, пространство и геометрическое движение) идеальны только по своей форме... абсолютные величины поэтому, какого бы рода они ни были, представляют нечто совершенно эмпирическое», но «математические схемы допускают отвлеченную от опыта и, тем не менее, достаточную характеристику», что можно, с большим или меньшим правом, сказать о любой абстракции, но что, однако, не доказывает, что они не абстрагированы от действительности. В мировой схематике чистая математика возникает из чистого мышления, — в натурфилософии она оказывается чем-то совершенно эмпирическим, взятым из внешнего мира и потому отвлеченным. Чему же должны мы верить?

«Всеобъемлющее бытие единственно. В своем самодовлении оно не допускает ничего рядом с собой или над собой. Присоединить к нему второе бытие значило бы сделать его не тем, что оно есть, именно частью или составным элементом более объемлющего целого. Благодаря тому, что мы оправляем его, точно рамой, нашей единой мыслью, ничто из того, что должно входить в это мысленное единство, не может содержать в себе двойственности. Но ничто также не может не подлежать этому мысленному единству... Сущность всякого мышления состоит в соединении элементов сознания в некое единство... Оно—тот пункт объединения, благодаря которому возникает неделимое понятие о мире: в нем универсум — как уже показывает само слово—познается в виде чего-то, в чем все соединено в некое единство».

Так говорит господин Дюринг. Здесь впервые применяется им математический метод: «всякий вопрос следует решать на простых основных формах, как если бы дело шло о простых... основоначалах математики».

«Всеобъемлющее бытие единственно». Если тавтология, т.е. простое повторение в сказуемом того, что уже было высказано в подлежащем, составляет аксиому, то мы здесь имеем перед собой аксиому чистейшей воды. В подлежащем господин Дюринг говорит нам, что бытие объемлет все, а в сказуемом он бесстрашно утверждает, что в таком случае вне его ничего нет. Что за колоссальная «системосозидающая мысль»!

Действительно, системосозидающая. Не успели мы прочесть шести строчек, как господин Дюринг, с помощью нашей единой мысли, превратил единственность бытия в его единство. Так как сущность всякого мышления состоит в объединении в нечто единое, то бытие, поскольку оно мыслится, мыслится единым, понятие о мире — неделимым, а так как мыслимое бытие, понятие о мире, едино, то и действительное бытие, действительный мир, должно быть точно так же неделимым единством. И таким образом «нет больше места для потусторонности, раз дух научился постигать бытие в его однородной универсальности».

Это — поход, в сравнении с которым ничто Аустерлиц и Иена, Кениггрец и Седан. С помощью нескольких предложений, занявших меньше странички, мы, мобилизовав первую аксиому, отменили, устранили, уничтожили уже все потусторонности: бога, небесные воинства, небо, ад и чистилище вместе с бессмертием души.

Как приходим мы от единственности бытия к его единству? Тем, что мы вообще его представляем себе. Как только мы, словно рамой, охватили нашей единой мыслью единственное бытие, оно превращается в мысли в единое бытие, в мысленное единство,

ибо сущность всякого мышления состоит в соединении элементов сознания в некое единство.

Последнее предложение просто неверно. Во-первых, мышление состоит столько же в разложении объектов сознания на их элементы, сколько в соединении родственных между собой элементов в единство. Без анализа нет синтеза. Во-вторых, мышление, если оно не желает делать промахов, может собирать в единство лишь те элементы сознания, в которых—или в реальных прообразах которых—уже раньше существовало это единство. Если я подведу сапожную щетку под единство понятия «млекопитающее», то от этого у нее еще не появятся молочные железы. Таким образом, единство бытия, т. е. оправдание понимания бытия как единства, и есть как раз то, что требовалось доказать; и если господин Дюринг уверяет нас, что он мыслит себе бытие единым, а не, скажем, двойственным, то это является попросту его личным, нисколько не обязательным для других, мнением.

Если мы захотим представить в чистом виде ход его мыслей, то он будет таков: «Я начинаю с бытия. Следовательно, я мыслю себе бытие. Мысль о бытии едина. Но мышление и бытие должны согласоваться между собой, они соответствуют друг другу, они «покрываются взаимно». Следовательно, бытие и в действительности едино. Следовательно, нет никаких потусторонностей». Но если бы господин Дюринг, вместо приведенных выше оракульских вещаний, заговорил так откровенно, то его идеологический подход был бы ясен, как божий день. Пытаться доказать из тожества мышления и бытия реальность какого-либо продукта мышления, ведь это-то и было одной из безумнейших горячечных фантазий некоего Гегеля.

Что касается спиритуалистов, то у них господин Дюринг — будь даже вся его аргументация безупречна — не отвоевал бы ни пяди земли. Спиритуалисты могут ответить ему коротко: мир и для нас неразделен; распадение его на посюстороннее и потустороннее существует только для нашей специфически земной, отягощенной наследственным грехом точки зрения; само по себе, т. е. в боге, совокупное бытие едино, и они пойдут за господином Дюрингом на одно из его излюбленных небесных тел и покажут ему одно или несколько из них, где не было грехопадения и где, следовательно, нет противоположности между посюсторонним п потусторонним и единство мира является догматом веры.

Самое комичное во всем этом то. что господин Дюринг, желая доказать на основании понятия бытия, что бога нет, пользуется онтологическим доказательством бытия божия. Это доказательство состоит в следующем: мысля бога, мы мыслим его как совокупность всех совершенств. Но к совокупности всех совершенств относится прежде всего бытие, ибо несуществующее существо по неизбежности несовершенно. Следовательно, мы должны к совершенствам бога причислить и существование. Следовательно, бог должен существовать. Так же рассуждает и господин Дюринг: когда мы мыслим бытие, мы его мыслим как некоторое понятие. То, что объединено в понятии, едино. Следовательно, если бы бытие не было едино, оно бы не соответствовало своему понятию. Следовательно, оно должно быть единым. Следовательно, не существует бога и т. д.

Когда мы говорим о бытии и только о бытии, то единство может состоять лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, суть, существуют. Они объединены в единстве этого бытия, а не какого-либо другого, и общее выражение, что все они суть, не только не может придать им каких-нибудь других, общих или не общих, свойств, но, наоборот, уже наперед исключает из рассмотрения все подобные свойства. Ибо лишь только мы удалимся хоть на миллиметр от того простого основного факта, что всем этим вещам

обще бытие, как перед нашим взором начинают выступать различия этих вещей, и из того обстоятельства, что всем этим вещам одинаково приписывается голое существование, нельзя совершенно вывести, заключаются ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие — черны, одни — одарены жизнью, другие — не одарены ею, одни — посюсторонни, другие — потусторонни.

Единство мира не заключается в его бытии, хотя его бытие есть предпосылка его единства,—ибо мир ведь должен раньше быть, прежде чем он сможет быть единым. Вопрос о бытии вообще открытый вопрос, начиная с того пункта, где прекращается наш опыт. Действительное единство мира заключается в его материальности, и оно доказывается не с помощью нескольких фокуснических фраз, а путем долгого и медленного развития философии и естествознания.

Пойдем дальше. Бытие, о котором рассказывает нам господин Дюринг, это «не то чистое бытие, которое равно самому себе, лишено всех особенных свойств и фактически является только отображением мысленного ничто или отсутствия мысли». Но очень скоро мы увидим, что мир господина Дюринга начинается все-таки с бытия, которое лишено всяких внутренних различий, всякого движения и изменения, и, следовательно, фактически является отображением только логического ничто, т. е. представляет действительное ничто. Лишь из этого бытия-ничто развивается современное дифе-ренцированное, полное перемен состояние мира, представляющее собою развитие, становление; и лишь после того как мы это поняли, мы приходим к тому, чтобы и под покровом этого вечного изменения «сохранить равным самому себе понятие универсального бытия». Мы, таким образом, имеем теперь понятие бытия на высшей ступени, где оно заключает в себе как постоянство, так и изменение, как бытие, так и становление. Добравшись до этого пункта, мы находим, что «род и вид, вообще общее и частное, суть простейшие средства различения, без которых не может быть понято устройство вещей». Но это — средства различения качества; покончив с ними, мы идем дальше: «понятию рода противостоит понятие величины как такого однородного, в котором не имеется уже видовых различий», т. е. от качества мы переходим к количеству, а это последнее всегда «доступно измерению».

Сравним же это «острое выделение всеобщих действенных схем» и их «действительно критическую точку зрения» с неудобоваримыми мыслями, вздорностями и горячечным бредом некоего Гегеля. Мы находим, что логика Гегеля начинает с бытия (Sein) — как и господин Дюринг; что его бытие обнаруживается как ничто—как и у господина Дюринга; что от этого бытия-ничто переходят к становлению, результатом которого является наличное бытие (Dasein), т. е. высшая, более полная форма бытия—совершенно так, как у господина Дюринга. Наличное бытие приводит к качеству, качество к количеству - совершенно так, как у господина Дюринга. А в довершение всего, для полноты картины, господин Дюринг по другому поводу рассказывает нам: «Из царства бесчувственного мы переходим в царство ощущения, несмотря на всю количественную постепенность, лишь путем качественного скачка, о котором... мы можем сказать, что он бесконечно отличается от простой градации одного и того же качества». Это ведь гегелевская узловая линия отношений меры, где чисто количественное увеличение или уменьшение вызывает в определенных узловых пунктах качественный скачок, как, например, в случае нагревания или охлаждения воды, где точки кипения и замерзания являются теми узлами, в которых совершается—при нормальном давлении—скачок в новое аггрегатное состояние, где, следовательно, количество переходит в качество.

В нашем исследовании мы тоже пытались добраться до корней, и в качестве корней «основательных» дюринговых основных схем мы находим — «горячечный бред» некоего

Гегеля, категории гегелевской «Логики» (часть I), в строгой старогегелевской «последовательности» и с едва заметной попыткой замаскировать плагиат.

И, однако, не довольствуясь тем, что он заимствовал у своего оклеветанного им предшественника всю его схематику бытия, господин Дюринг имеет смелость, после того как он сам дал приведенный выше пример скачкообразного перехода в качество, выразиться о Марксе: «Как, например, комично звучит ссылка (Маркса) на гегелевское путаное и туманное представление о том, что количество превращается в качество».

Путаное туманное представление! Кто здесь превращается, и чьи слова звучат здесь комично, господин Дюринг?

Таким образом, все эти милые вещи не только не «решены аксиоматически», как следовало бы по правилу, но попросту привнесены извне, из гегелевской логики. И притом так, что во всей главе нет и тени внутренней связи, если только она не заимствована у Гегеля, и что под конец все рассуждение превращается в какое-то бессодержательное разглагольствование о пространстве и времени, постоянстве и изменении.

От бытия Гегель приходит к сущности, к диалектике. Здесь он трактует о рефлективных понятиях, об их внутренних противоположностях и противоречиях,—как, например, понятия положительного и отрицательного,—затем он переходит к каузальности, или отношению между причиной и следствием, и заканчивает необходимостью. Точно так же поступает п господин Дюринг. То, что Гегель называет учением о сущности, господин Дюринг переводит словами: логические свойства бытия. Свойства же эти состоят прежде всего в «антагонизме сил», в противоположностях. Что касается противоречия, то его господин Дюринг радикально отрицает; позже мы вернемся к этой теме. Затем он переходит к каузальности, а от нее к необходимости. Поэтому, когда господин Дюринг говорит о себе: «мы, философствующие не из клетки», то он, очевидно, хочет сказать, что он философствует в клетке, именно в клетке гегелевского схематизма категорий.

Теперь мы переходим к натурфилософии. Здесь господин Дюринг опять-таки имеет полное основание быть недовольным своими предшественниками. Натурфилософия «пала так низко, что она выродилась в какую-то разнузданную, покоящуюся на невежестве лжепоэзию» и «стала уделом проституированной философистики некоего Шеллинга и ему подобных копающихся в тайнах абсолюта и дурачащих публику молодцов». Усталость спасла нас от этих «безобразий»но до сих пор она расчистила почву лишь «беспринципности», «а что касается широкой публики, то тут, как известно, уход крупного шарлатана часто дает возможность его менее значительному, но более ловкому преемнику повторять под новой вывеской все штуки первого». Сами естествоиспытатели чувствуют «мало охоты к экскурсиям в царство мирообъемлющих идей» и поэтому дают в теоретической области одни лишь «несвязные, скороспелые обобщения». Словом, здесь требуется скорая помощь, и, к счастью, господин Дюринг находится на своем посту.

Чтобы по достоинству оценить нижеследующие откровения о развитии мира во времени и об ограниченности его в пространстве, мы должны снова обратиться к некоторым местам из «мировой схематики».

Бытию здесь, опять-таки в согласии с Гегелем («Энциклопедия», § 93), приписывается бесконечность, —то, что Гегель называет дурной бесконечностью,—которая затем и исследуется. «Самая ясная форма бесконечности, которую можно мыслить без противоречия, это неограниченное умножение чисел в числовом ряду. Подобно тому как

мы можем прибавить к каждому числу еще одну единицу, не ис-черпывая тем никогда возможности дальнейшего счета, подобно этому ко всякому состоянию бытия прибавляется новое состояние, и в неограниченном порождении этих состояний и состоит бесконечность. Эта точно мыслимая бесконечность имеет поэтому только одну основную форму с одним единственным направлением. Действительно, хотя наше мышление и может указать противоположное направление для прибавления состояний, все же идея об идущей назад бесконечности является лишь результатом слишком поспешного представления. Ведь так как в действительности ее пришлось бы проходить в обратном направлении, то при каждом из своих состояний она имела бы за собой бесконечный числовой ряд. Но в таком случае мы получили бы недопустимое противоречие отсчитанного бесконечного числового ряда; поэтому бессмысленно допустить еще второе направление бесконечности».

Первый вывод, который делается из этого понимания бесконечности, состоит в том, что сцепление причин и следствий в мире должно было когда-то иметь свое начало: «бесконечное число причин, которые будто примыкают друг к другу, немыслимо по одному тому, что оно предполагает бесчисленность сосчитанной». Итак, доказано существование конечной причины.

Вторым следствием является «закон определенного количества: накопление тождественных экземпляров какого-нибудь реального ряда самостоятельных сущностей мыслимо лишь как образование некоторого определенного числа». Определенным должно быть не только наличное число небесных тел в каждый момент времени, но и совокупное число всех существующих в мире мельчайших самостоятельных частиц материи. Эта необходимость есть истинное основание того, почему нельзя мыслить ничего составного без атомов. Всякая реальная разделенность имеет всегда конечную определенность и должна иметь ее, ибо иначе получится противоречие сосчитанной бесчисленности. Поэтому же не только должно быть определенным — хотя и не известным нам — число всех оборотов земли вокруг солнца, но все периодические процессы природы должны иметь начало, и все различия, все разнообразие следующих друг за другом состояний природы, должны корениться в некотором самому себе равном состоянии. Это состояние можно, не впадая в противоречие, мыслить себе существовавшим от века, но и это представление было бы невозможно, если бы время само по себе состояло из реальных частей, а не разделялось бы скорее по произволу нашим рассудком путем идеального полагания возможностей. В ином виде представляется вопрос о реальном и различном в себе содержании времени; это—действительное наполнение времени различающимися между собой фактами, и формы существования этой области относятся — благодаря именно своей различности — к тому, что доступно счету. Вообразим себе состояние, которое не претерпевает изменений и которое в своем равенстве самому себе не представляет различий в последовании, — в этом случае частное понятие времени превращается в более общую идею бытия. Что должно означать накопление пустой длительности, — этого совсем нельзя себе представить. Так рассуждает господин Дюринг, не мало наслаждающийся важностью этих открытий. Он сначала выражает надежду, что на них, «по меньшей мере», посмотрят не как на маловажную истину; но затем мы читаем: «Вспомним о тех крайне простых приемах, с помощью которых мы придали понятию бесконечности и его критике неизвестное до того значение…вспомним столь простые, благодаря современному уточнению и углублению, элементы универсальной концепции пространства и времени».

Мы придали! Современное углубление и уточнение! Кто это мы, и когда разыгрывается эта современность? Кто углубляет и уточняет?

«Тезис. Мир во времени имеет начало, а в пространстве он заключен в границы.

«Доказательство. Допустим, что мир не имеет никакого начала во времени, тогда мы должны представлять себе, что до каждого данного мгновения протекла уже целая вечность и, следовательно, бесконечный ряд один за другим последовавших состояний вещей в мире. Бесконечность же ряда состоит в том, что путем последовательного синтеза он никогда не может быть кончен. Следовательно, бесконечный протекший мировой ряд невозможен, и начало мира есть необходимое условие его существования. Это первое.

«Во втором случае начнем также с противоположного утверждения. Тогда мы должны представлять мир как бесконечное данное целое из вещей, одновременно существующих. Но величину такого количества, пределы которого в наглядном представлении не определены, мы можем представлять только посредством синтеза частей, а целостность такой величины — только посредством оконченного синтеза, или оконченного сложения единиц. Поэтому, чтобы мыслить мир, наполняющий пространство, как целое, необходимо представлять последовательный синтез частей бесконечного мира оконченным, т. е. необходимо представлять бесконечное время протекшим при исчислении всех сосуществующих вещей, что невозможно. Итак, конечное собрание действительных вещей не может быть рассматриваемо как данное целое, и притом как данное одновременно. Следовательно, мир, по протяжению в пространстве, не бесконечен, но заключен в пределах, что и требовалось доказать».

Положения эти переписаны дословно из одной хорошо известной книги, вышедшей впервые в 1781 году и озаглавленной: «Критика чистого разума» Иммануила Канта, где каждый может прочесть их в первой части, второй отдел, вторая книга, вторая глава, § 2-й:

«Первая антиномия чистого разума». Поэтому господину Дюрингу принадлежит только реклама, только название: «закон определенного количества», приклеенное к высказанной Кантом мысли, и открытие, что было когда-то время, когда еще не было вовсе времени, хотя уже существовал мир. Что касается всего прочего, т. е. имеющего еще какой-нибудь смысл в рассуждении господина Дюринга, то «мы» — это Иммануил Кант, а современности уже всего-навсего девяносто пять лет. Действительно, «крайне просто»! Замечательное, «не известное до того значение»!

Но Кант отнюдь не думает, что его доказательством исчерпываются приведенные выше положения. Напротив: на противоположной странице он утверждает и доказывает обратное, что мир не имеет начала во времени и конца в пространстве; и он видит антиномию, неразрешимое противоречие как раз в том, что одно утверждение столь же доказуемо, как и второе. Люди меньшего калибра, может быть, немного задумались бы над тем, что «некий Кант» нашел здесь неразрешимую трудность. Но не таков наш смелый фабрикант «совершенно своеобразных выводов и взглядов»: то, что ему может пригодиться в кантовской антиномии, он неутомимо списывает, а остальное отбрасывает в сторону.

Вопрос сам по себе решается очень просто. Вечность во времени, бесконечность в пространстве уже по самому смыслу слов означают просто то, что нет конца ни в какую сторону, ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Эта бесконечность совсем иного порядка, чем бесконечность бесконечного ряда, ибо последняя всегда начинается прямо с единицы, с первого члена. Неприменимость этого представления о ряде к нашему предмету обнаруживается сейчас же, как только мы попытаемся применить его к пространству. Бесконечный ряд в приложении к пространству означает линию,

проведенную от определенной точки в определенном направлении до бесконечности. Но выражает ли это хотя в отдаленной мере бесконечность пространства? Нисколько: нужны, наоборот, целых шесть проведенных из этой точки в трех противоположных направлениях линий, чтобы охватить измерения пространства, которых в таком случае мы имели бы шесть. Кант понимал это так хорошо, что он лишь кружным путем, косвенно, применил свой числовой ряд к вопросу о пространственности мира. Господин же Дюринг заставляет нас принять шесть измерений в пространстве, что, впрочем, не мешает ему немедленно же после этого выражать величайшее негодование по поводу математического мистицизма Гаусса, не желавшего довольствоваться обычными тремя измерениями пространства.

В применении к времени бесконечная в обе стороны линия или ряд единиц имеют некоторый образный смысл. Но если мы представим себе время как отсчитываемую от единицы или исходящую от некоторой определенной точки линию, то мы этим уже заранее утверждаем, что время имеет начало: мы предполагаем как раз то, что мы хотим доказать. Мы придали бесконечности времени односторонний, половинчатый характер; но односторонняя, половинчатая бесконечность представляет тоже внутреннее противоречие, прямую противоположность «бесконечности, мыслимой без противоречия». Мы можем справиться с этим противоречием, лишь допустив, что единица, от которой мы начинаем считать ряд, точка, от которой мы измеряем далее линию, представляют собою любую единицу в ряду, любую точку на прямой, так что для линии или ряда безразлично, куда мы поместим начальный пункт.

Но как быть с противоречием «отсчитанного бесконечного числового ряда»? Мы сумеем исследовать его поближе, когда господин Дюринг покажет нам раньше свой фокус и отсчитает его. Когда он покончит с задачей считать от — со (минус бесконечность) до нуля, тогда пусть он приходит к нам. Ведь ясно, что откуда бы он ни начал считать, он повсюду оставляет за собой бесконечный ряд, а значит, и задачу, которую он должен решить. Пусть он перевернет свой собственный бесконечный ряд 1 + 2 + 3 + 4... и попробует считать от бесконечного конца до единицы; ведь это, очевидно, попытка человека, совсем не понимающего сути дела. Мало того. Когда господин Дюринг утверждает, что бесконечный ряд протекшего времени отсчитан, то он вместе с этим утверждает, что время имеет начало, ибо иначе ведь он не мог бы вовсе начать «отсчитывать». Следовательно, он снова предполагает то, что он должен доказать. Таким образом, представление об отсчитанном бесконечном ряде, иначе говоря, мирообъемлющий дюрингов закон определенного количества, есть contradictio in adjecto, содержит внутреннее противоречие, и притом абсурдное противоречие.

Ведь ясно: бесконечность, имеющая конец, но не имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем бесконечность, имеющая начало, но не имеющая конца. Малейшая крупица диалектического мышления должна была бы подсказать господину Дюрингу, что начало и конец неразрывно связаны между собою, как северный полюс и южный полюс, и что если отбрасывают конец, то начало становится концом — тем единственным концом, который и имеется у ряда, и наоборот. Вот эта ошибка была бы невозможна без математической привычки оперировать над бесконечными рядами. Так как в математике мы должны исходить от определенного, конечного, чтобы прийти к неопределенному, бесконечному, то все математические ряды — положительные и отрицательные — должны начинаться с единицы, иначе нельзя производить с ними выкладок. Но идеальная потребность математики далеко не есть принудительный закон для реального мира.

Впрочем, господин Дюринг никогда не сумеет представить себе без противоречий действительную бесконечность. Бесконечность есть противоречие, и она полна

противоречий. Противоречием является уже то, что бесконечность должна быть составлена из одних только конечностей, а между тем это так. Предположение ограниченности материального мира приводит к таким же противоречиям, как и предположение его безграничности, и каждая попытка устранить эти противоречия приводит, как мы уже видели, к новым и худшим противоречиям. Именно потому, что бесконечность есть противоречие, она представляет бесконечный, развертывающийся без конца во времени и пространстве, процесс. Снятие противоречия было бы концом бесконечности. Это уже совершенно правильно понял Гегель, третировавший поэтому с заслуженным презрением господ, которые любят мудрить над этим противоречием.

Пойдем дальше. Итак, время имело начало. Что же было до этого начала? Мир, находящийся в равном самому себе, неизменном состоянии. А так как в этом состоянии не следует друг за другом никаких изменений, то частное понятие времени превращается в более общую идею бытия. Во-первых, нам здесь нет дела вовсе до того, какие понятия превращаются в голове господина Дюринга. Дело идет не о понятии времени, а о действительном времени, от которого господин Дюринг так дешево не отделается. Во-вторых, сколько бы ни превращалось понятие времени в более общую идею бытия, это не подвигает нас ни на шаг вперед, ибо основные формы всякого бытия суть пространство и время, и бытие вне времени такая же бессмыслица, как бытие вне пространства. Гегелевское «бытие, протекшее без времени», и новошеллинговское «непредставимое бытие» суть рациональные представления по сравнению с этим бытием вне времени. Поэтому-то господин Дюринг подходит очень осторожно к делу; собственно это — время, но такое, которое по существу вовсе нельзя назвать временем: время ведь вовсе не состоит само по себе из реальных частей, и только наш рассудок произвольно делит его; к царству доступного счету принадлежит лишь действительное наполнение времени различающимися между собой фактами, а что должно означать накопление пустой длительности, этого совсем нельзя представить.

Что должно означать это накопление. — для нас совершенно безразлично; мы спрашиваем только, длится ли, испытывает ли длительность во времени мир, находящийся в предполагаемом здесь состоянии? Мы отлично знаем, что ничего не получится от измерения подобной, лишенной содержания, длительности, как и от аналогичного, бесцельного измерения в пространстве, и Гегель, именно из-за бессмысленности такого занятия, называет эту бесконечность дурной. Согласно господину Дюрингу, время существует только благодаря изменению, а не изменение существует во времени и посредством его. Именно благодаря тому, что время отлично, независимо от изменения, его можно измерять благодаря изменению, ибо для измерения необходимо всегда иметь нечто, отличное от измеряемой вещи. И время, в течение которого не происходит никаких доступных познанию изменений, далеко от того, чтобы совсем не быть временем, оно скорее представляет чистое, не затронутое никакими посторонними примесями и, следовательно, истинное время, время как таковое. Действительно, когда мы хотим представить себе понятие времени во всей его чистоте, свободным от всех чуждых, посторонних примесей, мы вынуждены оставить в стороне, как не относящиеся к делу, все различные события, происходящие во времени рядом друг с другом и после друг друга, и представить себе, таким образом, время, в котором ничего не происходит. Поступая так, мы совсем не растворяем понятие времени в общей идее бытия, а получаем как раз чистое понятие времени.

Но все эти противоречия и несообразности — детская игра по сравнению с той путаницей, в которую попадает господин Дюринг со своим самому себе равным начальным состоянием. Если мир находился когда-нибудь в таком состоянии, при котором в нем не происходило никаких изменений, то как он мог перейти от этого состояния к состоянию

изменения? То, что абсолютно неизменно, да к тому же от века было в таком состоянии, не могло само по себе выйти из этого состояния и перейти в состояние движения и изменения. Поэтому откуда-то со стороны, извне мира, должен был прийти первый толчок, приведший его в движение. Но «первый толчок», как известно, только другое наименование для бога. Господин Дюринг, уверявший нас в своей мировой схематике, что он окончательно разделался с богом и потусторонним, сам вводит их вновь в «утонченном и углубленном» виде в натурфилософию.

Далее. Господин Дюринг говорит: «Там, где величина принадлежит некоторому постоянному элементу бытия, она остается неизменной в своей определенности. Это положение справедливо относительно материи и механической силы». Первое предложение представляет, между прочим, прекрасный образчик аксиоматически-тавтологического велеречия господина Дюринга: там, где величина не изменяется, она остается той же самой. Итак, масса механической силы, существующей в мире, остается вечно той же самой. Оставим в стороне то, что — поскольку это утверждение верно — оно было известно и высказано уже в философии Декарта лет триста назад, что в естествознании учение о сохранении силы уже двадцать лет как проникло повсюду и что господин Дюринг, ограничивая его механической силой, нисколько не улучшает его. Но где была механическая сила во время неизменного состояния? На этот вопрос господин Дюринг упорно отказывается отвечать.

Где, господин Дюринг, была тогда вечно равная себе механическая сила и что она приводила в движение? Ответ: «Первоначальное состояние вселенной или, выражаясь яснее, бытия материи, лишенного изменений и не допускающего накопления изменений во времени, это—положение, которое может отвергать лишь тот, кто видит венец мудрости в само уродовании производительной силы». Итак, или вы, закрыв глаза, примете мое, лишенное изменений, первоначальное состояние, или я, способный производить, Дюринг, объявляю вас духовными евнухами. Кое-кого это, пожалуй, может напугать. Но мы, имеющие уже некоторое представление о «производительной силе» господина Дюринга, можем позволить себе оставить пока без ответа изящное бранное словечко и еще раз спросить: но, пожалуйста, господин Дюринг, как обстоит дело с механической силой?

Тут господин Дюринг приходит тотчас в замешательство. Действительно,—бормочет он,—«абсолютное тожество того начального предельного состояния само по себе не дает никакого принципа перехода. Но не забудем, что по существу так же обстоит дело в каждом, малейшем новом звене хорошо известной нам цепи наличного бытия. Поэтому тот, кто хочет усмотреть трудности в данном главном случае, пусть не забывает о них при менее бросающихся в глаза обстоятельствах. Кроме того, мы имеем перед собой возможность интерполирования постепенных промежуточных состояний, а значит, и мост непрерывности, идя по которому назад, мы доходим до замирания изменений. С чисто логической стороны эта непрерывность не решает главного вопроса, но она для нас основная форма всякой закономерности и всякого известного нам вообще перехода, так что мы в праве пользоваться ею как посредницей между упомянутым первоначальным состоянием равновесия и нарушением его. Но если бы мы представляли себе это, так сказать (1), неподвижное равновесие, руководясь понятиями, которые допускаются без особых колебаний (!) в нашей нынешней механике, то нельзя было бы вовсе объяснить, как могла материя дойти до состояния изменений». Кроме механики масс существует еще превращение движения масс в движение мельчайших частиц, но как это происходит, «насчет этого у нас еще до сих пор нет общего принципа, и мы не должны поэтому удивляться, если эти процессы несколько темны для нас».

Вот и все, что может сказать господин Дюринг. Мы должны были бы видеть венец мудрости не только в «самоуродовании производительной силы», но и в слепой вере угольщика, чтобы дать провести себя такими, поистине жалкими, ничтожными, увертливыми фразами. Абсолютное тожество, признается господин Дюринг, — не может само собою прийти к изменяемости. Нет никакого средства, чтобы абсолютное равновесие могло само собою прийти в движение. Что же остается? Три ложных, жалких выверта.

Во-первых: столь же трудно, якобы, установить переход любого малейшего звена хорошо нам известной цепи наличного бытия к ближайшему следующему. Господин Дюринг считает, повидимому, своих читателей младенцами. Установление отдельных переходов и связей малейших звеньев в цепи наличного бытия составляет как раз содержание естествознания, и если при этом имеется где-нибудь невязка, то никто — не исключая и самого господина Дюринга — не думает вовсе о том, чтобы объяснять происходящее движение из ничего, а всегда объясняют его только перенесением, превращением или продолжением какого-нибудь предшествующего движения. Здесь же, по признанию господина Дюринга, дело идет о том, чтобы выводить движение из неподвижности, т. е. из ничего.

Во-вторых: мы имеем «мост непрерывности». Правда, с чисто логической стороны он но устраняет затруднений, но мы все же в праве воспользоваться им как посредствующим звеном между неподвижностью и движением. Но, к сожалению, непрерывность неподвижности состоит в том, чтобы не двигаться; поэтому вопрос о том, как с ее помощью создать движение, остается еще более загадочным, чем когда-либо. И на какие бесконечно малые частички ни разлагал бы господин Дюринг свой переход от полного отсутствия движения к всеобщему движению, какой бы долгий период времени он ни приписывал ему, мы ни на одну десятитысячную часть миллиметра не подвигаемся с места. От ничего нельзя—без творческого акта — прийти к чему-то, хотя бы это «что-то» было не больше математического диференциала! «Мост непрерывности», таким образом, даже не мост для ослов, — перейти его способен лишь господин Дюринг.

В-третьих: пока сохраняют свою силу законы современной механики, — а она, по господину Дюрингу, один из важнейших рычагов для образования мышления, — нельзя объяснить перехода от неподвижности к движению. Но механическая теория теплоты показывает нам, что движение масс, при известных условиях, переходит в молекулярное движение (хотя и здесь движение получается из другого движения, а вовсе не из неподвижности), а это,— робко подсказывает господин Дюринг,—может быть, могло бы образовать мост между строго статическим (находящимся в равновесии) и динамическим (движущимся). Но эти процессы «несколько темны». И господин Дюринг оставляет нас сидеть в темноте.

И вот, после всего углубления и уточнения, мы пришли к тому, что, углубляясь все глубже в постоянно уточняемую нелепицу, мы, в конце концов, прибыли туда, куда неизбежно должны были пристать, — «к темноте». Но это мало смущает господина Дюринга. На следующей же странице он имеет смелость утверждать, что он «сумел наполнить реальным содержанием понятие самому себе равного постоянства из условий материи и механических сил». И этот человек называет других людей «шарлатанами»!

Но, к счастью, у нас, при всей этой путанице и беспомощном блуждании «в темноте», остается одно утешение, возвышающее дух: «Математика обитателей других небесных тел не может основываться ни на каких иных аксиомах, кроме наших».

VI.НАТУРФИЛОСОФИЯ.КОСМОГОНИЯ.ФИЗИКА. ХИМИЯ.

В дальнейшем мы приходим к учению о том, как произошел теперешний мир. Еще у ионийцев исходным пунктом их философии было представление о состоянии всеобщего рассеяния материи. Но начиная с Канта, гипотеза о первичной туманности стала играть совсем новую роль, причем активными факторами при постепенном образовании отдельных твердых мировых тел являлись тяготение и излучение тепла. Современная механическая теория теплоты дозволяет делать гораздо более определенные умозаключения о прежних состояниях вселенной. Но при всем том «состояние газообразного рассеяния может явиться исходным пунктом для серьезных выводов лишь тогда, когда можно данную в нем механическую систему охарактеризовать предварительно более определенным образом. В противном случае не только идея остается фактически весьма туманной, но первоначальная туманность становится действительно в ходе дедукции все гуще и непроницаемее; пока же все остается в неопределенном, бесформенном состоянии не определяемой более точным образом идеи о состоянии диффузии», и, таким образом, «в идее об этой газообразной вселенной мы имеем перед собой крайне воздушную концепцию».

Кантовская теория о возникновении всех теперешних мировых мировых тел из вращающихся туманных масс была величайшим завоеванием астрономии со времени Коперника. Впервые было поколеблено представление о том, будто природа не имеет никакой истории во времени. До тех пор полагали, что мировые тела изначала движутся по неизменным орбитам и находятся постоянно в одном и том же состоянии; а если даже на отдельных мировых телах единичные органические существа умирали, то роды и виды признавались неизменными. Природа, конечно, находится в непрерывном движении, но это движение рассматривалось как непрерывное повторение одних и тех же процессов. В этой насквозь пропитанной метафизическим способом мышления концепции Кант пробил первую брешь, и притом настолько научным образом, что большинство приводившихся им аргументов сохранили свою силу и поныне. Разумеется, строго говоря, кантовская теория и теперь еще гипотеза. Но и коперникова система мира тоже остается доныне гипотезой, а после того, как спектроскопом было доказано с не допускающей никаких возражений убедительностью существование раскаленных газовых масс на звездном небе, прекратилась и научная оппозиция против теории Канта. И господин Дюринг тоже, при возведении своей теории мира, не может обойтись без подобной стадии туманностей, но в отместку за это он требует, чтобы ему показали данную в этом состоянии некоторую механическую систему; а так как это невозможно, то он «обкладывает» это состояние туманности всякого рода оскорбительными эпитетами. К сожалению, современная наука не может охарактеризовать эту систему так, чтобы удовлетворить господина Дюринга. Но точно так же есть не мало других вопросов, на которые она не в состоянии ответить. На вопрос, почему у жаб нет хвостов, она и до сих пор может лишь ответить: потому что они их утеряли. Но если бы на это рассердились и сказали, что этот ответ оставляет нас в неопределенном, бесформенном состоянии не определяемой более точным образом идеи потери и что нам предлагается крайне воздушная концепция, то с подобным морализированием в области естествознания мы бы далеко не ушли. Такие нелюбезности и изъявления неудовольствия можно выражать всегда и везде, но именно поэтому их и не выражают никогда и нигде. Кто же, в самом деле, мешает господину Дюрингу найти самому механическую систему первоначальной туманности?

К счастью, мы узнаем теперь, что кантовская туманная масса «далеко не совпадает с вполне тожественным состоянием мировой среды, или, выражаясь иначе, с самому себе равным состоянием материи». Истинное счастье для Канта, с которого было достаточно того, что он мог от существующих мировых тел итти вспять до туманного шара, и который не позволял себе еще мечтать о самому себе равном состоянии материи! Заметим мимоходом, что если теперешнее естествознание называет кантовский туманный шар

первоначальной туманностью, то, само собою разумеется, лишь в относительном смысле. Он—первоначальная туманность в том смысле, что, с одной стороны, от него ведут свое начало существующие мировые тела, а с другой стороны, в том смысле, что он — наиболее первичная, известная нам до сих пор, форма материи. «Это нисколько не исключает,—а даже предполагает,—то, что материя прошла, до состояния первоначальной туманности, через бесконечный ряд других форм.

Господин Дюринг усматривает здесь преимущество своего учения. Там, где наука останавливается пока на состоянии первоначальной туманности, он, со своей наукой наук, может итти назад гораздо дальше, «до того состояния мировой среды, которого нельзя познать ни чисто статически, в современном смысле слова, ни чисто динамически», которого, следовательно, вообще нельзя понять. «Единство материи и механической силы, обозначаемое нами понятием мировой среды, это, так сказать, логически-реальная формула для указания самому себе равного состояния материи как предпосылки для всех доступных счету стадий развития».

Очевидно, мы еще не скоро отделаемся от этого самому себе равного первобытного состояния материи. Здесь оно обозначается как единство материи и механической силы, которое есть логически-реальная формула и т.д. Следовательно, лишь только прекращается единство материи и механической силы, как начинается движение.

Логически-реальная формула представляет не что иное, как жалкую попытку использовать для философии действительности гегелевские категории «в себе» и «для себя». По Гегелю, «в себе» содержит первоначальное тожество скрытых в какой-нибудь вещи, каком-нибудь процессе, каком-нибудь понятии и не развернутых противоположностей; в «для себя» наступает различение и отделение друг от друга этих скрытых элементов, и начинается их борьба. Мы, следовательно, должны представить себе лишенное движения первоначальное состояние как единство материи и механической силы, а переход к движению — как разделение и противопоставление друг другу обеих. Этим мы выиграли не доказательство реальности этого фантастического первоначального состояния, но лишь то, что его можно подвести под гегелевскую категорию «в себе», а столь же фантастическое прекращение этого состояния—под категорию «для себя». Гегель, выручай!

Материя, — говорит господин Дюринг, — носительница всего действительного; значит, не может быть механической силы без материи. Далее, механическая сила есть состояние материи. В первоначальном состоянии, когда ничего не происходило, материя и ее состояние, механическая сила, составляли одно. Следовательно, впоследствии, когда нечто начало происходить, состояние должно было стать отличным от материи. Значит, мы должны довольствоваться подобными мистическими фразами и уверениями, что самому себе равное состояние не было ни статическим, ни динамическим, не было ни в равновесии, ни в движении. Мы все еще не знаем, где была в том состоянии механическая сила и как мы без толчка извне, т. е. без бога, должны перейти от абсолютной неподвижности к движению.

До господина Дюринга материалисты говорили о материи и движении. Господин Дюринг сводит движение к механической силе, как якобы ее основной форме, и лишает себя таким образом возможности понять действительную связь между материей и движением, бывшую, впрочем, неясной всем прежним материалистам. Между тем дело довольно просто. Движение есть форма существования материи. Никогда и нигде не было и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение небольших масс на отдельных мировых телах, молекулярные колебания в виде

теплоты или в виде электрического или магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь,—вот те формы движения, в одной из которых или в нескольких зараз находится каждый отдельный атом вещества в мире в любой данный момент. Всякий покой, всякое равновесие имеет только относительное значение, имеет смысл только по отношению к той или иной форме движения. Какое-нибудь тело, например, может находиться на земле в механическом равновесии, механически—в состоянии покоя; это нисколько не меняет того факта, что оно участвует в движении земли и в движении всей солнечной системы; и точно так же это не меняет того факта, что мельчайшие физические частицы его находятся в обусловленных его температурой колебаниях, а атомы совершают химический процесс. Материя без движения так же немыслима, как движение без материи. Поэтому движение так же несотворимо и неразрушимо, как сама материя; этот факт прежняя философия (Декарт) выражала словами, что количество имеющегося в мире движения остается всегда одним и тем же. Следовательно, движение не может быть создано, а только передано. Если движение переходит с одного тела на другое, то в нем — поскольку оно передается и активно — можно видеть причину движения, поскольку последнее передано и пассивно. Это активное движение мы называем силой, а пассивное — проявлением силы. Ясно, что сила так же велика, как и ее проявление, так как ведь в них обоих проявляется одно и то же движение.

Таким образом, лишенное движения состояние материи оказывается одним из самых пустых и вздорных представлений, простым «горячечным бредом». Чтобы прийти к нему, нужно представить себе то относительное механическое равновесие, в котором может находиться тело на нашей земле, абсолютным покоем, а затем перенести его на совокупность всей вселенной. Эта операция облегчается, если свести все виды движения к голой механической силе. Ограничение движения голой механической силой имеет еще то преимущество, что можно себе представить силу покоящейся, связанной, т. е. временно не действующей. Именно, если передача какого-нибудь движения пред-ставляет, как это часто бывает, мало-мальски сложный процесс, в который входят различные промежуточные звенья, то можно задержать действительную передачу до любого момента, опуская последнее звено цепи. Так, например, это бывает, когда мы заряжаем ружье и удерживаемся на момент от того, чтобы спуском курка вызвать разряд, передачу освобожденного сжиганием пороха движения. Следовательно, можно себе представить, что во время неподвижного, себе самому равного, состояния материя была заряжена силой, и, повидимому, это-то и разумеет господин Дюринг (если вообще что-нибудь разумеет) под своим единством материи и механической силы. Пред-ставление это бессмысленно, ибо оно переносит на мироздание, как абсолютное, такое состояние, которое по сущности своей относительно и в котором в известный момент может находиться всегда лишь часть материи. Но если мы и отвлечемся от этого, то остаются еще другого рода трудности: во-первых, как объяснить, что мир оказался заряженным, — ведь в наше время ружья не заряжаются сами собой — а во-вторых, чей палец затем спустил курок? Как бы мы здесь ни вертелись и ни изворачивались, но под руководством господина Дюринга мы всегда приходим к персту божию.

От астрономии наш философ действительности переходит к механике и физике и начинает жаловаться, что механическая теория теплоты за тридцать лет со времени открытия ее не очень далеко ушла от того состояния, до которого ее довел сам Роберт Майер. Кроме того, вся проблема еще очень темна; мы всегда «должны помнить, что вместе с состоянием движения материи даны и статические отношения, а для этих последних не существует никакой меры в механической работе... если прежде мы назвали природу великой работницей и если мы будем строго придерживаться этого выражения, то мы должны еще прибавить, что самим себе равные состояния и покоящиеся отношения

не представляют вовсе механической работы. У нас опять-таки нет моста от статического к динамическому, и если так называемая теплота оставалась доселе для теории камнем преткновения, то мы должны и здесь признать пробел, который менее всего следовало бы отрицать в применениях к космическим явлениям».

Ведь этот оракульский разговор опять-таки попросту проявле-ние нечистой совести, которая отлично сознает, что в своем порождении движения из абсолютной неподвижности она безнадежно зарвалась, но стыдится апеллировать к единственному спасителю — именно к творцу неба и земли. Если даже в механике — включая в нее и механику теплоты — нельзя найти моста от статического к динамическому, от равновесия к движению, то почему господин Дюринг обязан найти мост от своего неподвижного состояния к движению? Таким образом он как будто выпутывается из беды.

В обыкновенной механике мостом от статического к динамическому является толчок извне. Если взять камень весом в центнер, поднять его на десять метров высоты и оставить там свободно висеть, так чтобы он оставался в самому себе равном состоянии и в покоящемся отношении, то нужно апеллировать к публике из младенцев, чтобы утверждать, будто новое состояние этого тела не представляет вовсе механической работы или будто нет никакой меры механической работы для выражения его теперешнего удаления от его прежнего положения. Каждый встречный без труда объяснит господину Дюрингу, что камень не сам по себе очутился на веревке, а из любого учебника механики он может узнать, что если он даст камню упасть, то он при падении разовьет столько же механической работы, сколько ее нужно было, чтобы поднять его на десять метров высоты. Даже тот весьма простой факт, что камень висит наверху, представляет механическую работу, ибо если он будет висеть достаточно долго, то он разорвет веревку, как только она, вследствие химического разложения, не окажется более в состоянии поддерживать камень. Но все механические процессы можно свести к подобным простым основным формам, выражаясь языком господина Дюринга, и еще не родился тот инженер, который не нашел бы моста от статического к динамическому, располагая достаточным толчком.

Разумеется, для нашего метафизика является твердым орешком и горькой пилюлей тот факт, что движение должно находить свою меру в своей противоположности, покое. Ведь это — зияющее противоречие, а каждое противоречие представляет, по господину Дюрингу, бессмыслицу. Тем не менее — факт, что висящий камень представляет собой определенную, измеряемую точно своим весом и своим расстоянием от поверхности земли массу механического движения, которую можно использовать многообразными способами (например, прямо падением или скольжением по наклонной плоскости, или же с помощью ворота); то же самое можно сказать о заряженном ружье. Для диалектической точки зрения эта возможность выразить движение в его противоположности, в покое, не представляет вовсе никаких трудностей. Для нее вся эта противоположность носит, как мы видели, относительный характер; не существует абсолютного покоя, безусловного равновесия. Отдельное движение стремится к равновесию, но движение в целом снова уничтожает это равновесие. Таким образом, покой и равновесие представляют там, где они имеют место, результат ограниченного движения; само собою разумеется, что это движение может быть измерено по его результату, выражено через его посредство и снова получено из него в той или иной форме. Но такое простое изложение дела не может удовлетворить господина Дюринга. Как истинный метафизик, он сначала вырывает между движением и равновесием зияющую пропасть, не существующую в действительности, а затем он удивляется тому, что не может найти моста через эту, сфабрикованную им же самим, пропасть. С таким же успехом он мог бы сесть на своего метафизического

Россинанта и гнаться за кантовской «вещью в себе», ибо в конце концов именно она, а не что другое, скрывается за этим неуловимым мостом.

Но в каком положении находится вопрос о механической теории теплоты и о связанной или скрытой теплоте, которая оставалась для этой теории «камнем преткновения»?

Если взять фунт льда при температуре точки замерзания и при нормальном давлении и, путем нагревания, превратить его в фунт воды той же температуры, то при этом исчезает количество тепла, с помощью которого можно было бы нагреть этот самый фунт воды от 0° до 79,4° (по стоградусному термометру) или же нагреть 79,4 фунта воды на один градус. Если нагреть этот фунт воды до точки кипения, т. е. до 100°, и превратить его в пар при 100°, то при превращении всей воды в пар исчезает масса тепла, почти в семь раз большая предыдущей, именно такое количество его, что с его помощью можно нагреть 537,2 фунта воды на один градус. Эту исчезнувшую теплоту называют связанной. Если путем охлаждения пар превращается обратно в воду, а вода в лед, то высвобождается то самое количество тепла, которое было прежде связанным, и оно становится доступным ощущению и измерению в качестве тепла. Это высвобождение тепла при сгущении пара и при замерзании воды оказывается причиной того, что пар, если он охлажден до 100°, лишь постепенно превращается в воду и что масса воды при температуре замерзания лишь очень медленно превращается в лед. Таковы факты. И вот спрашивается: что происходит с теплотой в то время, когда она находится в связанном состоянии?

Механическая теория теплоты, согласно которой теплота состоит в большем или меньшем (в зависимости от температуры и аггре-атного состояния) колебании мельчайших физических деятельных частиц (молекул) тел, которое, при известных обстоятельствах, может перейти в любую другую форму движения, объясняет это тем, что исчезнувшая теплота произвела работу, превратилась в работу. При таянии льда уничтожается тесная прочная связь отдельных молекул между собою, превращаясь в свободное расположение их друг относительно друга; при испарении воды, на точке кипения, наступает состояние, когда отдельные молекулы перестают вообще оказывать заметное влияние друг на друга, разлетаясь даже под действием теплоты по разным направлениям. Ясно, что отдельные молекулы тела обладают в газообразном состоянии гораздо большей энергией, чем в жидком, а в жидком опять-таки большей, чем в твердом. Следовательно, связанная теплота не исчезла, она просто преобразовалась, приняв форму молекулярной упругости. Лишь только прекращается условие, при котором отдельные молекулы могут сохранить друг относительно друга эту абсолютную или относительную свободу, т. е. лишь только температура опустится до минимума в 100° (или соответственно 0°), как эта упругость исчезает, молекулы снова устремляются друг к другу с той самой силой, с какой прежде они отрывались друг от друга; сила эта исчезает, но только для того, чтобы появиться снова в качестве теплоты, и как раз того же количества теплоты, которое было прежде связано. Конечно, это объяснение — такая же гипотеза, как и вся механическая теория теплоты, ибо никто до сцх пор не видел молекулы, а тем более колеблющейся молекулы. Поэтому она, наверное, имеет массу слабых пунктов, как и вся еще очень молодая теория, но она в состоянии, по крайней мере, объяснить процесс, не вступая нигде в противоречие с учением о неразрушимости и несотворимости энергии, и она умеет даже объяснить местопребывание теплоты во время ее превращения. Следовательно, скрытая или связанная теплота не является вовсе камнем преткновения для механической теории теплоты. Наоборот, эта теория впервые дает рациональное объяснение рассматриваемого явления, и «камень преткновения» может получиться разве только оттого, что физики продолжают называть теплоту, превратившуюся в другую форму молекулярной энергии, устарелым и неподходящим названием «связанной».

Таким образом, «самим себе равные состояния» и «покоящиеся отношения» твердого, капелъно-жидкого и газообразного аггрегатного состояния представляют механическую работу, поскольку механическая работа является мерой теплоты. Твердая земная кора, как и вода океанов, представляет в своем теперешнем аггрегатном состоянии совершенно определенное количество освободившейся теплоты, которой, разумеется, соответствует определенное количество механической силы. При переходе газового шара, из которого возникла земля, в капельно-жидкое, а затем, большей частью, в твердое аггрегатное состояние, было излучено в мировое пространство, в виде теплоты, определенное количество молекулярной энергии. Следовательно, те трудности, о которых таинственно шепчет господин Дюринг, вовсе не существуют, и даже, имея дело с явлениями космического порядка, мы, если и можем натолкнуться на пробелы теории, вытекающие из несовершенства наших познавательных средств, нигде не встречаемся с теоретически неодолимыми препятствиями. Мостом от статического к динамическому и здесь служит толчок извне—охлаждение или нагревание, вызываемое другими телами, действующими на находящийся в равновесии предмет. Чем дальше мы углубляемся в дюрингову натурфилософию, тем безнадежнее кажутся все попытки вывести движение из неподвижности или найти мост, по которому чисто статическое, покоящееся, может само из себя перейти к динамическому, к движению.

А теперь мы можем, к счастью расстаться, на некоторое время с самому себе равным первоначальным состоянием. Господин Дюринг переходит к химии и по этому случаю открывает нам три найденных пока философией действительности закона постоянства природы, а именно: 1) количество всей материи, 2) количество простых (химических) элементов и 3) количество механической силы представляют собою неизменные величины.

Итак, несотворимость и неразрушимость материи и ее простых составных частей (поскольку она их имеет), а также движения,— эти старые архиизвестные факты, выраженные к тому же крайне неудачно,— вот тот единственный, действительный, положительный результат, который господин Дюринг в состоянии дать нам в итоге своей натурфилософии неорганического мира. Все это — давно знакомые вещи. Но что нам не было известно, так это то, что они— «законы постоянства» и, как таковые, представляют «схематические свойства системы вещей». Получается та же история, что и раньше с Кантом: господин Дюринг берет какую-нибудь известную всем ерундовую вещь, наклеивает на нее дюрингову этикетку и называет: «совершенно своеобразные выводы и взгляды... системосозидающие идеи… основательная наука».

Однако это не должно нас приводить в отчаяние. Какие бы недостатки ни представляли «основательнейшая» наука и наилучше устроенное общество, одно господин Дюринг твердо знает: «Имеющееся во вселенной золото должно представлять в любой момент одну и ту же массу; как и материя вообще, оно не может стать ни больше, ни меньше». К сожалению только господин Дюринг не сообщает, чего мы можем накупить на это «имеющееся золото».

VII. НАТУРФИЛОСОФИЯ. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР.

«От механики с ее давлением и толчком до связи ощущений и мыслей простирается одна единая и единственная скала промежуточных состояний». Это утверждение освобождает г. Дюринга от необходимости сказать что-нибудь более подробное о возникновении жизни; между тем от мыслителя, который проследил развитие мира вплоть до равного самому себе состояния и который чувствует себя как дома на других мировых телах, мы в праве были бы ожидать, что он и здесь знает настоящее слово. Впрочем, само это

утверждение, если не дополнить его упомянутой уже гегелевской узловой линией отношений меры, верно лишь наполовину. При всей постепенности переход от одной формы движения к другой является всегда скачком, решающим поворотом. Таков переход от механики небесных тел к механике небольших масс на них; таков переход от механики масс к механике молекул, обнимающей движения, которые мы изучаем в том, что называют физикой в собственном смысле слова: теплота, свет, электричество, магнетизм, точно так же переход от физики молекул к физике атомов — химии — совершается посредством решительного скачка; еще более относится это к переходу от обыкновенного химического действия к химизму белков, называемому нами жизнью. Внутри сферы жизни скачки делаются все более редкими и незаметными. Таким образом опять-таки Гегель должен поправлять господина Дюринга.

Для логического перехода к органическому миру господин Дюринг пользуется понятием цели. Это опять-таки заимствовано у Гегеля, который в логике — в учении о понятии — переходит, при посредстве телеологии, или учения о цели, от химизма к жизни. Куда мы ни взглянем, мы наталкиваемся у господина Дюринга на какую-нибудь гегелевскую «неудобоваримую мысль», которую он выдает без всякого стеснения за свою собственную «основательную»-науку. Анализ того, насколько правомерно и уместно применение понятий цели и средств к органическому миру, завел бы нас слишком далеко. Во всяком случае даже применение гегелевской «внутренней цели», т. е. цели, которая не внесена в природу каким-нибудь сознательно действующим сторонним агентом, например мудростью провидения, а которая заключается в самом необходимом существе дела, постоянно приводит у людей, не прошедших хорошей философской школы, к бессмысленному навязыванию природе сознательной, намеренной деятельности. Тот самый господин Дюринг, который при малейшем намеке на «спиритические идеи» других людей приходит в величайшее нравственное негодование, утверждает «определенно, что инстинкты по существу были созданы для того удовлетворения, которое связано с их функционированием». Он рассказывает нам, что бедная природа «должна каждый раз сызнова приводить в порядок вещественный мир» и что, кроме того, ей не раз приходится решать задачи, «которые требуют от природы гораздо больше тонкости, чем обыкновенно предполагают». Но природа не только знает, почему она творит те или иные вещи, ей приходится не только исполнять работу служанки, она не только обладает тонкостью, что представляет уже довольно недурное усовершенствование в субъективном, сознательном мышлении, — она имеет также волю; ибо то приложение к инстинктам, что они выполняют реальные естественные требования: питание, размножение и т. д.,—эту дополнительную задачу «мы в праве представлять как желаемую не прямо, но лишь косвенно». Таким образом, мы добрались до сознательно мыслящей и поступающей природы и стоим, следовательно, уже на «мосту», ведущем, правда, не от статического к динамическому, а от пантеизма к деизму. Или не захотелось ли вдруг господину Дюрингу заняться немножко «натурфилософской полупоэзией»?

Нет, это невозможно. Ведь все, что может нам сказать об органической природе наш философ действительности, ограничивается борьбой с этой натурфилософской полупоэзией, борьбой с «шарлатанством с его легкомысленной поверхностностью и, так сказать, научными мистификациями», борьбой с «поэтизирующими чертами» дарвинизма.

Прежде всего Дарвину вменяется в упрек, что он перенес маль-тусову теорию народонаселения из политической экономии в область естествознания, что он коснеет в представлениях животноводов, что своим учением о борьбе за существование он предается научной полупоэзии и что весь дарвинизм, за вычетом сделанных им у ламаркизма заимствований, есть изрядная доза направленного против человечности зверства.

Дарвин вернулся из своих научных путешествий с убеждением, что виды животных и растений не постоянны, а изменчивы. Для разработки этих идей на родине у него не было лучшего материала для исследования, чем факты, связанные с разведением животных и растений. В этом отношении Англия является как раз классической страной; то, что сделано другими странами, например Германией, и в «отдаленной степени не может сравниться с результатами работ англичан. К тому же наибольших успехов удалось добиться за последние сто лет, так что констатирование фактов не представляло никаких затруднений. Дарвин нашел, что при разведении животных и растений одного и того же вида удалось искусственно вызвать среди экземпляров различия большие, чем те, которые наблюдаются у видов, признаваемых вообще разными. Таким образом, с одной стороны, была доказана изменчивость до известной степени видов, а с другой, возможность общих предков для организмов, представляющих признаки, свойственные разным видам. И вот Дарвин стал исследовать, не имеется ли в природе факторов, которые, — без сознательного умысла, как в случае с разведением животных и растений,—должны все-таки со временем вызвать в живых организмах изменения, подобные тем, что вызывает искусственный отбор. Факторы эти он усмотрел в несоответствии между колоссальным числом создаваемых природой зародышей и ничтожным числом действительно достигающих зрелости организмов. Но так как каждый зародыш стремится к развитию, то неизбежно возникает борьба за существование, проявляющаяся не просто в виде прямой физической борьбы или пожирания друг друга, но и в виде борьбы за пространство и свет, что наблюдается даже у растений. И ясно, что наибольшие шансы достигнуть зрелости и размножаться имеют в этой борьбе лишь те индивиды, которые обладают какой-нибудь, хотя бы и ничтожной, но выгодной в борьбе за существование индивидуальной особенностью. Эти индивидуальные особенности имеют поэтому тенденцию передаваться по наследству и, — если они встречаются у многих особей одного и того же вида, — усиливаться благодаря суммированному наследованию в одном определенном направлении; особи же, не обладающие этими особенностями, бывают легче побеждаемы в борьбе за существование и постепенно исчезают. Таким образом, путем естественного отбора, путем переживания приспособленнейших, изменяются виды.

Против этой дарвиновской теории господин Дюринг возражает указанием на то, что происхождение идеи о борьбе за существование, как признавал и сам Дарвин, следует искать в обобщении взглядов политико-эконома и теоретика народонаселения.Мальтуса и что она поэтому полна всех тех недостатков, которые свойственны поповско-мальтузианской теории о чрезмерном размножении народонаселения.

Но Дарвину вовсе не приходило в голову сказать, что происхождение идеи о борьбе за существование следует искать у Мальтуса. Он говорит только, что его теория борьбы за существование есть теория Мальтуса, примененная ко всему животному и растительному миру. Как бы ни был велик промах Дарвина, принявшего в своей наивности без оговорок учение Мальтуса, однако всякий сразу видит, что можно и без мальтусовых очков заметить в природе борьбу за существование, заметить противоречие между бесчисленным множеством зародышей, которых порождает в своей расточительности природа, и незначительным количеством тех из них, которые достигают зрелости; и противоречие это в действительности разрешается по большей части борьбой за существование, принимающей иногда крайне жестокий характер. И подобно тому, как сохранил свое значение закон заработной платы даже после того, как давно заглохли мальтусовские аргументы, которыми обосновал его Рикардо, так и в природе может иметь место борьба за существование помимо всякого мальтузианского ее истол-кования. Впрочем, и организмы в природе имеют свои законы народонаселения, которые почти совершенно не исследованы и установление которых должно иметь решающее значение

для теории развития видов. Но кто дал решительный толчок и в этом направлении? Опять-таки не кто иной, как Дарвин.

Господин Дюринг остерегается касаться этой положительной стороны проблемы. Вместо этого должна быть все время в ответе теория борьбы за существование. Вообще не может быть речи о борьбе за существование между лишенными сознания растениями и добродушными травоядными: «борьба за существование в точном смысле слова имеется в мире зверства лишь постольку, поскольку питание совершается здесь путем хищничества и пожирания». Введя в такие узкие границы понятие борьбы за существование, господин Дюринг может без всяких помех предаваться негодованию по поводу этого, им самим ограниченного царством скотов, понятия. Но стрелы этого явственного негодования попадают только в самого господина Дюринга, который является единственным автором понимаемой так ограниченно идеи о борьбе за существование, а потому один и ответственен за нее. Следовательно, не Дарвин «ищет в мире животных законы и понимание всякого природного действия», — Дарвин применял свое понятие борьбы ко всему органическому миру, — а сочиненное самим господином Дюрингом фантастическое пугало. Впрочем, название «борьба за существование» можно охотно отдать в жертву высоконравственному негодованию господина Дюринга. А что самый факт такой борьбы существует даже среди растений, это может ему доказать любой луг, любая нива, любой лес; дело идет не о названии, не о том, говорить ли: «борьба за существование» или «недостаток условий существования и механические воздействия», а о том, как влияет этот факт на сохранение или изменение видов. По этому вопросу господин Дюринг пребывает в упорном, равном самому себе молчании. Следовательно, с естественным отбором все остается по-старому.

Но дарвинизм «свои превращения и различия выводит из ничего». Действительно, говоря об естественном отборе, Дарвин отвлекается от причин, вызвавших изменения в отдельных особях; он в первую голову исследует, как подобные индивидуальные отклонения становятся мало-по-малу признаками расы, разновидности или вида. Дарвин прежде всего интересуется не столько этими причинами, — которые до сих пор отчасти совсем неизвестны, отчасти указываются лишь в самых общих чертах, — сколько рациональной формой, в которой закрепляются действия, приобретая длительное значение. Что Дарвин приписал при этом своему открытию излишне широкий круг действия, что он сделал из него единственный фактор изменчивости видов и пренебрег вопросом о причинах повторных индивидуальных изменений ради вопроса о форме их распространения — это недостаток, свойственный ему, как и большинству людей, действительно двигающих науку вперед. Кроме того, если Дарвин выводит свои индивидуальные превращения из ничего, применяя при этом исключительно «мудрость скотовода», то, значит, скотовод выводит свои уж не воображаемые, а реальные превращения животных и растительных форм точно так же из ничего. Но опять-таки не кто иной, как Дарвин, дал толчок исследованию вопроса, откуда собственно берутся эти превращения и различия.

В последнее время, особенно благодаря Геккелю, представление об естественном отборе было расширено, и изменчивость видов стала рассматриваться как результат взаимодействия приспособления и наследственности, причем приспособление является фактором, производящим изменения, а наследственность — сохраняющим их. Но и это не нравится господину Дюрингу. «Собственно приспособление к жизненным условиям, как они то даются, то отнимаются природой предполагает инстинкты и активность, которые определяются сог- ласно представлениям. В противном случае приспособление оказывается только видимостью, и действующая в этом случае причинность не поднимается над низшими ступенями физического, химического и растительно-

физиологического». Опять-таки только название вызывает раздражение господина Дюринга. Но он может называть этот процесс как ему угодно; вопрос ведь в том, вызываются ли подобными процессами изменения в видах организмов или нет. А господин Дюринг опять не дает никакого ответа.

«Если растение во время своего роста выбирает путь, который дает ему максимум света, то это действие раздражительности есть не что иное, как комбинация физических сил и химических агентов, и если в этом случае хотят говорить не аллегорически, а буквально, о приспособлении, то это должно внести в понятия спиритическую путаницу». Так строг по отношению к другим тот самый человек, который в точности знает, по чьей воле природа делает то-то или то-то, который говорит о тонкости природы, даже о ее воле! Действительно спиритическая путаница, но у кого: у Геккеля или у господина Дюринга?

И не только спиритическая путаница, но и логическая. Мы видели, что господин Дюринг изо всех сил старается внести в природу понятие цели: «Отношение между средством и целью отнюдь не предполагает сознательного намерения». Но что же такое приспособление без сознательного намерения, без посредства представлений, против которых он так воюет, как не подобная бессознательная целесообразная деятельность?

Следовательно, если древесные лягушки и питающиеся листьями насекомые имеют зеленую окраску, животные, обитающие в пустынях, — песочно-желтую, а полярные животные — преимущественно белоснежную, то, конечно, они приобрели ее не намеренно и не руководствуясь какими-нибудь представлениями; напротив, их окраску можно объяснить только действием физических сил и химических агентов. И все же бесспорно, что эти животные, благодаря своей окраске, целесообразно приспособлены к среде, в которой они живут, именно благодаря этому они гораздо менее видны своим врагам. Точно так же органы, с помощью которых известные растения хватают и пожирают садящихся на них насекомых, приспособлены, и даже целесообразно приспособлены, к этой деятельности. Если же господин Дюринг настаивает на том, что приспособление должно вызываться представлением, то он говорит лишь другими словами то, что целесообразная деятельность точно так же должна вызываться представлениями, быть сознательной, намеренной. А тем самым мы снова, как водится в философии действительности, добрались до действующего целесообразно творца, до бога. «Прежде подобное решение называли деизмом и не особенно высоко ставили его (говорит господин Дюринг); теперь же, кажется, и в этом отно-янении замечается регресс».

От приспособления мы переходим к наследственности. И здесь, по мнению господина Дюринга, дарвинизм находится на совершенно ложном пути. Весь органический мир, уверяет будто бы Дарвин, произошел от одного прасущества, является, так сказать, потомством одного единственного существа. Для Дарвина, мол, не существует параллельных самостоятельных рядов однородных созданий природы, не связанных между собою цепью происхождения от общего предка; поэтому он со своими обращенными назад воззрениями, должен упираться в тупик там, где у него обрывается нить рождения или иного способа размножения.

Утверждение, будто Дарвин выводит все теперешние организмы от одного прасущества, представляет, вежливо выражаясь, «собственное свободное творение и фантазию» господина Дюринга. Дарвин определенно заявляет на предпоследней странице «Origin of Species» (6-е изд.), что он смотрит на «все существа не как на особые творения, но как на потомков по прямой линии лишь немногих существ». А Геккель идет еще значительно дальше и принимает «совершенно самостоятельное генеалогическое дерево для растительного царства, другое для животного царства», а между обоими «известное

количество самостоятельных протистовых стволов, из которых каждый развился совершенно независимо от первых из собственной первичной формы монеры» («Schopfungsgeschichte», p. 397). Это прасущество было сочинено господином Дюрингом только для того, чтобы, по возможности, скомпрометировать его параллелью с праиудеем Адамом; причем, к несчастью для господина Дюринга, ему осталось неизвестным, что этот праиудей, благодаря ассирийским находкам Смита, оказался прасемитом и что вся библейская история о сотворении мира и о потопе оказалась осколком из древне-языческого, общего иудеям, вавилонянам и ассирийцам, религиозного цикла легенд.

Упрек по адресу Дарвина, что он тотчас же попадает в тупик там, где у него обрывается нить происхождения, суров и, конечно, неопровержим. Но, к несчастью, его заслуживает все наше естествознание. Там, где у него обрывается нить происхождения, там оно попадает в «тупик». Оно до сих пор еще не научилось создавать органические существа иначе как путем происхождения их от других существ; оно не умеет даже произвести из химических элементов простой протоплазмы или другого белкового вещества. Следовательно, по вопросу о происхождении жизни оно и до сих пор может сказать с определенностью лишь то, что жизнь должна была возникнуть химическим образом. Но, может быть, в этом пункте может прийти на помощь философия действительности? Ведь она имеет в своем распоряжении самостоятельные параллельные ряды созданий природы, не связанных друг с другом цепью общего происхождения от одного предка. Как возникли они? Путем самозарождения? Но до сих пор даже самые отчаянные защитники учения о самозарождении не шли дальше того, чтоб породить таким образом бактерии, грибки и другие весьма элементарные организмы, но отнюдь не насекомых, рыб, птиц или млекопитающих. И если эти однородные создания природы,—разумеется, органические, ибо о них одних идет здесь речь,—не связаны между собою цепью общего происхождения, то они, или каждый из их предков, должны были там, «где обрывается нить происхождения», появиться на свет божий отдельным актом творения. Следовательно, мы снова очутились перед творцом и тем, что называют деизмом.

Далее, господин Дюринг считает признаком большой поверхностности Дарвина то, что он «возводит простой акт родового накопления свойств в фундаментальный принцип возникновения этих свойств». Это опять-таки продукт свободного творчества и фантазии нашего «основательного» философа. Дарвин, наоборот, определенно заявляет, что выражение «естественный отбор» содержит в себе мысль только о сохранении, а не о возникновении свойств (стр. 63).. Но эта новая подтасовка вещей, которых Дарвин никогда не говорил, служит для того, чтобы облегчить нам путь к следующему дюрингову глубокомысленному замечанию: «Если бы во внутреннем схематизме рождения был найден какой-нибудь принцип самостоятельного изменения, то мысль эта была бы совершенно рациональна, ибо весьма естественна мысль связать воедино принцип всеобщего генезиса с половым размножением и, с высшей точки зрения, рассматривать так называемое самозарождение не как абсолютную противоположность воспроизведению, но именно как производство». И человек, способный сочинить подобную галиматью, имеет еще смелость упрекать Гегеля за его «жаргон»!

Однако довольно возиться с жалким, противоречивым брюзжаньем, в котором господин Дюринг дает выход своему раздражению по поводу колоссального прогресса естествознания, вызванного теорией Дарвина. Ни Дарвин, ни его сторонники нисколько не думают о том, чтобы как-нибудь умалить заслуги Ламарка; ведь они-то первые извлекли его учение из пыли забвения. Но не следует забывать того, что во времена Ламарка науке далеко еще нехватало материала, чтобы высказаться по вопросу о происхождении видов иначе, чем в виде пророческих, так сказать, предвосхищений.

Но, не говоря о накопленном со времени Ламарка чудовищном материале из области описательной и анатомической ботаники и зоологии, с той поры возникли целых две новых науки, имеющих в данном случае решающее значение: изучение развития растительных и животных зародышей (эмбриология) и изучение органических остатков, сохранившихся в различных слоях земной поверхности (палеонтология). Оказывается, что между последовательным развитием органических зародышей до стадии зрелых организмов и иерархией следующих друг за другом в истории земли растений и животных обнаруживается своеобразное совпадение. И именно это совпадение является надежнейшей основой теории развития. Но сама теория развития еще очень молода, и поэтому нет сомнения, что дальнейшие исследования приведут к очень значительному видоизменению теперешних, в том числе и строго дарвинистских, представлений о ходе развития видов.

Но что же положительного о развитии органической жизни может сказать нам философия действительности?

«...Изменчивость видов—правдоподобное допущение. Но наряду с ней сохраняет свое значение и самостоятельный параллельный ряд однородных созданий природы, не связанных цепью общего происхождения». На основании этого можно было бы думать, что неоднородные создания природы, т. е. изменяющиеся виды, происходят друг от друга, однородные же — нет. Но это не совсем так, ибо и у изменяющихся видов «связь посредством общего происхождения является, наоборот, лишь второстепенным актом природы». Следовательно, все-таки происхождение, хотя и «второго класса». Будем довольны и тем, что, после того как господин Дюринг наговорил столько худого и темного о происхождении, он его под конец все же впускает с заднего крыльца. То же самое оказывается и с естественным отбором, ибо, после потока морального негодования на борьбу за существование, путем которой совершается естественный отбор, мы вдруг читаем: «Более глубокое основание свойств органических форм следует искать в условиях жизни и в космических отношениях, между тем как выдвигаемый Дарвином естественный отбор может иметь значение лишь на втором месте». Следовательно, все-таки естественный отбор, хотя тоже второго класса; следовательно, вместе с естественным отбором и борьба за существование, а с ней и поповско-мальтузианская чрезмерная избыточность населения! Это все, — в остальном господин Дюринг отсылает нас к Ламарку.

В заключение, он предупреждает нас от злоупотребления словами «метаморфоза» и «развитие». Метаморфоза представляет неясное понятие, а понятие развития допустимо лишь постольку, поскольку можно фактически указать на законы развития. Вместо них обоих следует говорить «композиция», и тогда все будет ладно. Здесь опять-таки повторяется старая история: вещи остаются на своем старом месте, а господин Дюринг страшно доволен, лишь только мы переменим название. Если мы говорим о развитии цыпленка в яйце, то мы запутываем дело, ибо у нас лишь недостаточные знания о законах развития. Но если мы станем говорить о его композиции, то все будет ясно. Следовательно, впредь мы не будем говорить: «этот ребенок великолепно развивается», а — «он отлично компонируется», и мы можем поздравить господина Дюринга с тем, что он достойно стоит рядом с творцом «Кольца Нибелунгов» не только в смысле благородной самооценки, но также и как композитор будущего.

VII. НАТУРФИЛОСОФИЯ. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР.

«Пусть примут в соображение... какое положительное знание необходимо для нашего натурфилософского отдела, чтобы снабдить его всеми научными предпосылками. В

основе его лежат все существенные завоевания математики, а также главные факты точного знания в механике, физике, химии, как и вообще итоги естествознания в физиологии, зоологии и аналогичных областях исследования».

Так самоуверенно и решительно высказывается господин Дюринг о математической и естественно-научной учености господина Дюринга. Но из самого этого тощего отдела, и тем более из его скудных результатов, нельзя совершенно усмотреть, какая таится за этим «основательность» положительного знания. Во всяком случае, чтобы высказать дюринговы прорицания о физике и химии, достаточно из физики знать только уравнение, выражающее механический эквивалент теплоты, а из химии лишь то, что все тела делятся на элементы и соединения элементов. А если к тому же господин Дюринг начинает говорить (на стр. 131) о «тяготеющих атомах», то он этим доказывает лишь, что для него еще совершенно «темно» различие между атомом и молекулой. Атомы, как известно, существуют не для тяготения или других механических или физических форм движения, а только для химического действия. Если же, наконец, прочесть главу об органической природе, с ее пустой, противоречивой, в важнейших пунктах оракульски-бессмысленной болтовней и абсолютной ничтожностью конечного результата, то нельзя удержаться от предположения, что господин Дюринг говорит здесь о вещах, о которых он знает поразительно мало. Это предположение становится уверенностью, когда добираешься до его проекта в учении об органической жизни (биологии) говорить отныне «композиция» вместо «развитие». Кто способен предложить подобную вещь, тот доказывает этим, что он не имеет ни малейшего представления об образовании органических тел.

Все органические тела, за исключением самых низших, состоят из клеток, из небольших, видимых только при большом увеличении, комочков белка, с клеточным ядром внутри. Обыкновенно клетка имеет и внешнюю оболочку, и содержание ее тогда более или менее жидко. Самые элементарные клеточные тела состоят из одной клетки; громное же большинство органических существ многоклеточно, представляя связный комплекс многих клеток, которые у низших организмов еще однородны, а у высших приобретают все более различные формы, группировки и функции. Например, в человеческом организме кости, мускулы, нервы, сухожилия, связки, хрящи, кожа, словом все ткани составлены или же возникли из клеток. Но для всех органических клеточных образований, — начиная от амебы, представляющей простой, по большей части лишенный оболочки, комочек белка с клеточным ядром внутри, и кончая человеком, — начиная от мельчайшей одноклеточной Desrnidiacea (десмидиевой водоросли) и кончая высокоразвитым растением, — для всех них общим способом размножения клеток является деление. Сперва клеточное ядро перетягивается посредине, перетяжка, отделяющая обе половины ядра, становится все крепче, пока они не отделятся друг от друга и не образуют два клеточных ядра. Тот же самый процесс происходит с самой клеткой: каждое из ядер становится средоточием накопления клеточного вещества, которое связано с другим все более суживающейся перетяжкой, пока, под конец, они не отделятся друг от друга и не начнут существовать как самостоятельные клетки. Путем такого повторного клеточного деления из зародышевого пузырька животного яйца, после акта оплодотворения, развивается постепенно животное; точно так же совершается у выросшего животного замещение потребленных тканей. Чтобы назвать подобный процесс «композицией», а применение к нему термина «развитие» «чистой фантазией», для этого надо быть человеком, который — как это ни маловероятно в наше время — ничего не знает в этом процессе; ведь здесь мы имеем дело в буквальном смысле слова только с развитием, но нисколько не с композицией.

Ниже мы еще поговорим о том, что господин Дюринг вообще понимает под жизнью. В частности он с этим понятием связывает следующее содержание: «Неорганический мир

также представляет систему совершающихся сами собой движений; но говорить о жизни в более узком и строгом смысле слова мы в праве лишь там, где начинается собственно расчленение и где начинается циркуляция веществ через особые каналы от некоторого внутреннего пункта по зародышевой схеме, допускающей перенос на меньшее образование».

Не говоря уже о неуклюжем, запутанном грамматическом строе фразы, это предложение есть в точном и строгом смысле слова «система совершающихся сами собой движений» (что бы это ни означало) бессмыслицы. Если жизнь начинается лишь там, где наступает собственно расчленение, тогда мы должны объявить мертвым все гек-келевское царство протистов и, может быть, еще многое в придачу к нему, в зависимости от того, как толковать понятие расчленения. Если жизнь начинается лишь там, где это расчленение доступно передаче через небольшую зародышевую схему, то, значит, не живы, по меньшей мере, все организмы — до одноклеточных включительно. Если циркуляция веществ с помощью особых каналов — признак жизни, то мы должны вычеркнуть из списка живых существ весь верхний класс кишечнополостных (Coelenterata), за исключением, правда, медуз, т. е. всех полипов и других зоофитов. Если же существенным признаком жизни считать циркуляцию веществ с помощью особых каналов из некоторой внутренней точки, то мы должны признать мертвыми всех тех животных, которые не имеют сердца или у которых несколько сердец. К ним относятся, кроме вышеупомянутых, все черви, морские звезды п коловратки (Annuloida и Annulosa: классификация Гексли), часть ракообразных (раки) и, наконец, даже одно позвоночное— ланцетник (Amphioxus). Сюда же относятся все растения.

Таким образом, господин Дюринг, собираясь дать определение жизни в более узком и строгом смысле слова, приводит четыре, совершенно противоречащих друг другу, признака жизни, из которых один осуждает на вечную смерть не только все растительное царство, но почти половину животного царства. Право, никто не посмеет жаловаться, что он обманул нас, когда обещал нам «совершенно своеобразные выводы и взгляды»!

В другом месте мы читаем: «И в природе в основе всех органи-эаций, от низшей до высшей, лежит простой тип», и этот тип «можно застать уже вполне в его всеобщей сущности в самом второстепенном движении» самого несовершенного растения. Это утверждение опять-таки «целиком и полностью» бессмысленно. Наипростейший тип, наблюдаемый во всей органической природе, это клетка; она действительно лежит в основе высших организмов. Но среди низших организмов мы встречаем массу таких, которые стоят еще глубоко ниже клетки — протамебу, простой белковый комочек без следа какого-нибудь диференцирования, целый ряд других монер и все трубчатые водоросли (Siphoneae). Все они связаны с высшими организмами лишь тем, что их существенной составной частью является белок и что поэтому они исполняют свойственные белку функции, т. е. живут и умирают.

Далее господин Дюринг рассказывает нам следующее: «Физиологически ощущение связано с наличностью какого-нибудь, хотя бы и простейшего, нервного аппарата. Поэтому характерной особенностью всех животных является то, что они способны к ощущению, т. е. к субъективно-сознательному восприятию своих состояний. Всякая граница между растением и животным проходит там, где совершается скачок к ощущению. Эту границу совсем невозможно вычеркнуть с помощью известных переходных форм, наоборот, именно благодаря этим внешне непорешенным и непорешимым формам она впервые становится логической потребностью». И далее: «Напротив того, растения совершенно и навсегда лишены какого бы то ни было следа ощущения и также всякой способности к нему».

Во-первых, Гегель («Натурфилософия», § 351, добавление) говорит, что «ощущение есть differentia specifica, абсолютно отличительный признак животного». Следовательно, перед нами снова гегелевская неудобоваримая мысль», которая, с помощью простой аннексии, возводится господином Дюрингом в благородное сословие окончательных истин в последней инстанции.

Во-вторых, мы здесь впервые слышим о переходных формах, о внешне непорешенных и непорешимых формах (что за тарабарский язык!) между растением и животным. Тот факт, что такие промежуточные формы существуют; что существуют организмы, о которых мы просто не можем сказать, растения ли они или животные; что, следовательно, мы вообще не можем провести строгой грани между растением и животным,—все это вызывает у господина Дюринга логическую потребность установить различительный признак, о котором, однако, он говорит в тот же самый момент, что он ненадежен. Но нам даже не нужно возвращаться к спорным промежуточным формам между растениями и животными; разве чувствительные растения, свертывающие при малейшем прикосновении свои листки или закрывающие свои цветки, разве насекомоядные растения лишены всякого следа ощущения и даже всякой способности к нему? Этого не решится утверждать даже господин Дюринг, не прибегая к ненаучной полупоэзии.

В-третьих, когда господин Дюринг уверяет, будто ощущение психологически связано с наличностью какого-нибудь, хотя бы простейшего нервного аппарата, то это опять-таки его свободное творчество и фантазия. Не только все первичные животные, но и зоофиты — по крайней мере большинство их — не обнаруживают и следа нервного аппарата. Только начиная с червей впервые встречается, в виде общего правила, нервный аппарат, и господин Дюринг—первый автор, утверждающий, что не имеющие нервов животные не имеют и ощущений. Ощущение связано необходимым образом не с нервами, а с некоторыми до сих пор не установленными точнее белковыми телами.

Впрочем, биологические познания господина Дюринга достаточно характеризуются вопросом, который он бесстрашно ставит Дарвину: «Значит, животное развилось из растения?» Так может спрашивать только тот, кто ничего не знает ни о животных, ни о растениях.

О жизни вообще господин Дюринг умеет рассказать только следующее: «Обмен веществ, происходящий посредством пластически образующего схематизирования (бога ради, что это за штука?), остается всегда отличительным признаком собственно жизненного процесса».

Это все, что мы узнаем о жизни, причем мы, по случаю «пластически образующего схематизирования», глубоко увязаем в бессмысленной тарабарщине чистейшего дюрингова жаргона. Поэтому, если мы хотим знать, что такое жизнь, то мы должны в этом вопросе положиться на собственные силы.

За последние тридцать лет физиолого-химики и химико-физи-ологи бесчисленное множество раз указывали, что органический обмен веществ — это самое общее и характерное явление жизни; господин Дюринг попросту перевел это утверждение на свой собственный элегантный и ясный язык. Но определять жизнь как органический обмен веществ — это значит определять жизнь как... жизнь; ибо органический обмен веществ или обмен веществ с пластически образующим схематизнрованием,—ведь это выражение, которое, в свою очередь, нуждается в объяснении жизнью, в объяснении различием между органическим и неорганическим, т. е. между живым и неживым. Давая такое объяснение, мы, следовательно, не двигаемся с места.

Обмен веществ как таковой существует и помимо жизни. В химии имеется ряд процессов, которые при достаточном притоке сырых материалов всегда снова порождают свои собственные условия, причем носителем процесса здесь является определенное тело. Пример этого представляет изготовление серной кислоты путем сжигания серы. При этом получается двуокись серы SO_2, а когда к этому прибавляют водяные пары и азотную кислоту, то двуокись серы поглощает водород и кислород и превращается в серную кислоту H_2SO_4.

Азотная кислота отдает при этом кислород и переходит в окись азота; эта окись тотчас же поглощает из воздуха новый кислород и превращается в высшие окислы азота, но только для того, чтобы тотчас же снова отдать этот кислород двуокиси серы и снова проделать тот же самый процесс, так что теоретически достаточно бесконечно малого количества азотной кислоты, чтобы превратить неограниченную массу двуокиси серы, кислорода и воды в серную кислоту. Обмен веществ мы встречаем далее при прохождении жидкости через мертвые органические и даже неорганические перепонки и точно так же в искусственных клетках Траубе. Опять-таки оказывается, что с обменом веществ мы далеко не уйдем, ибо тот специфический обмен веществ, которым хотят объяснить жизнь, нуждается, в свою очередь, в объяснении через посредство жизни. Мы должны поэтому попробовать подойти к этому вопросу с другой стороны.

Жизнь есть форма существования белковых тел, и эта форма существования заключается по существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел.

«Белковое тело» берется здесь в смысле современной химии, охватывающей этим названием все тела, аналогичные по составу с обыкновенным белком и называемые еще иначе протеиновыми веществами. Название это неудачно, ибо обыкновенный белок представляется наименее живым, наиболее пассивным из всех родственных ему веществ: вместе с яичным желтком он представляет просто питательное вещество для развивающегося зародыша. Но пока наши сведения о химическом составе белковых тел еще так скудны, это дазвание, как более общее, все же лучше, чем все другие.

Повсюду, где имеется жизнь, мы находим, что она связана с белковым телом, и повсюду, где имеется белковое тело, не находящееся в процессе разложения, мы встречаем без исключения и явления жизни. Конечно, в живом организме необходима также наличность других химических соединений, чтобы вызвать характерные для этих жизненных явлений процессы диференцирования; но для жизни в чистом, в голом виде они не необходимы, если не говорить о том, что они служат пищей и превращаются в белки. Самые низшие известные нам живые существа представляют собой простые белковые комочки, а ведь они обнаруживают уже все существенные

IX. НРАВСТВЕННОСТЬ И ПРАВО. ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ.

Мы не станем цитировать образчиков той плоской оракульской окрошки, той, по-просту, чуши, которую господин Дюринг преподносит на целых 50 страницах своим читателям как «основательную» науку об элементах сознания. Приведем лишь следующее место: «кто способен мыслить только при посредстве речи, тот еще никогда не испытал, что означает отвлеченное и подлинное мышление». Если так, то животные оказываются самыми отвлеченными и подлинными мыслителями, ибо их мышлению никогда не мешает назойливое вмешательство языка. Во всяком случае, что касается дюринговских мыслей и выражающего их языка, то ясно видно, как мало созданы эти мысли для какого-нибудь языка и как мало создан немецкий язык для этих мыслей.

Под конец нас выручает четвертый отдел, где мы там и сям находим не одну только расплывчатую болтовню, а кое-что уловимое о нравственности и праве. Здесь, в самом же начале, нас приглашают совершить путешествие на другие мировые тела; элементы морали должны «оказаться... согласными у всех вне-человеческих существ, у которых деятельный рассудок должен сознательно упорядочить инстинктивные проявления жизни... Впрочем, наш интерес к подобным выводам будет невелик... Кроме того, всегда благодетельно расширяет кругозор мысль, что на других мировых телах отдельная личность и коллективность должны исходить из схе-.мы, которая... не может противоречить или не соответствовать общей организации действующего согласно рассудку существа».

Если в данном случае, в виде исключения, применимость дю-ринговых истин ко всем другим возможным мирам выставляется уже в самом начале соответствующей главы, а не в конце ее, то для этого имеется достаточное основание. Раз только удастся установить применимость дюринговых представлений о морали и справедливости ко всем мирам, то тем легче расширить круг применимости их ко всем временам. Здесь дело опять-таки идет не о какой-нибудь безделице, а об окончательных истинах в последней инстанции.

Мир морали имеет «точно так же, как мир всеобщего знания, свои постоянные принципы и простые элементы», моральные принципы возвышаются «над историей и над теперешними различиями народных характеров... Отдельные истины, из которых в ходе развития образовалось более полное моральное сознание и, так сказать, совесть, могут, если они познаны до своих последних оснований, претендовать на такую же значимость и полносильность, как теории и применения математики. Настоящие истины вообще не изменчивы... так что вообще глупо представлять себе, будто правильность познания зависит от времени и от реальных перемен». Поэтому надежность строгого знания и достаточность обычного познания не позволяют нам в нормальном состоянии усомниться в абсолютной значимости принципов знания: «Уже само длительное сомнение есть болезненное состояние слабости и не что иное, как выражение дикой путаницы, которая иногда в систематическом сознании своего ничтожества старается принять видимость чего-то реального. В вопросах нравственности отрицание всеобщих основоначал цепляется за географическое и историческое многообразие нравов и принципов, и если признать вместе с ним неустранимую неизбежность нравственно дурного и злого, то тогда оно считает себя в праве выйти за пределы признания серьезной значимости и фактической действенности единообразных моральных побуждений. Этот разъедающий скептицизм, который направляется не против отдельных ложных учений, а против самой человеческой способности к сознательной моральности, приводит под конец к действительному ничто или даже к чему-то, что похуже простого нигилизма. Он льстит себя надеждой торжествовать легкую победу в диком хаосе ниспровергнутых им нравственных представлений и открыть широко дверь беспринципному произволу. Но он

сильно ошибается, ибо достаточно простого указания на неизбежные блуждания разума в поисках истины, чтобы уже благодаря одной этой аналогии понять, что неизбежный факт погрешимости не исключает возможности достижения достоверности».

Мы до сих пор спокойно мирились с торжественными заверениями господина Дюринга об окончательных истинах в последней инстанции, о суверенности мышления, об абсолютной достоверности познания и т. д., потому что вопрос этот мог быть подвергнут обсуждению лишь в том пункте нашего исследования, которого мы теперь достигли. До сих пор нам достаточно было исследовать, насколько в праве претендовать отдельные утверждения философии действительности на «суверенную значимость» и насколько обосновано их «безусловное притязание на истину»; теперь перед нами возникает вопрос, могут ли вообще продукты человеческого познавания — и какие именно — обладать суверенной значимостью и претендовать на безусловную истинность. Когда я говорю: человеческого познавания, то я говорю это не с намерением оскорбить обитателей других мировых тел, которых я не имею чести знать, а потому лишь, что познают и животные, хотя и не суверенным образом. Собака познает в своем господине своего бога, между тем как этот бог может быть величайшим негодяем.

Суверенно ли человеческое мышление? Прежде чем ответить утвердительно или отрицательно на этот вопрос, мы должны сначала исследовать, что такое человеческое мышление. Идет ли тут речь о мышлении какого-нибудь отдельного индивида? Нет. Человеческое мышление существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей.

Если теперь я объединю в своем представлении мышление всех этих людей (включая сюда и будущие поколения) и скажу, что оно суверенно, что оно в состоянии познать существующий мир, — поскольку человечеству обеспечено достаточно длительное существование и поскольку познанию не будут поставлены границы органами и предметами познавания, — то я скажу лишь нечто изрядно банальное и, к тому же, изрядно бесплодное. Ведь наиболее ценным результатом этой мысли было бы крайнее недоверие к нашему теперешнему познанию, ибо, по всей вероятности, мы стоим лишь в самом начале истории человечества, — и поколения, которым придется исправлять нас, будут, надо думать, гораздо многочисленнее, чем поколения, знание которых — часто не дооценивая его — исправляем теперь мы.

Господин Дюринг сам считает неизбежным, что сознание — а значит, мышление и познавание — может обнаруживаться лишь в ряде отдельных существ. Мышление каждого подобного индивида мы можем признавать суверенным лишь постольку, поскольку мы не знаем никакой власти, которая была бы способна силой навязать ему, в здоровом, бодрствующем состоянии, какую-нибудь мысль. Что же касается суверенного характера познаний каждого отдельного индивида, то мы все знаем, что об этом не может быть и речи и что, судя по прошлому опыту, во всех этих познаниях, без исключения, содержится гораздо больше элементов, нуждающихся в исправлении, чем не нуждающихся в нем, или правильных.

Иными словами: суверенность мышления осуществляется в ряде крайне несуверенно мыслящих людей; познание, притязающее на безусловную истину, — в ряде относительных заблуждений; как эта суверенность, так и это познание могут быть вполне осуществлены лишь в процессе бесконечного существования человечества.

У нас здесь снова, как и выше, то же самое противоречие между сущностью человеческого мышления, неизбежно представляемого нами себе абсолютным, и его

осуществлением в одних лишь ограниченно мыслящих индивидах, противоречие, находящее свое решение только в бесконечном прогрессе, в нескончаемой — по крайней мере, практически для нас — преемственной смене людских поколений. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как и несуверенно, его познавательная способность столь же неогра-ниченна, как и ограниченна. Оно суверенно и неограниченно по своим задаткам, по своему назначению, по своим возможностям, по своей исторической конечной цели; но оно несуверенно и ограниченно по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности.

То же самое можно сказать о вечных истинах. Если бы человечество дошло до того, что стало бы оперировать только вечными истинами, только такими суждениями, которые обладают суверенной значимостью и притязаниями на безусловную истину, то это значило бы, что оно достигло пункта, где и реально и потенциально исчерпана бесконечность интеллектуального мира и где, следовательно, произошло знаменитое чудо сосчитанной бесчисленности.

Но ведь существуют столь неизменные истины, что всякое сомнение в них кажется нам равнозначащим сумасшествию? Истины, вроде того, что дважды два четыре, сумма углов треугольника равна двум прямым, что Париж находится во Франции, что человек, не принимающий пищи, умрет с голоду и т. д. Значит, существуют вечные истины, окончательные истины в последней инстанции?

Разумеется, существуют. Всю область познавания мы можем, по старинному способу, разбить на три крупных отдела. К первому относятся все науки, имеющие дело с неодушевленной природой и доступные более или менее математической обработке: математика, астрономия, механика, физика, химия. Если кому-нибудь доставляет удовольствие прибегать к пышным словам для обозначения весьма простых вещей, то можно сказать, что некоторые результаты этих наук являются вечными истинами, окончательными истинами в последней инстанции: поэтому-то эти науки и называются точными. Но далеко не все результаты их носят указываемый характер. Столь безупречная некогда математика, введя у себя переменные величины и распространив свойство переменности на область бесконечно-большого и бесконечно-малого, совершила грехопадение; она вкусила яблоко познания, что открыло перед ней поприще гигантских успехов, но также и заблуждений. В вечность кануло девственное состояние абсолютной правильности, неопровержимой верности всего математического; открылась эра разногласий, и мы дошли до того, что большинство людей диференцирует и интегрирует не потому, чтобы понимали, что они делают, а руководясь чистой верой, потому что результат до сих пор всегда получался верный. В астрономии и механике дело обстоит еще хуже; что же касается физики и химии, то здесь мы окружены со всех сторон гипотезами, точно в центре пчелиного роя. Но это так и должно быть. В физике мы имеем дело с движением молекул, в химии с образованием молекул из атомов, а если интерференция световых волн не сказка, то у нас абсолютно нет никаких надежд увидеть когда-нибудь собственными глазами эти интересные вещи. Окончательные истины в последней инстанции становятся здесь с течением времени удивительно редкими.

Еще хуже положение вещей в геологии, занимающейся, главным образом, такими процессами, при которых не присутствовали не только мы, но вообще ни один человек. Поэтому добывание окончательных истин в последней инстанции здесь сопряжено с очень значительным трудом, и результаты крайне скудны.

Ко второму классу наук принадлежат науки, изучающие живые организмы. В этой области царит невероятное многообразие взаимоотношений и причинных зависимостей, и

не только каждый решенный вопрос вызывает массу новых вопросов, но вообще каждый вопрос может быть решаем, в большинстве случаев, лишь по частям, путем многочисленных, тянущихся иногда столетия исследований. К тому же потребность в систематизации наблюдаемых связей принуждает здесь каждый раз сызнова к тому, чтобы окончательные истины в последней инстанции окружать густым лесом гипотез. Какой требовался долгий путь от Галена до Мальпиги, чтобы правильно установить такую простую вещь, как кровообращение у млекопитающих, как мало знаем мы о происхождении кровяных шариков и как многого нехватает нам еще и теперь, чтобы установить, например, рациональную связь между проявлением болезни и ее причинами! К этому присоединяются довольно часто открытия, вроде открытия клетки, заставляющие нас подвергнуть полному пересмотру все окончательные истины в последней инстанции в области биологии и выбросить за борт целые груды их. Поэтому тот, кто захочет установить здесь подлинные, непреходящие истины, тот должен будет довольствоваться тривиальностями, вроде: все люди должны умереть, все самки млекопитающих имеют молочные железы н т. д.; он даже не будет иметь права сказать, что пищеварение у высших животных совершается с помощью желудка и кишечного канала, а не с помощью головы, ибо для пищеварения необходима централизованная в голове нервная деятельность.

Но еще безотраднее перспективы вечных истин в третьей, исторической группе наук, изучающей, в их исторической преемственности и современном состоянии, условия существования людей, общественные отношения, юридические и государственные формы с их идеальной надстройкой в виде философии, религии, искусства и т. д. В органической природе мы все же имеем дело с рядом процессов, которые, в пределах нашего непосредственного наблюдения, повторяются довольно правильно в очень широких границах. Виды организмов остались со времен Аристотеля в общих чертах теми же самыми. Наоборот, в истории человечества — как только мы покидаем первобытное состояние, так называемый каменный век — повторение явлений оказывается не правилом, а исключением; а если где и происходят подобные повторения, то никогда это не бывает при совершенно одинаковых обстоятельствах. Таков, например, наблюдающийся у всех культурных народов факт общей собственности на землю и форма ее разложения. Поэтому в области человеческой истории наука наша находится в еще более отсталом состоянии, чем в биологии. Мало того: если, в виде исключения, нам и удается познать связь социальных и политических форм существования какой-нибудь эпохи, то это бывает всегда тогда, когда эти формы наполовину уже пережили себя, когда они разлагаются. Следовательно, познание в этой области по существу относительно, ибо оно ограничивается изучением связи и следствий известных, существующих лишь в данное время и у данных народов и по своей природе преходящих социальных и политических форм. Поэтому тот, кто начнет здесь гнаться за окончательными истинами в последней инстанции, за подлинными, никогда не меняющимися истинами, тот добудет лишь мизернейшие банальности и общие места, вроде того, например, что люди вообще не могут жить без труда, что до сих пор они, большей частью, разделялись на господствующих и подчиненных, что Наполеон умер 5 мая 1821 г. и т. д.

Но замечательно, что именно в этой области нам чаще всего попадаются мнимые вечные истины, окончательные истины в последней инстанции и т. д. Что дважды два четыре, что птицы имеют клювы или тому подобные вещи,— назовет вечными истинами лишь тот, кто собирается из наличности вообще вечных истин сделать вывод, будто и в области человеческой истории имеются вечные истины, вечная мораль, вечная справедливость и т. д., претендующие на такую же роль и значение, как математические теории и применения их. И мы можем быть уверены, что при первом же случае этот самый друг человечества заявит, что все прежние фабриканты вечных истин были в большей или меньшей степени

ослами и шарлатанами, что все заблуждались, все ошибались, но их заблуждения, их ошибки закономерны и доказывают, что истина и правда находятся у него, что у него, ныне явленного пророка, имеется готовая, окончательная истина в последней инстанции, вечная мораль, вечная справедливость. Все это повторялось уже так часто, что остается лишь удивляться, как могут еще находиться настолько легкомысленные люди, чтобы верить этому, когда речь идет не только о других, но о них самих. И однако перед нами, повидимому, еще один такой пророк, который, как и полагается, приходит в высоко моральное негодование, когда находятся люди, отрицающие возможность того, чтобы отдельная личность способна была обладать окончательной истиной в последней инстанции. Такое отрицание — даже простое сомнение — есть признак слабости, обнаруживает дикий сумбур, ничтожество, разъедающий скепсис; оно хуже голого нигилизма, дикого хаоса и т. д. и т. д. в стиле подобных же любезностей. Наш пророк, как и все ему подобные, вместо того чтобы заниматься критически-научным исследованием, предпочитает просто выступать в роли громовержца, мечущего без всяких околичностей громы морального негодования.

Мы могли бы упомянуть еще о науках, изучающих законы человеческого мышления, т. е. логике и диалектике. Но и здесь с вечными истинами дело обстоит не лучше. Собственно диалектику господин Дюринг объявляет чистой бессмыслицей, а многочисленные книги, которые написаны и еще будут написаны о логике, с избытком доказывают, что окончательные истины в последней инстанции и здесь рассыпаны далеко не в таком изобилии, как это думают иные.

Впрочем, нам нечего совсем приходить в ужас от того, что современная нам стадия познания столь же мало окончательна, как и все предыдущие. Она охватывает уже огромную массу фактов и требует очень большой специализации от всякого, кто хочет освоиться с какой бы то ни было областью ее. Но тот, кто прилагает масштаб под-линной, неизменной, окончательной истины в последней инстанции к познаниям, которые по природе вещей или должны будут в течение многих поколений оставаться относительными, лишь постепенно достигая завершения, или которые — подобно космогонии, геологии, истории человечества — навсегда останутся незаконченными и неполными, в виду недостаточности исторического материала,—тот доказывает этим лишь свое собственное невежество и непонимание, если даже истинной подкладкой их не служит, как в данном слу-чае, притязание на собственную непогрешимость. Истина и заблуждение, как и все движущиеся в полярных противоположностях логические категории, имеют абсолютное значение только в крайне ограниченной области. Об этом мы уже говорили выше, и это мог бы знать и господин Дюринг при малейшем знакомстве с первыми начатками диалектики, трактующими как раз о недостаточности всех полярных противоположностей. Достаточно начать применять противоположность истины и заблуждения вне вышеуказанной узкой области, как она становится относительной и, следовательно, непригодной для строгого научного употребления; если же, тем не менее, мы попытаемся считать ее абсолютно верной вне этой области, то мы потерпим полное крушение: оба полюса противоположности переходят друг в друга, истина становится заблуждением, заблуждение — истиной. Возьмем в качестве примера известный закон Бойля, согласно которому объем газов при постоянной температуре обратно пропорционален давлению. Реньо нашел, что этот закон не приложим в известных случаях. Будь он философом действительности, он должен был бы сказать: закон Бойля изменчив, следовательно, он вовсе не подлинная истина, следовательно, он заблуждение. Но в этом случае он сделал бы гораздо большую ошибку, чем та, которая содержится в законе Бойля; его крупица истины затерялась бы в куче заблуждения; свой первоначально правильный результат он превратил бы в заблуждение, по сравнению с которым закон Бойля, о присущей ему частицей заблуждения, являлся бы истиной. Но Реньо, как

настоящий человек науки, не позволил себе подобного ребячества; он продолжал работать дальше и нашел, что закон Бойля вообще верен лишь приблизительно и что, в частности, он теряет свою силу у газов, которые превращаются под давлением в капельножидкое состояние, и теряет именно тогда, когда давление приближается к пункту, где наступает ожижение. Таким образом оказалось, что закон Бойля правилен только в известных границах. Но абсолютно ли, окончательно ли истинен он в этих границах? Ни один физик не решится утверждать этого. Он скажет, что закон Бойля имеет силу в известных границах давления и температуры и для известных газов. И он не станет отрицать возможности того, что в рамках этих узких границ придется произвести еще новое ограничение или придется вообще изменить формулировку закона.1 Так, следовательно, обстоит дело с окончательными истинами в последней инстанции, например, в физике. Поэтому подлинно научные работы избегают обыкновенно таких догматически-моральных выражений, как «заблуждение» и «истина», которые зато встречаются всегда в произведениях вроде «Философии действительности», где пустая, никчемная болтовня желает выдавать себя за сувереннейший результат суверенного мышления.

Но, спросит, может быть, наивный читатель, где же господин Дюринг заявил, что содержанием его философии действительности является окончательная истина, и притом в последней инстанции? Где? Ну, хотя бы в дифирамбе своей системе (стр. 13), который мы цитировали частично во второй главе.Или вспомним приведенное выше положение, где он говорит, что моральные истины, раз они познаны в своих последних основаниях, притязают на такую же значимость, как и истины математики. И разве господин Дюринг не уверяет нас, что, исходя из своей действительно критической точки зрения, с помощью своего проникающего до самых корней анализа он добрался до этих последних оснований, до основных схем, что, следовательно, он придал моральным истинам характер окончательных истин в последней инстанции? Если же господин Дюринг не выдвигает этого притязания ни для себя, ни для своего времени, если он просто хочет сказать, что некогда, в туманном будущем, смогут быть установлены окончательные истины в последней инстанции, следовательно, если он хочет сказать, только более путаным образом, то, что говорят «разъедающий скепсис» и «дикий сумбур», то почему такой шум? Что же угодно их милости?

Если нам так мало повезло с истиной и заблуждением, то еще хуже обстоит дело с добром в злом. Эта противоположность развертывается в моральной, т. е. относящейся только к человеческой истории, области, а здесь окончательные истины в последней инстанции разбросаны совсем скупо. Представления о добре и зле резко менялись от народа к народу, от эпохи к эпохе, нередко даже противореча друг другу. Но, заметит кто-нибудь, добро все-таки — не зло, и зло — не добро; если смешивать добро и зло, то не будет никакой нравственности, и каждый сможет поступать тогда, как ему угодно. Таково, собственно, и мнение господина Дюринга, если откинуть только оракульскую манеру его изложения. Но вопрос не решается так просто. Если бы все обстояло так просто, то не было бы никаких споров о добре и зле, всякий знал бы, что такое добро и зло. А между тем что мы наблюдаем в наше время? Какую мораль проповедуют нам теперь? Мы здесь встречаем прежде всего феодально-христианскую нравственность, унаследованную от прежних религиозных времен; она, в свою очередь, распадается на католическую и протестантскую, которые опять-таки имеют ряд более мелких подразделений, начиная от иезуитски-католической и ортодоксально-протестантской и кончая бледно-просветительной моралью. Рядом с ними фигурирует современная буржуазная этика, а около нее далее пролетарская мораль будущего, так что в одних только передовых странах Европы прошлое, настоящее и будущее представлены тремя группами сосуществующих одновременно и друг подле друга моральных теорий. Какая из них истинная? Ни одна, в смысле абсолютной окончательности; но, несомненно, та мораль содержит в себе

наиболее многочисленные, обещающие ей долгое существование элементы, которая в наше время выражает точку зрения преобразования настоящего, которая выражает будущее, т. е. пролетарская мораль.

Но если три основных класса современного общества — феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат — имеют каждый свою особенную мораль, то отсюда можно вывести лишь то заключение, что люди, сознательно или бессознательно, черпают свои этические взгляды, в последнем счете, из практических условий своего классового положения, из экономических отношений производства и обмена.

Но в вышеуказанных трех моральных системах есть кое-что общее им всем; быть может, оно и представляет, по крайней мере, известную долю единой, неизменной морали? Эти моральные системы отражают три различные ступени одного и того же исторического процесса, у них, значит, общий исторический фон, и уж по одному этому у них неизбежно много общего. Мало того. Для одинаковых или приблизительно одинаковых ступеней экономического развития нравственные теории должны непременно более или менее совпадать. С того момента, как развилась частная собственность на движимость, у всех обществ, построенных на началах этой частной собственности, должна была быть общей нравственная заповедь — не укради. Но разве заповедь эта делается, благодаря этому, вечной моральной заповедью? Нисколько. Как бы высмеяли в обществе, где устранены все поводы к краже, где красть могли бы разве только душевнобольные, как высмеяли бы там морального проповедника, который решился бы торжественно возвестить вечную истину: не укради!

Мы поэтому отвергаем всякую попытку навязать нам какую-нибудь моральную догматику в виде вечного, окончательного, отныне неизменного нравственного закона под тем предлогом, что и нравственный мир имеет свои непреходящие принципы, стоящие выше истории и национальных различий. Мы, наоборот, утверждаем, что все существовавшие до сих пор системы морали являлись продуктом, в последнем счете, соответствующего экономического положения общества. А так как общество до сих пор развивалось в классовых противоречиях, то и мораль была всегда классовой моралью; она или оправдывала господство и интересы господствующего класса или же отражала возмущение угнетенного, но достаточно окрепшего уже класса против этого господства и защищала будущие интересы угнетенных. Нельзя, конечно, сомневаться в том, что и в морали, как и во всех других отраслях человеческого сознания, наблюдается, в общем, прогресс. Но мы еще не преодолели классовой морали. Подлинно-человеческая мораль, возвышающаяся над классовыми противоречиями и над воспоминаниями о них, будет возможна лишь на такой стадии общественного развития, когда не только будет преодолена противоположность классов, но изгладится и след ее в практической жизни. А теперь пусть оценят самомнение господина Дюринга, который, стоя по пояс в старом классовом обществе, предъявляет притязания, накануне социальной революции, навязать будущему, свободному от классов, обществу вечную, не зависящую от времени и реальных изменений мораль! Пусть при этом предположат даже, — о чем мы пока еще ничего не знаем, — что он понимает, по крайней мере в основных чертах, структуру этого будущего общества.

Под конец еще одно «до основания своеобразное», но от этого не менее «проникающее до самых корней» открытие по вопросу о происхождении зла: «тот факт, что тип кошки, с присущей ему фальшивостью, имеется в животном виде, стоит на одном уровне с тем обстоятельством, что подобного рода характер существует и в человеке... Поэтому зло не есть нечто таинственное, если только кому-нибудь не взбредет в голову находить какую-то мистику и в существовании кошки или вообще хищных животных». Зло, это — кошка.

Следовательно, у дьявола нет вовсе рогов и лошадиного копыта, но у него когти и зеленые глаза. И Гёте совершил непростительную ошибку, когда вывел Мефистофеля в виде черной собаки, вместо вышеупомянутой кошки. Зло это—кошка! Такова мораль не только для всех миров, но также—для кошки!

X. НРАВСТВЕННОСТЬ И ПРАВО. РАВЕНСТВО.

Мы уже имели не один случай познакомиться с методом господина Дюринга. Он состоит в том, чтобы разлагать каждую группу объектов познания на их якобы простейшие элементы, применить к этим элементам столь же простые, якобы самоочевидные, аксиомы и затем оперировать полученными таким образом результатами. Поэтому и вопросы из области общественной жизни «надо решать аксиоматически на отдельных, простых основных формах так, как если бы дело шло о простых... основных формах математики». Таким образом, применение математического метода к истории, морали и праву должно привести и здесь к математической достоверности насчет истинности полученных результатов, должно придать им характер подлинных неизменных истин.

Это только новая форма излюбленного старого, идеологиче-ского — называемого иначе еще априорным — метода, согласно которому свойства какого-нибудь предмета познаются не из самого предмета, но дедуцируются из понятия предмета. Сперва из предмета составляют себе понятие предмета; затем ставят отношение вверх ногами и измеряют предмет по его отображению — по понятию. Не понятие должно сообразоваться с предметом, а предмет должен со-образоваться с понятием. У господина Дюринга роль понятия играют простейшие элементы, последние абстракции, до которых он может добраться, но это нисколько не меняет существа дела, ибо эти простейшие элементы, в лучшем случае, чисто логической природы. Следовательно, философия действительности выступает и здесь как чистая идеология, как выведение действительности не из нее самой, но из представления.

Что происходит, когда подобный идеолог конструирует мораль и право не из действительных общественных отношений окружающих его людей, а из понятия или так называемых простейших элементов «общества»? Что служит ему материалом для этой постройки? Очевидно двоякого рода вещи: во-первых, жалкие остатки реаль-ного содержания, которые, может быть, еще уцелели в этих положенных в основу абстракциях, а во-вторых, то содержание, которое наш идеолог извлекает из своего собственного сознания. А что же он находит в своем сознании? Большею частью, моральные и правовые воззрения, являющиеся более или менее удачным выражением — в положительном или отрицательном смысле, в смысле поддержки или в смысле борьбы,— социальных и политических отношений, среди которых он живет; далее, может быть, представления, заимствованные из соответствующей литературы; и, наконец, вероятно, еще личные причуды. Наш идеолог может изворачиваться, как ему угодно, но историческая реальность, прогнанная в дверь, влетает обратно через окно. И в то время как он воображает, что составляет нравственное и правовое учение для всех миров и времен, он в действительности вырабатывает оторванное от реальной почвы, искаженное, как бы поставленное на голову, словно в вогнутом зеркале, отражение консервативных или революционных течений своего времени.

Итак, господин Дюринг разлагает общество на его простейшие элементы и находит при этом, что простейшее общество состоит по меньшей мере из двух человек. И вот он начинает аксиоматически оперировать над этими двумя индивидуумами. Тут непринужденно получается следующая моральная основная аксиома: «две человеческие воли, как таковые, вполне равны друг другу, и ни одна из них не может предъявлять

другой никаких положительных требований». Этим «характеризуется основная форма моральной справедливости» и точно так же юридической справедливости, ибо «для развития принципиальных понятий права мы нуждаемся лишь в совершенно простом и элементарном отношении двух человек».

Утверждение, будто два человека или две человеческие воли, как таковые, вполне равны друг другу, это не только не аксиома, но представляет даже сильное преувеличение. Во-первых, два человека могут, даже как таковые, быть не равны по полу, и этот простой факт приводит нас тотчас же к выводу, что простейшими элементами общества — если на минутку мы примем всерьез все эти ребяческие построения— являются не двое мужчин, но мужчина и женщина, образующие семью, эту простейшую и первичную форму обобществления в целях производства. Но это совсем не годится для господина Дюринга. Ведь, во-первых, оба основателя общества должны быть сделаны по возможности равными, а во-вторых, даже господин Дюринг не сумел бы сконструировать из первобытной семьи моральное и правовое равенство мужчины и женщины. Следовательно, одно из двух: либо дюрингова общественная молекула, из умножения которой должно образоваться все общество, заранее обречена на гибель, ибо предоставленные самим себе оба мужчины никогда не создадут ребенка, либо же мы должны их представлять себе как двух глав семейств. В этом последнем случае вся простая основная схема превращается в свою противоположность: вместо равенства людей, она доказывает, в лучшем случае, равенство глав семейств, а так как женщин при этом игнорируют, то и подчиненность женщин.

Мы должны здесь сообщить читателю неприятное известие, что отныне он на довольно долгое время не избавится от этих двух замечательных индивидуумов. В области общественных отношений, они играют ту же роль, какую играли до сих пор обитатели других мировых тел, от которых мы теперь, надо надеяться, навсегда избавились. Лишь только возникает какой-нибудь вопрос из области политической экономии, политики и т. д., как моментально появляются на сцену оба субъекта и в мгновение ока, «аксиоматически», расправляются с проблемой. Разумеется, это — замечательное, творческое, системосозидающее открытие нашего философа действительности. Но, к несчастью, любовь к истине заставляет нас сказать, что не он открыл эту пару людей: они известны всему XVIII веку. Они встречаются уже в «Рассуждении о неравенстве» Руссо от 1754 г., где, мимоходом сказать, они аксиоматически доказывают противоположное тому, что утверждает господин Дюринг. Они играют главную роль у экономистов от Адама Смита до Рикардо; но здесь, по-крайней мере, они не равны в том отношении, что каждый из них занимается своим особым делом,— чаще всего это охотник и рыбак,— и обмениваются своими продуктами. Кроме того, в течение всего XVIII века они спужат, главным образом, в целях иллюстрации, и вся оригинальность господина Дюринга заключается лишь, в том, что он поднял этот иллюстративный метод на высоту основного метода всех общественных наук, превратив его в критерий для всех исторических формаций. Конечно, вряд ли можно легче составить, себе «строго-научное воззрение на вещи и людей».

Но для основной аксиомы о двух субъектах, воли которых вполне равны друг другу и из которых ни один не может ничего приказывать другому, годятся не любые два субъекта. Для этого должны быть два человека, которые так очищены от всего реального, от всех существующих на земле национальных, экономических, политических, религиозных условий, от всех половых и личных особенностей, что от них обоих ничего не остается, кроме простого понятия «человек», а тогда, конечно, они «вполне равны». Словом, это два совершеннейших духа, вызванных тем самым господином Дюрингом, который повсюду чует и разоблачает «спиритические» наклонности. Разумеется, оба духа должны

исполнять все, чего захочет от них их заклинатель, но именно поэтому все их штуки в высочайшей степени безразличны для остального мира.

Но присмотримся несколько внимательнее к аксиоматике господина Дюринга. Обе воли не могут предъявлять друг другу ни-каких положительных требований. Если же одна из них сделает это, проведя свои требования силой, то возникает состояние несправедливости, и на этой основной схеме господин Дюринг разъясняет несправедливость, насилие, порабощение, словом, всю прошлую, достойную осуждения, историю. Но уже Руссо в приведенном выше произведении доказал, тоже аксиоматически и как раз с помощью этих обоих индивидуумов, противоположное; он доказал именно, что из двух лиц А и В первый не может поработить В силой, а лишь, тем, что он поставит В в такое положение, в котором тот не может обойтись без А; для господина Дюринга это, конечно, слишком материалистическое понимание людских отношений. Поэтому взглянем на дело с иной стороны. Два потерпевших кораблекрушение человека, очутившись одни на острове, организуют общество. Формально их воли вполне равны, и оба они признают это. Но материально между ними существует большое неравенство. А — решителен и энергичен, В — нерешителен, ленив, вял; А — умен, В — глуп. Пройдет некоторое время, и А навяжет свою волю В, сперва убеждением, затем по привычке, но всегда в форме добровольного соглашения. Соблюдается ли форма добровольного соглашения или нарушается, но рабство остается рабством. Добровольное вступление в крепостное состояние проходит через всю историю средневековья, в Германии оно наблюдается еще после Тридцатилетней войны. Когда в Пруссии после поражения 1806 и 1807 годов была отменена крепостная зависимость, а с ней и обязанность господ заботиться о своих рабах в случае нужды, болезни и старости, то крестьяне посылали к королю петиции с просьбой оставить их в крепостном состоянии,— ведь иначе кто же позаботится о них в беде. Следовательно, из схемы двух людей можно с таким же успехом выводить неравенство и рабство, как и равенство и взаимную помощь; а так как мы, под угрозой гибели общества, должны видеть в них глав семейств, то в схему эту включено уже и наследственное рабство.

Но оставим все это на минуту. Допустим, что аксиоматика господина Дюринга нас совершенно убедила и мы заразились мечтами о полном равноправии обеих воль, об общечеловеческой суверенности,— о «суверенности индивида»,— словом, заразились всей той пышной фразеологией, по сравнению с которой штирнеровский «Единственный» с его собственностью оказывается жалким щенком, хотя тут есть и его капля меду. Итак, мы теперь все вполне равны и независимы. Все? Нет, вовсе не все. Существуют и «дозволительные зависимости», но они объясняются «основаниями, которых следует искать не в деятельности обеих воль как таковых, а в третьей области, например по отношению к детям, — в недостаточности их самоопределения».

Вот как! Причин зависимости не следует искать в деятельности обеих воль как таковых. Разумеется, нет, ибо ведь одной воле мешают проявлять свою деятельность. Но их следует искать в третьей области! А что это за третья область? Конкретная определенность одной угнетенной воли как недостаточной. Наш философ действительности так далеко ушел от действительности, что, по сравнению с абстрактным и бессодержательным выражением «воля», действительное содержание, специфическая определенность этой воли представляются ему уже «третьей областью». Но как бы там ни было, мы должны констатировать, что равноправие воли допускает исключения, оно не годится для воли, которая поражена недостаточностью самоопределения. Отступление № 1.

Далее. «Там, где зверь и человек соединены в одной личности, там можно от имени второй, вполне человеческой, личности задать вопрос, должен ли быть ее образ действий

тем же самым, как если бы друг другу противостояли, так сказать, только человеческие личности... Поэтому наша предпосылка о двух морально неравных личностях, из которых одной присущ, в некотором смысле, животный характер, является типической основной формой для всех отношений, которые в соответствии с этим различием могут встречаться в человеческих группах и между ними». А теперь, после этих запутанных увертокъ, пусть читатель сам перечтет следующее за ними жалобное рассуждение, в котором господин Дюринг, изворачиваясь на иезуитский манер, старается казуистически установить, до каких пределов может выступать человечный человек против животного человека, в каких размерах он может пользоваться по отношению к нему недоверием, военной хитростью, суровыми, даже террористическими, а также обманными средствами, не нарушая нисколько неизменной морали.

Следовательно, и в том случае, когда две личности «морально неравны», равенство перестает существовать. Но в таком случае не стоило вытаскивать на свет божий обоих этих вполне равных людей, ибо не существует двух лиц, которые были бы морально вполне равны. Но, говорят нам, неравенство заключается в том, что одна из них — человеческая личность, а в другой сидит зверь. Однако, так как человек произошел из царства животных, то ясно, что человек никогда не избавится совсем от звериных элементов; вопрос может всегда итти лишь о количественных различиях в степени животности или человечности. Разделение людей на две резко отличные группы, на человеческих людей и людей-зверей, на добрых и злых, на агнцев и козлищ, знает, кроме философии действительности, одно лишь христианство, которое вполне последовательно имеет и своего, верховного судью, отделяющего одних от других. Кто же является, однако, верховным судьей в философии действительности? Очевидно здесь произойдет то же, что и в практике христианства, где благочестивые овечки сами взяли на себя — и, как известно, с успехом — роль верховного судьи по отношению к своим ближним, этим мирским козлищам. Если когда-нибудь секта философов действительности станет силой, то в этом отношении она наверно нисколько не уступит тишайшим «боголюбцам». Но это пока не важно. Для нас важнее другое, именно признание, что ввиду морального неравенства людей из равенства опять-таки ничего не выходит. Отступление № 2.

Но пойдем дальше. «Если бы один поступал согласно истине и науке, а другой согласно какому-нибудь суеверию или предрассудку, то... в результате должны были бы получиться взаимные трения... При известной степени неспособности, грубости или дурного характера во всех случаях должны происходить столкновения... Насилие является крайней мерой не только по отношению к детям и сумасшедшим. Существуют целые естественные группы и культурные классы людей со столь извращенной враждебной волей, что является необходимым подчинить ее в смысле приведения ее к общим нормам. Чужая воля рассматривается еще и здесь как равноправная; но ввиду ее извращенности, ввиду ее тлетворной и враждебной деятельности, она вызывает необходимость выравнивания, и если она терпит насилие, то она пожинает только плоды своей собственной несправедливости».

Следовательно, достаточно не только морального, но и духовного неравенства, чтобы покончить с полным равенством обеих воль и установить мораль, на основании которой можно оправдать все позорные деяния цивилизованных разбойничьих государств по отношению к отсталым народам, вплоть до злодейств русских в Туркестане. Когда летом 1873 года генерал Кауфман напал на татарское племя иомудов, приказал сжечь их палатки, а жен и детей их зарубить, согласно «кавказскому обычаю», как гласил приказ, то он тоже утверждал, что является необходимым подчинить извращенную, враждебную волю иомудов в смысле приведения ее к общим нормам и что употребленные им средства наиболее целесообразны, а кто хочет цели, должен хотеть и средств. Но только он не был

настолько жестоким, чтобы сверх того еще издеваться над иомудами и говорить, будто тем, что он истребляет их для выравнивания, он признает как раз равноправие их воли. И опять-таки, избранные, те, кто действует якобы согласно истине и науке, словом, в последнем счете философы действительности, будут судьями в этом конфликте и будут решать, что такое суеверие, предрассудок, грубость, дурной характер и когда необходимо прибегать к насилию и подчинению в целях «выравнивания». Следовательно, равенство теперь свелось к выравниванию путем насилия, а вторая воля признается равноправной со стороны первой путем подчинения. Отступление № 3, переходящее здесь уже в позорное бегство.

Мимоходом заметим по поводу слов о чужой воле, что она признается равноправной в процессе выравнивания путем насилия, что фраза эта представляет только искажение гегелевской теории, согласно которой наказание есть право преступника: «В том, что наказание рассматривается как собственное право преступника, воздается должное преступнику как разумному существу» («Философия права», § 100, примечание).

Здесь мы можем остановиться. Было бы лишне следовать еще дальше за господином Дюрингом и наблюдать за разрушением по частям его столь аксиоматически выставленного равенства, общечеловеческой суверенности и т. д., наблюдать за тем, как, построив общество с помощью своих двух индивидуумов, он, для объяснения происхождения государства, привлекает еще третьего человека, ибо — резюмируя дело вкратце — без этого третьего человека невозможно принимать решения большинством голосов, а без подобных решений, без господства большинства над меньшинством невозможно государство; и как он затем постепенно входит в более спокойный фарватер конструирования своего социалитарного государства будущего, где в одно прекрасное утро мы будем иметь честь отдать ему визит. Мы уже достаточно видели, что полное равенство обеих воль существует лишь до тех пор, пока эти воли ничего не хотят; что как только они перестают быть человеческими волями, как таковыми, и превращаются в действительные, индивидуальные воли, в воли двух действительных людей, то перестает существовать и равенство; что детство, сумасшествие, так называемая животность, мнимое суеверие, приписываемые предрассудки, предполагаемая неспособность — на одной стороне, и воображаемая человечность, понимание истины и науки — на другой стороне; что, следовательно, всякое различие в качестве обеих воль и в качестве сопутствующих им интеллектов служит оправданием для неравенства, которое может доходить до подчинения себе другой воли; чего остается нам еще желать после того, как господин Дюринг разрушил столь «основательным» образом свое собственное здание равенства?

Но если мы покончили с дюринговым плоским и бездарным анализом идеи равенства, то это не значит, что мы покончили с этой самой идеей, которая у Руссо играла теоретическую роль во время Великой революции и после нее практически-политическую и которая еще в наше время играет в социалистическом движении почти всех стран огромную агитационную роль. Выяснение научного содержания этого понятия определит и его значение для пролетарской агитации.

Представление о том, что все люди, как люди, имеют нечто общее и что они, насколько простирается это общее, также равны, само собой разумеется,— очень древнего происхождения. Но современное требование равенства резко отличается от него; это требование заключается скорее в том, что из указанного общего свойства человечности, из указанного равенства людей, как людей, делается вывод о равной политической или социальной ценности всех людей или, по крайней мере, всех граждан какого-нибудь государства или всех членов какого-нибудь общества. Должны были пройти — и

действительно прошли—тысячелетия, прежде чем из этого первоначального представления об относительном равенстве мог быть сделан вывод о равноправии в обществе и государстве, который затем начал даже казаться чем-то естественным, само собой разумеющимся. В древнейших первобытных общинах о равноправии можно было говорить разве только по отношению к членам общины; само собой понятно, что женщины, рабы, чужестранцы не пользовались им. У греков и римлян неравенства людей играли гораздо большую роль, чем какое бы то ни было равенство. Древним показалась бы безумием мысль о том, что греки и варвары, свободные и рабы, граждане и клиенты, римские граждане и римские подданные (употребляя последнее слово в широком смысле) могут претендовать на одинаковое политическое значение. Во время Римской империи все эти различия постепенно исчезли, за исключением различия между свободными и рабами; вместе с этим возникло, по крайней мере для свободных, то равенство частных лиц, на основе которого развилось римское право, наиболее совершенная, насколько мы знаем, форма права, покоящегося на частной собственности. Но пока существовала противоположность между свободными и рабами, не могло быть и речи о правовых выводах из общечеловеческого равенства; мы это видели еще недавно на примере рабовладельческих штатов Северо-американского союза.

Христианство знало только одно равенство всех людей, равенство-первородного греха, вполне соответствовавшее его характеру религии рабов и угнетенных. На-ряду с этим оно знало еще, может быть, равенство избранных, которое, однако, выдвигалось только в самом начальном периоде христианства. Следы общности имущества, встречающиеся тоже на первых шагах новой религии, являются скорее результатом необходимости для гонимых жить сплоченной жизнью, чем признаком высоких представлений о равенстве. Но вскоре установление противоположности между клиром и мирянами уничтожило и этот зачаток христианского равенства. Наводнение германцами Западной Европы изгладило на ряд столетий все представления о равенстве, создав постепенно столь сложную социальную и политическую иерархию, какой еще до тех пор не существовало; но оно же привело в историческое движение Западную и Центральную Европу и способствовало тому, что здесь впервые образовалась компактная культурная область из целой системы преимущественно национальных государств, взаимодействующих между собой и уравновешивающих друг друга. Таким путем была подготовлена почва, на которой только и могла в позднейшее время возникнуть речь о человеческом равенстве и человеческих правах.

Кроме того, в недрах феодального средневековья развился класс, который, при своем дальнейшем развитии, должен был стать носителем современного требования равенства — именно буржуазия. Буржуазия, бывшая первоначально сама феодальным сословием, довела преимущественно ремесленную промышленность и обмен продуктов феодального общества до сравнительно высокой ступени развития, пока в конце XV столетия великие заокеанские открытия не открыли перед ней нового, более обширного поприща. Внеевропейская торговля, происходившая до того только между Италией и Левантом, распространилась теперь на Америку и Индию и скоро превысила по своему значению как товарообмен между отдельными европейскими государствами, так и внутреннюю торговлю каждой-отдельной страны. Американское золото и серебро наводнили Европу, проникнув, как разъедающий элемент, во все отверстия, щели и поры феодального общества. Ремесленное производство не могло уже удовлетворить возросшего спроса; в руководящих отраслях промышленности наиболее передовых стран оно было заменено мануфактурой.

Но за этим колоссальным переворотом в экономических условиях жизни общества не последовало немедленно соответственное изменение его политической структуры.

Государственный строй оставался попрежнему феодальным, в то время как общество становилось все более и более буржуазным. Торговля в крупном масштабе, в частности международная, а тем более мировая торговля, предполагает свободных, не стесненных в своих движениях товаровладельцев, которые, как таковые, равноправны и производят обмен на основе одинакового для всех них — по крайней мере, в каждом отдельном месте — права. Переход от ремесла к мануфактуре имеет своей предпосылкой наличность известного количества свободных рабочих — свободных, с одной стороны, от цеховых пут, а с другой — от орудий труда, к которым они могли бы приложить свою рабочую-силу, — рабочих, которые могут заключать с фабрикантами договор насчет найма своей рабочей силы и которые, следовательно, равноправны с ним как контрагенты. Равенство и равное значение всех человеческих работ — поскольку они являются вообще человеческой работой — нашло наконец свое бессознательное, но и наиболее яркое выражение в законе стоимости современной буржуазной экономии, согласно которому стоимость товара измеряется содержащимся в нем общественно-необходимым трудом 1. Но там, где экономические отношения требовали свободы и равновправия, политический строй противопоставлял им на каждом шагу цеховые путы и различные частные привилегии. Местные привилегии, диференциальные пошлины, исключительные законы всякого рода ложились бременем на торговлю не только иностранцев или жителей колоний, но довольно часто и целых категорий собственных подданных государств; цеховые привилегии стояли повсюду поперек дороги развитию мануфактуры. Нигде поприще не было свободно, нигде не было равенства шансов буржуазных конкурентов, а между тем это было первым и наиболее настоятельным условием развития промышленности.

Требование освобождения от феодальных пут и установления правового равенства путем устранения феодальных неравенств, поставленное экономическим прогрессивным обществом в порядок дня, должно было само собой принять вскоре более широкий характер. Если его выдвигали в интересах промышленности и торговли, то того же равноправия приходилось требовать для огромной массы крестьян, которые находились на всех ступенях холопской зависимости, вплоть до полного крепостного состояния, и которые отдавали безвозмездно значительнейшую часть своего рабочего времени своему благородному феодальному сеньеру, а кроме того, должны были платить бесчисленные налоги в пользу его и государства. С другой стороны, должно было возникнуть требование об уничтожении феодальных преимуществ, об отмене свободы дворянства от налогов и политических привилегий отдельных сословий. Но так как дело происходило уже не в мировой империи, какой была Римская, а в системе независимых государств, обращавшихся друг с другом как с равными, ввиду приблизительно одинаковой ступени буржуазного развития, то естественно, что требование равенства приняло всеобщий, выходящий за пределы отдельного государства характер и что свобода и равенство были объявлены правами человека. О специфически буржуазном характере этих прав человека свидетельствует то, что американская конституция — первая, признавшая права человека— одновременно с этим утвердила и существующее в Америке невольничество цветных рас: классовые привилегии были уничтожены, расовые привилегии — освящены.

Как известно, за буржуазией, вслед затем как она высвобождается из плена феодального общества, превращаясь из средневекового сословия в современный класс, начинает повсюду и неизбежно следовать ее тень, пролетариат. Параллельно с этим за буржуазными требованиями равенства начинают следовать пролетарские требования равенства. С того момента как было выдвинуто буржуазное требование уничтожения классовых преимуществ, появляется и пролетарское требование уничтожения самих классов,— сперва в религиозной форме, в связи с первоначальным христианством, а затем на основе самих буржуазных теорий равенства. Пролетарии ловят буржуазию на слове:

равенство не должно быть иллюзорным, оно должно быть проведено не только в политической области, но и реально, в общественной, экономической области. С тех пор как французская буржуазия в эпоху Великой революции выдвинула на первый план лозунг гражданского равенства, французский пролетариат, отвечая ей ударом на удар, выступил с требованием социального, экономического равенства, и равенство стало боевым кличем специально французского пролетариата.

Таким образом, требование равенства имеет в устах пролетариата двоякое значение. Или оно (как при самом зарождении его, например во время Крестьянской войны) — естественная, инстинктивная реакция против вопиющего социального неравенства, против контракта богатых и бедных,господ и рабов, обжор и голодных;как таковое оно только выражение революционного инстинкта, и в этом — но только в этом — его оправдание. Или же оно — продукт реакции против буржуазного требования равенства, из которого выводятся более или менее правильные, идущие дальше требования; служа тогда агитационным средством, чтоб, пользуясь аргументами капиталистов, поднимать рабочих против капиталистов, оно в этом случае существует одновременно с буржуазным равенством, с которым оно и гибнет. В обоих случаях реальное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепостям. Мы уже приводили примеры этого, мы увидим их еще не мало, когда доберемся до утопий господина Дюринг о будущем обществе.

Таким образом, идея равенства, и в своей буржуазной и в своей пролетарской форме, является сама историческим продуктом, для появления которого необходимы были определенные исторические условия, предполагающие, в свою очередь, долгую предшествующую историю. Следовательно, она есть что угодно, но только не вечная истина. И если в наше время она представляется широкой публике, в том или ином смысле, чем-то само собой разумеющимся, если она, как выражается Маркс, «приобрела уже прочность народного предрассудка», то объясняется это не действием ее аксиоматической истинности, а тем, что идеи XVIII века широко распространились и сохранили все свое значение для нашего времени. Следовательно, если господин Дюринг может, без дальнейших комментариев, дозволить своей пресловутой паре разгуливать на почве равенства, то это объясняется именно тем, что народному предрассудку это представляется совершенно естественным. И недаром господин Дюринг называет свою философию естественной: ведь она исходит из идей, которые кажутся ему совершенно естественными. Но почему они кажутся ему естественными, — этим вопросом он, конечно, не интересуется.

XI. НРАВСТВЕННОСТЬ И ПРАВО. СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ.

«Что касается политической и юридической области, то в основу выраженных в этом курсе принципов положено углубленнейшее специальное изучение предмета. Поэтому... следует исходить из того, что здесь... речь идет о последовательном изложении результатов области юриспруденции и государствоведения. Мои первоначальные специальные занятия вращались как раз в области юриспруденции, и я посвятил им не только обычных три года университетской теоретической подготовки: в течение трех дальнейших лет судебной практики я продолжал работать над этим предметом, напирая особенно на углубленное изучение его научного содержания... Критика вопросов частного права и соответствующих юридических несуразностей, разумеется, не могла бы производиться с подобной уверенностью, если бы я не был убежден в том, что знаком со всеми слабыми сторонами специальности так же хорошо, как и с сильными сторонами ее».

Человек, имеющий основание так говорить о самом себе, должен заранее внушать доверие, особенно, если сравнить его с «когда-то, по его собственному признанию, поверхностно изучавшим юридические науки господином Марксом». Поэтому нас не может не удивлять, что выступающая с подобной уверенностью критика частноправовых вопросов ограничивается лишь словами о том, что «в смысле научности юриспруденция... ушла недалеко...», что положительное гражданское право есть несправедливость, ибо оно санкционирует приобретенную насилием собственность, и что «естественной основой» уголовного права является месть,— утверждение, в котором, несомненно, ново только мистическое облачение «естественной основы», «Результаты» государствоведения сводятся к изучению взаимоотношений известных уже нам трех субъектов, из которых один все еще производит насилие над двумя другими, причем господин Дюринг исследует серьезнейшим образом, кто именно из этой троицы — второй или третий субъект — ввел впервые насилие и рабство.

Присмотримся, однако, внимательнее к «углубленнейшему изучению специальности» господином Дюрингом и к углубленной трехлетней судебной практикой научности нашего самоуверенного юриста.

О Лассале господин Дюринг рассказывает нам, что к нему было предъявлено обвинение «за возбуждение к покушению на похищение шкатулки», однако «судебного приговора не последовало, ибо было объявлено тогда еще возможное так называемое освобождение за недоказанностью обвинения... это полуоправдание».

Процесс Лассаля, о котором идет здесь речь, разбирался летом 1848 г. судом присяжных в Кельне, где действовало, как почти и во всей Рейнской провинции, французское уголовное право. Прусское земское право было введено, в виде исключения, только для политических преступников и преступлений, но уже в апреле 1848 г. Кампгаузен снова отменил эту исключительную меру. Французское право совсем не знает гнусной категории прусского права: «возбуждения» к преступлению, не говоря уже о возбуждении к покушению на преступление. Оно знает только подстрекательство к преступлению, которое, чтобы быть наказуемым, должно совершаться «путем подарков, обещаний, угроз, злоупотребления авторитетом или насилием, путем хитрых подговоров или наказуемых проделок» (Code penal, art. 60). Углубившись в прусское земское право, министерство внутренних дел проглядело, подобно господину Дюрингу, различие между строго определенным указанием французского законодательства и расплывчатой неопределенностью земского права, затеяло тенденциозный процесс против Лассаля и с треском провалилось. Ибо утверждать, будто французский уголовный процесс знает прусское освобождение за недоказанностью обвинения, это полуоправдание, может только невежда, человек, ничего не знающий в области современного французского права; оно в уголовном деле признает лишь осуждение или оправдание, но ничего промежуточного между ними.

Словом, мы можем сказать, что господин Дюринг не сумел бы с такой уверенностью применить к Лассалю свой метод «изложения истории в высоком стиле», если бы он когда-нибудь держал в руках Кодекс Наполеона. Следовательно, мы должны констатировать, что господину Дюрингу совершенно незнакомо единственное современно-буржуазное законодательство, стоящее на почве социальных завоеваний Великой французской революции и выражающее их в юридической области — именно современное французское право.

В другом случае, при критике введенного на всем материке суда присяжных, выносящего приговор, по французскому образцу, большинством голосов, мы узнаем следующее: «Да,

можно будет даже освоиться с той—исторически не имеющей себе примера — мыслью, что в современном обществе осуждение при разделении го-лосов должно быть вещью невозможной... Но эта серьезная и глубоко одухотворенная точка зрения должна была, как выше уже сказано, казаться неподходящей для существующих учреждений, ибо она для них слишком хороша».

Господину Дюрингу опять-таки неизвестно, что по английскому обычному праву, т. е. неписаному обычному праву, действующему с незапамятных времен,— по меньшей мере, с XIV века,— обязательно требуется единогласие присяжных не только при решении уголовных дел, но и для приговоров по гражданским делам. Серьезная и глубоко одухотворенная точка зрения, которая, согласно господину Дюрингу, слишком хороша для теперешнего общества, имела, оказывается, силу закона в Англии уже в глухое средневековье, а из Англии она перешла в Ирландию, в Северо-Американские Соединенные штаты и во все английские колонии; между тем господин Дюринг, со своим «углубленным изучением специальности», не говорит ни одного, хотя бы жалкого, словечка об этом. Однако круг стран, где на суде требуется единогласие присяжных, не только бесконечно велик по сравнению с крохотной областью, в которой царит прусское земское право, но он значительно обширнее, чем все вместе взятые государства, где приговоры произносятся присяжными по большинству голосов. Господин Дюринг не только совершенно не знает единственного современного права, французского права, но он обнаруживает такое же невежество и по отношению к единственному германскому праву, которое развивалось до нашего времени независимо от римского влияния и распространилось во всех частях света,—я имею в виду английское право. И неудивительно, что он его не знает. Ведь английский тип юридического мышления, говорит господин Дюринг, «не может выдержать сравнения с выросшим на немецкой почве воспитанием в чистых понятиях классических римских юристов». И дальше он прибавляет: «Что представляют собой говорящие по-английски народы с их детски исковерканной речью по сравнению с нашим естественным, самобытным языком?» На это мы можем ответить лишь вместе со Спинозой: ignorantia non est argumentum — невежество не есть довод.

Словом, мы не можем уйти от того заключения, что «углубленные» специальные занятия господина Дюринга сводились лишь к тому, что он углубился на три года теоретически в Corpus juris и в следующие три года практически—в благородное прусское земское право. Это, конечно, вполне похвально и достаточно для какого-нибудь почтенного старо-прусского окружного судьи или адвоката. Но если берешься сочинить философию права для всех времен и народов, то не мешает все-таки немного разбираться и в юридических отношениях таких народов, как французы, англичане, американцы, игравшие в истории совсем иную роль, чем тот клочок Германии, где процветает прусское земское право. Но пойдем дальше.

«Пестрая смесь местных, провинциальных и земских прав, перекрещивающихся самым прихотливым образом то как обычное право, то как писаный закон, причем нередко важнейшие вопросы облекаются в форму статутов,— эта коллекция образчиков путаницы и противоречий, в которой то частное заглушает общее, то, наоборот, общее затирает частное, разумеется, не такова, чтобы... сделать возможным у кого-нибудь ясное правовое сознание». Но где же царит это состояние путаницы? Опять-таки во владениях прусского земского права, где на-ряду с этим правом, над ним и под ним существуют провинциальные права, местные статуты, кое-где обычное право и прочая дребедень разной степени правовой силы, вызывая у юристов-практиков тот вопль о помощи, который так сочувственно повторяет здесь господин Дюринг. Ему не нужно покидать своей милой Пруссии, достаточно ему поехать только на Рейн, чтобы убедиться, что там

уже семьдесят лет как со всем этим покончено, не говоря уже о других цивилизованных странах, где давно уничтожены подобные устарелые порядки.

Далее: «В менее резкой форме естественная личная ответственность прикрывается тайными и анонимными коллективными суждениями и коллективными действиями коллегий или иных бюрократических учреждений, маскирующих личное участие каждого члена их». И в другом месте: «В теперешнем нашем состоянии должно показаться поразительным и крайне строгим требование, чтобы коллегиями не маскировалась индивидуальная ответственность». Может быть, для господина Дюринга будет поразительным открытием, если мы сообщим ему, что в английском праве каждый член судейской коллегии обязан индивидуально высказать и мотивировать в публичном заседании свое решение, что административные коллегии не выборного типа, не работающие и не голосующие публично,это —преимущественно прусское учреждение, не известное в других странах, и что поэтому его требование может казаться поразительным и крайне строгим только в Пруссии.

Точно так же все его жалобы на принудительное вмешательство церкви в случаях рождения, брака, смерти и погребения опять-таки касаются из всех великих цивилизованных стран только Пруссии, а со времени введения актов гражданского состояния не касаются даже и ее. То, для чего господин Дюринг приводит в действие свое будущее «социалитарное» общество, то успел уже за это время сделать Бисмарк путем простого закона. Точно так же и в «жалобе по поводу недостаточной подготовки юристов к своей профессии», жалобе, которую можно распространить и на «чиновников администрации», слышна чисто прусская иеремиада; и даже преувеличенное до карикатуры юдофобство, которое господин Дюринг обнаруживает при каждом случае, представляет если не специфически прусскую, то специфически ост-эльбскую особенность. Тот самый философ действительности, который глядит сверху вниз, с суверенным презрением на всякие суеверия и предрассудки, сам до такой степени находится под властью личных причуд, что называет народное предубеждение против евреев — это наследие средневекового ханжества — «естественным суждением», опирающимся на «естественные основания», и доходит до геркулесовых столбов абсурда, заявляя, будто «социализм есть единственная сила, которая может бороться с современным состоянием населения с сильной еврейской подмесью» («состояние с еврейской подмесью» — что за язык!).

Довольно! Хвастовство своей юридической ученостью имеет за собой — в лучшем случае — наиординарнейшие профессиональные знания ординарнейшего старо-прусского юриста. Область юриспруденции и государствоведения, «результаты» которой последовательно излагает нам господин Дюринг, «совпадает» с областью, где имеет силу прусское земское право. Кроме римского права, знакомого теперь даже в Англии каждому юристу, его юридические знания ограничиваются исключительно прусским земским правом, этим кодексом просвещенного патриархального деспотизма, который написан на таком немецком языке, точно по нему учился господин Дюринг немецкому языку, и который со своими моральными изречениями, своей юридической неопределенностью и бессодержательностью, своими варварскими мерами наказания — вроде палочных ударов — относится целиком еще к дореволюционной эпохе. Что сверх того, то для господина Дюринга от лукавого,— как современное буржуазное французское право, так и английское право с его совершенно самобытным развитием и его неизвестными на всем материке гарантиями личной свободы. Философия, которая «не оставляет никаких мнимых горизонтов, в своем мощно революционизирующем движении развертывает все небеса и земли внешней и внутренней природы», эта философия имеет своим действительным горизонтом границы шести старо-прусских восточных провинций и,

пожалуй, еше несколько других клочков земли, где царит благородное земское право; за пределами же этого горизонта она не раз-вертывает ни земель, ни небес, ни внешней, ни внутренней природы, а обнаруживает только грубейшее невежество относительно того, что происходит в остальном мире.

Нельзя толковать о праве и нравственности, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой. Философия действительности тоже дает ответ на этот вопрос, и даже не один, а целых два.

«На место всех ложных теорий свободы надо поставить эмпирическое свойство того отношения, согласно которому рациональное понимание, с одной стороны, и инстинктивные побуждения — с другой, как бы объединяются в одну среднюю силу. Основные факты этого вида динамики надо заимствовать из наблюдения и применить, в качественном и количественном отношении, к предвидению еще не последовавшего события, поскольку это удается. Благодаря этому не только радикально уничтожаются все дурацкие фантазии о внутренней свободе, которыми питались целые тысячелетия, но они сами заменяются также чем-то положительным, что пригодно для практического устроения жизни». Согласно этому, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека вправо, иррациональные побуждения—влево, и при этом параллелограмме сил действительное движение происходит в направлении диагонали. Следовательно, свобода является равнодействующей между пониманием и инстинктом, между разумом и неразумием, и степень ее у каждого отдельного человека можно установить согласно опыту с помощью «уравнения личности», пользуясь астрономическим выражением. Но через несколько страниц мы читаем: «Мы основываем моральную ответственность на понятии свободы, которая, однако, означает для нас только восприимчивость к сознательным мотивам, сообразно природному и приобретенному рассудку. Все подобные мотивы действуют, несмотря на восприятие возможного противоречия в поступках, с неизбежной, естественной закономерностью; но когда мы приводим в действие моральные рычаги, мы рассчитываем именно на это неустранимое принуждение».

Это второе определение свободы, резко противоречащее первому, представляет собою не что иное, как крайнее вульгаризирование гегелевской точки зрения. Гегель первый правильно понял отношение между свободой и необходимостью. Для него свобода, это — понимание необходимости. «Необходимость слепа лишь постольку, поскольку она не понята». Свобода заключается не в воображаемой независимости от законов природы, а в познании этих законов и в возможности поэтому планомерно пользоваться ими для определенных целей. Это верно как о законах внешней природы, так и о тех, которые регулируют физическую и духовную жизнь самого человека,— о двух классах законов, которые мы можем отделять друг от друга разве только в идее, но не в действительности. Поэтому свобода воли означает не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Следовательно, чем свободнее суждение какого-нибудь человека по отношению к известной проблеме, с тем большей необходимостью будет определено содержание этого суждения; а, наоборот, вытекающая из незнания неуверенность, которая выбирает якобы произвольно между многими различными и противоположными решениями, этим именно доказывает свою несвободу, свою подчиненность объекту действительности, который она должна была бы как раз подчинить себе. Следовательно, свобода состоит в господстве над самим собой и над внешней природой, основанном на познании естественной необходимости; значит, она является необходимым продуктом исторического развития. Первые, выделившиеся из животного царства, люди были во всем существенном так же несвободны, как сами животные; но каждый шаг вперед на пути культуры был шагом к свободе. На пороге человеческой истории стоит открытие превращения механического движения в теплоту: добывание огня трением; в конце этого

развития стоит открытие превращения теплоты в механическое движение: паровая машина. И несмотря на колоссальную освободительную революцию, совершаемую паровой машиной в общественной жизни, — которая еще не завершена и наполовину,— нет сомнения, что добывание огня трением превосходит ее по своему освобождающему человечество значению. Ведь оно впервые дало человеку господство над определенной силой природы и благодаря этому окончательно оторвало его от животного царства. Паровая машина никогда не вызовет столь мощного сдвига в развитии человечества, хотя она и кажется нам представительницей всех тех связанных с ней производительных сил, с помощью которых только и возможно создание нового общества, где не будет никаких классовых различий, никаких забот об индивидуальных средствах к существованию и где впервые сможет зайти речь о действительной человеческой свободе, о существовании в гармонии с познанными законами природы. Но как молода еще вся история человечества, как смешно было бы желать приписывать нашим теперешним воззрениям какое-нибудь абсолютное значение, видно из того простого факта, что всю протекшую историю можно рассматривать как историю периода времени от практического открытия превращения механического движения в теплоту до открытия превращения теплоты в механическое движение.

Господни Дюринг, конечно, иначе рассматривает историю. Во-обще, как история заблуждений, невежества и грубостей, насилия и порабощения, — она противный для философии действительности предмет; но, в частности, она делится на два больших отдела, именно: 1) от самому себе равного состояния материи до французской революции и 2) от французской революции до господина Дюринга; и при этом XIX век остается «по существу еще реакционным, и он даже в духовном отношении еще более реакционен, чем XVIII век», причем он, однако, носит в своем лоне социализм, а значит, и «зародыш переворота, более мощного, чем его могли придумать (!) предшественники и герои французской революции». Презрение философии действительности ко всей прошлой истории оправдывается следующим образом: «Те немногие тысячелетия, для которых имеется историческая ретроспекция благодаря написанным документам, вместе с созданным ими до сих пор строем человечества, имеют небольшое значение, если подумать о ряде грядущих тысячелетий... Человечество как целое еще очень юно, и если когда-нибудь научная ретроспекция будет оперировать десятками тысяч, а не тысячами лет, то духовная незрелость, младенческое состояние наших учреждений явится самоочевидной предпосылкой для оценки нашего времени, которое тогда будет рассматриваться как седая древность».

Не останавливаясь долго на «естественном, самобытном языке» последней тирады, мы заметим только следующее: во-первых, что эта «седая древность», при всех обстоятельствах, останется необычайно интересной эпохой для всех будущих поколений, ибо она является основой всего позднейшего прогресса, ибо она имеет исходным пунктом выделение человека из животного царства, а содержанием — преодоление таких трудностей, которые никогда не представятся будущему ассоциированному человечеству. Во-вторых, время завершения этой «седой древности», по сравнению с которой будущие эпохи, избавленные от этих трудностей, обещают небывалый научный, технический и общественный прогресс, совершенно странно выбирать подходящим моментом, чтобы предписывать грядущим тысячелетиям окончательные истины в последней инстанции, неизменные истины и «основательные» концепции, открытые на основе духовной незрелости и младенческого состояния нашего столь «отсталого» и «ретроградного» столетия. Нужно быть Рихардом Вагнером в фи-лософии— но без вагнеровского таланта, — чтобы не видеть, что все те презрительные замечания, которыми осыпают все прошлое историческое развитие, падают и на якобы последний результат его, на так называемую философию действительности.

Одним из замечательнейших образчиков новой «основательной» науки является отдел об индивидуализировании и повышении ценности жизни. Здесь на протяжении целых трех глав кипят и брызжут неудержимым фонтаном оракулоподобные тривиальности. К сожалению, мы должны ограничиться только несколькими коротенькими выдержками,

«Более глубокая сущность всякого ощущения, а, значит, и всех субъективных форм жизни, основывается на различии состояний... Но для полной (!) жизни можно без дальнейшего показать, что чувство жизни повышается и главные раздражения развиваются не благодаря постоянному покою, но благодаря переходу из одного жизненного состояния в другое... Приблизительно равное самому себе, так сказать, застывшее в косности и как бы в одном и том же положении равновесия состояние не представляет многого для испытания жизни, каково бы оно ни было... Привычка и, так сказать, вживание превращают его в нечто индиферентное и безразличное, не особенно отличающееся от смерти. В лучшем случае присоединяется еще, в виде отрицательного жизненного раздражения, скука... В застойной жизни у отдельных лиц и народов исчезает всякая страсть и всякий интерес к существованию. Но все эти явления объясняются нашим законом различия».

Невероятно, с какой быстротой господин Дюринг изготовляет свои «до основания своеобразные результаты». Не успел он перевести на язык философии действительности ту банальную истину, что продолжительное раздражение одного и того же нерва или продолжение одного и того же раздражения утомляет каждый нерв и каждую нервную систему, что, следовательно, в нормальном состоянии необходим перерыв и смена нервных раздражений (что всегда можно было прочесть в любом учебнике физиологии и что каждый филистер знает на основании своего собственного опыта), не успел он придать этой архистарой банальности таинственную форму истины, что более глубокая сущность всякого ощущения основывается на различии состояний, как она уже превратилась у него в «наш закон различия». И этим законом различия «вполне объясняется» целый ряд явлений, которые, в свою очередь, представляют лишь иллюстрации и примеры приятности изменения, сами не нуждаются ни в каком объяснении даже для ординарнейшего филистера и ни на иоту не становятся яснее от указаний на этот мнимый закон различия.

Но этим далеко еще не исчерпана «основательность» «нашего закона различия»: «Смена возрастов жизни и наступление связанных с ними перемен в условиях жизни дают очень наглядный пример для иллюстрации нашего принципа различия. Дитя, мальчик, юноша и муж испытывают силу своего чувства жизни не столько от фиксированных уже состояний, в которых они находятся, сколько от пе-реходов из одного состояния в другое». Но это не все: «наш закон разности может получить и еще более отдаленное применение, если принять во внимание тот факт, что повторение уже испытанного или сделанного не представляет никакой прелести». Читатель может сам себе придумать ту оракульскую чепуху, для которой служат исходными пунктами истины той же глубины и «основательности», что и приведенные выше; и господин Дюринг вправе, конечно, в конце своей книги торжествующе воскликнуть: «для оценки и повышения ценности жизни закон различия имел решающее значение и в теоретическом и в практическом отношении!» Равным образом и для оценки г. Дюрингом духовной ценности своих читателей: он должен думать, что они состоят сплошь из ослов или филистеров.

Дальше мы узнаем следующие в высшей степени практические правила жизни: «Средства поддерживать совокупный интерес к жизни (прекрасная задача для филистеров и для тех, кто собирается стать ими) состоят в том, чтобы дать отдельным, так сказать, элементарным интересам, из которых состоит целое, развиваться или сменять друг друга

через естественные промежутки времени. Можно точно так же использовать для того же самого скалу заменимости низших и легко удовлетворяемых раздражений высшими и более постоянными возбуждениями, чтобы избежать возникновения пустот, совершенно лишенных интереса. Кроме того, надо остерегаться, чтобы возни-кающие естественно или иначе в нормальном ходе общественной жизни напряжения не накоплялись произвольным образом, не форсировались или же — что представляет противоположную крайность— не удовлетворялись уже при малейшем возбуждении, что препятствовало бы им развиться до такой степени, при которой удовлетворение дает наслаждение. Сохранение естественного ритма является и здесь, как и в других случаях, предварительным условием гармонического и приятного движения. Не следует также ставить себе неразрешимой задачи протянуть создаваемые какой-нибудь ситуацией приятные раздражения сверх положенного им природой или обстоятельствами срока» и т. д. Простак, который примет себе для руководства при «испытании жизни» эти торжественно-филистерские и оракулоподобные речи углубившегося в пошлости педанта, конечно, не будет иметь случая жаловаться на «совершенно лишенные интереса пустоты». Он должен будет потратить все время на правильную подготовку и регулирование наслаждений, так что для пользования ими у него не останется ни одной свободной минуты.

Мы должны испытать жизнь, всю жизнь. Только две вещи господин Дюринг нам запрещает: во-первых, «нечистоплотное увлечение табаком», а во-вторых, напитки и пищевые продукты, которые обладают противными или вообще неприятными для более тонкого восприятия свойствами». Но так как господин Дюринг в своем «Курсе политической экономии» воспевает дифирамбы водочным заводам, то вряд ли он причисляет водку к таким напиткам; мы, следовательно, вынуждены умозаключить, что его запрет относится только к вину и пиву. Пусть он запретит также и употребление мяса, и тогда он подымет философию действительности на ту самую высоту, на какой некогда подвизался с таким успехом Густав Струве, — на высоту чистого ребячества.

Впрочем, в вопросе о спиртных напитках господин Дюринг мог бы быть несколько либеральнее. Человек, который, по собственному признанию, все еще тщетно ищет моста от статического к динамическому, имеет все основания быть снисходительным, если какой-нибудь горемыка заглянет слишком глубоко в свой стаканчик, а потом из-за этого тоже не сможет найти моста от динамического к статическому.

XII. ДИАЛЕКТИКА. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО.

«Первая и важнейшая теорема о логических основных свойствах бытия относится к исключению противоречия. Противоречивое, это—категория, которая возможна только в комбинации мыслей, но не в действительности. В вещах нет никаких противоречий, или, иными словами, принятое за реальность противоречие есть сама вершина бессмыслицы... Антагонизм сил, противоборствующих друг другу в противоположном направлении, есть даже основная форма всех действий в природе и в ее проявлениях. Но эта борьба направлений сил элементов н индивидов даже в отдаленнейшей мере не совпадает с идеей абсурдного противоречия... Здесь мы можем довольствоваться тем, что рассеяли туман, поднимающийся обыкновенно из мнимых таинств логики, с помощью ясного образа о действительной абсурдности реального противоречия и показали бесполезность фимиама, который местами воскуривали неуклюже изготовленному идолу диалектики противоречий, подсунутой вместо антагонистической мировой схематики». Это приблизительно все, что сказано в «Курсе философии» о диалектике. В «Критической истории» диалектика противоречий, а с нею и Гегель разделываются уже совершенно по-иному. «Противоречивое, по гегелевской логике или, вернее, учению о логосе, не существует просто в мышлении, которое, по самой его природе, можно представить себе

только субъективным и сознательным; оно находится объективно и, так сказать, телесно в самих вещах и процессах, так что бессмыслица не остается невозможной мысленной комбинацией, а становится фактической силой. Действительность абсурдного, это — первый член символа веры гегелевского единства логики и нелогики... Чем противоречивее, тем истиннее, или, иными словами, чем абсурднее, тем достовернее: это, даже не наново открытое, а просто заимствованное из откровений богословия и из мистики правило является голым выражением так называемого диалектического принципа».

Содержание обоих приведенных нами мест можно свести к положению, что противоречие есть бессмыслица и что поэтому оно не может встречаться в действительном мире. Для людей, обладающих здравым, вообще говоря, рассудком, это положение может казаться столь же само собой разумеющимся, как положение, что прямое не может быть кривым, а кривое прямым. Но диференциальное исчисление, несмотря на все протесты здравого человеческого рассудка, приравнивает при известных условиях прямое кривому и достигает благодаря этому успехов, которых никогда бы ие добился здравый человеческий рассудок, возмущающийся бессмыслицей отожествления прямого и кривого. А если судить по крупной роли, которую сыграла так называемая диалектика противоречий в философии, начиная с древнейших греков и до наших времен, то даже более сильный противник, чем господин Дюринг, обязан был бы выступить против нее с другими аргументами, не ограничиваясь голым утверждением, подкрепляемым только многочисленными ругательствами.

Пока мы рассматриваем вещи в состоянии покоя и безжизненности, каждую самое по себе, рядом друг с другом и друг после друга, мы, конечно, не наталкиваемся в них ни на какие противоречия. Мы находим здесь известные свойства, которые отчасти общи, отчасти различны пли даже противоречат друг другу, но в этом последнем случае они распределены между различными вещами, так что не содержат в себе никакого противоречия. Пока мы вращаемся в этой области, мы можем обходиться обыкновенным метафизическим образом мышления. Но совсем иное получается, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении, в их жизни, в их взаимном влиянии друг на друга. Тут мы тотчас же наталкиваемся на противоречия. Само движение есть противоречие; даже простое механическое перемещение может происходить лишь таким образом, что тело в один и тот же момент времени находится в одном месте и в то же время в другом месте, находится в одном и том же месте и не в нем. И постоянное полагание и вместе с тем разрешение этого противоречия и есть именно движение.

Здесь, следовательно, мы имеем такое противоречие, которое «в самих вещах и явлениях присутствует объективно и может быть, так сказать, телесно нащупано». А что говорит по этому поводу г. Дюринг? Он утверждает, что вообще до сих пор нет «в рациональной механике моста между строго статическим и динамическим». Теперь, наконец, читатель может заметить, что скрывается за этой любимой фразой г. Дюринга; не более как следующее: метафизически мыслящий разум абсолютно не может перейти от идеи покоя к идее движения, так как ему здесь преграждает путь вышеуказанное противоречие. Для него движение совершенно непостижимо, ибо оно есть противоречие. А утверждая непостижимость движения, он вынужден признать, что существует объективное противоречие в самих вещах и явлениях, которое к тому же является и фактической силой.

Если уже простое механическое движение в пространстве содержит в себе противоречие, то оно является еще в большей степени в высших формах движения материи, и особенно в органической жизни и ее развитии. Мы видели выше, что жизнь прежде всего состоит в

том, что данное существо в каждый данный момент представляется тем же и чем-то иным. Следовательно, жизнь точно так же есть существующее в самих вещах и явлениях, вечно создающееся и разрешающееся противоречие, и как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. Точно так же мы видели, что и в сфере мышления мы не можем обойтись без противоречий и что, например, противоречие между внутренне неограниченной человеческой способностью познания и ее действительным осуществлением в отдельных индивидуумах, крайне ограниченных извне и познающих только в ограниченной степени, разрешается в бесконечном (по крайней мере, практически для нас) ряде последовательных поколений, в бесконечном прогрессе.

Мы уже упоминали, что одним из главных оснований высшей математики является противоречие, заключающееся в тожестве, при известных условиях, прямой линии с кривой. Она также приводит к другому противоречию, которое состоит в том, что линии, которые пересекаются на наших глазах, тем не менее уже в 5—6 сантиметрах от точки своего пересечения должны считаться как бы параллельными, т. е. такими, которые не могут пересечься даже при бесконечном их продолжении. И, тем не менее, при посредстве этих и еще более сильных противоречий высшая математика достигает не только правильных, но и вовсе не доступных низшей математике результатов.

Но и низшая математика кишит противоречиями. Таким противоречием является, например, то, что корень из А может быть степенью А, а все-таки А ½= √А. Противоречие представляет и то, что отрицательная величина может быть квадратом какой-либо величины, ибо каждая отрицательная величина, помноженная на себя самое, дает положительный квадрат. Поэтому квадратный корень из минус единицы есть не просто противоречие, но даже прямо абсурдное противоречие, действительная бессмыслица. И все же √ — 1 является во многих случаях необходимым результатом правильных математических операций; более того,— что было бы с математикой, как низшей, так и высшей, если бы ей было запрещено оперировать

с √ -1?

Сама математика, занимаясь величинами переменными, вступает в диалектическую область, и характерно, что именно диалектический философ Декарт произвел в ней этот прогресс. Как математика переменных относится к математике постоянных величин, так и диалектическое мышление вообще относится к метафизическому. Это, однако, не мешает тому, что подавляющее большинство математиков признает диалектику только в области математики и что многие из них с помощью добытых диалектическим путем методов оперируют на старый, ограниченный, метафизический лад.

Более подробно разобрать антагонизм «сил» г. Дюринга и его «антагонистическую мировую схематику» совершенно невозможно, так как он не дает для этого никаких материалов, кроме простых фраз. После же того, как они были написаны, этот антагонизм не встречается нам ни разу ни в мировой схематике, ни в натурфилософии, и это лучше всего доказывает, что г. Дюринг не умеет предпринять абсолютно ничего положительного с своей «основной формой всякой деятельности в бытип мира и обитающих в нем существ». Оно и понятно; если гегелевское «учение о сущности» низведено до плоской мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не противоречиво, то, разумеется, лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места,

Не меньше анти-диалектического гнева расточает г. Дюринг и по поводу «Капитала» Маркса. «Недостаток в естественной и понятной логике, которым отличаются диалектически кудреватые хитросплетения и арабески мысли... уже по отношению к

появившемуся I тому «Капитала» надо применить тот принцип, что в известном отношении и даже вообще (!), согласно известному философскому предрассудку, можно в любой вещи отыскивать все и во всем — любую вещь и что, согласно этому путаному и превратному представлению, в конце концов все едино есть». Такое понимание известного философского предрассудка позволяет г. Дюрингу с уверенностью предсказать, чем «окончится» экономическое философствование Маркса, что, следовательно, составит содержание следующих томов «Капитала», причем все это говорится через семь строк после того, как он заявил, что, «впрочем, действительно невозможно догадаться, что собственно, говоря человеческим и немецким языком, может еще появиться в двух следующих томах».

Не первый уже раз, однако, сочинения г. Дюринга оказываются принадлежащими к таким «вещам», в которых «противоречие присутствует объективно и может быть, так сказать, нащупано». Это, однако, не мешает ему продолжать победоносно: «Но здравая логика наверное восторжествует над карикатурой на нее... Важничанье и диалектический таинственный хлам не соблазнят никого, в ком еще осталось хотя немного здравого суждения, погрузиться в этот хаос идей и стиля. Вместе с вымиранием последних следов диалектических глупостей, это средство дурачения потеряет свое обманчивое влияние, и никто не поверит более, что он должен мучиться, чтобы отыскать глубокую мудрость там, где ядро, очищенное от витиеватого облачения, обнаруживает в лучшем случае черты обыденных теорий, если не просто общих мест... Совершенно невозможно воспроизводить (марксовы) хитросплетения по шаблонам учения о логосе, без того чтобы не проституировать здравую логику». Метод Маркса состоит в том, чтобы «производить для своих верующих диалектические чудеса» и т. п.

Здесь нас еще не интересует вопрос о правильности или неправильности экономических результатов исследования Маркса, но только примененный им диалектический метод. Верно лишь одно: большинство читателей «Капитала» только теперь узнает от г. Дюринга, что, собственно, они читали. Но в числе их был и сам г. Дюринг, который в 1867 г. («Erganzungsblatter», III, Heft 3), отдавая отчет о прочитанном, еще был в состоянии передать относительно вразумительно, для мыслителя его калибра, содержание книги Маркса, не будучи вынужденным сначала перевести ее изложение на дюрингов язык, что теперь он объявляет необходимым. Если же тогда он дал маху, отожествляя диалектику Маркса с диалектикой Гегеля, то все же он тогда еще мог различать метод от добытых им результатов и понять, что последние вовсе не опровергаются в частности, если первый раскритикован в общей форме.

Самым удивительным в сообщениях г. Дюринга во всяком случае является то, что, с точки зрения Маркса, «в конце концов все едино есть», так что, пожалуй, по Марксу, например, капиталисты и наемные рабочие, феодальный, капиталистический и социалистический способы производства — «все едино есть», а в конце концов, и Маркс и г. Дюринг — это тоже «все едино». Чтобы объяснить возможность подобного вздора, остается допустить, что уже одно слово «диалектика» приводит г. Дюринга в состояние невменяемости, при котором, вследствие известного извращения и путаницы понятий, все то, что он говорит и делает, в конце концов, для него «все едино есть».

Здесь мы имеем перед собой образец того, что г. Дюринг называет «моим» изложением истории в высоком стиле или еще «суммарным приемом, который считается с родовым и типичным и не опускается до того, чтобы вдаваться в микрологические частности и упоминать тех, кого такой человек, как Юм, назвал ученою чернью; только этот прием возвышенного и благородного стиля совместим с интересами полной истины и обязанностями по отношению к свободной от цеховых уз публике». Действительно,

историческое изложение в высоком стиле и суммарный прием, считающийся с родовым и типичным, весьма удобны для г. Дюринга, так как он при этом может игнорировать, приравнивать к нулю все конкретные факты как микрологические и, вместо того чтобы доказывать, может только произносить общие фразы, утверждать и просто греметь. К тому же этот прием имеет еще то преимущество, что не дает противнику никаких фактических точек опоры для полемики, так что ему не остается никакого другого исхода, как точно так же утверждать в высоком стиле и суммарно разливаться общими фразами и, в конце концов, в свою очередь громить г. Дюринга, — словом, как говорится, итти на попятный, что не каждому придется по вкусу. Поэтому мы должны быть благодарны г. Дюрингу за то, что он, в виде исключения, покидает возвышенный и благородный стиль, чтобы дать нам, по крайней мере, два примера превратного учения Маркса о логосе.

«Разве не комична, например, ссылка на смутно-туманное представление Гегеля о том, что количество переходит в качество и что поэтому сумма денег, достигшая известных пределов, становится, благодаря одному этому количественному увеличению, капиталом?»

Конечно в таком «очищенном» г. Дюрингом изложении эта мысль довольно курьезна. Но посмотрим, что написано в оригинале у Маркса. На стр. 313 (2-е изд. «Капитала») Маркс выводит из предшествующего исследования о постоянном и переменном капитале и о прибавочной стоимости заключение, что «не всякая произвольная сумма денег или каких бы то ни было стоимостей может быть превращена в капитал, но что для такого превращения в руках отдельного владельца денег или товаров должен находиться известный минимум денег или каких-нибудь меновых стоимостей». Он, далее, говорит, что, если, например, в какой-либо отрасли труда рабочий в среднем работает 8 часов на самого себя, т.е. для воспроизведения стоимости своей заработной платы, а следующие четыре часа — на капиталиста, для производства притекающей в карман последнего прибавочной стоимости, то в этом случае хозяин, чтобы жить, при помощи при-своямой им прибавочной стоимости, —так, как существуют его рабочие,— уже должен располагать такой суммой стоимостей, которая была бы достаточна для снабжения двух рабочих сырым материалом, орудиями труда и заработной платой. А так как капиталистическое производство имеет своей целью не просто поддержание жизни, но увеличение богатства, то хозяин с двумя рабочими все еще не капиталист. Чтобы жить хотя бы вдвое лучше, чем обыкновенный рабочий, и иметь возможность превращать половину произведенной прибавочной стоимости в капитал, он уже должен быть в состоянии нанимать 8 рабочих, т.е. владеть суммой в 4 раза большей, чем в первом случае. И только после этих, и притом еще более подробных, рассуждений для освещения и обоснования того факта, что не каждая любая незначительная сумма стоимости достаточна для превращения ее в капитал и что в этом отношении каждый период развития и каждая отрасль промышленности имеет свою минимальную границу, — только после всего этого Маркс замечает: «здесь, как и в естествознании, подтверждается верность открытого Гегелем в его «Логике» закона, что чисто количественные изменения в известном пункте переходят в качественные различия».

А теперь можно насладиться более возвышенным и благородным стилем, которым пользуется г. Дюринг, приписывая Марксу противоположное тому, что он сказал в действительности. Маркс говорит: тот факт, что сумма стоимости может превратиться в капитал лишь тогда, когда достигнет известной, хотя и различной в зависимости от обстоятельств, но в каждом данном случае определенной минимальной величины.— этот факт является доказательством правильности гегелевского закона. Дюринг же навязывает Марксу следующее утверждение: так как, согласно закону Гегеля, количество переходит в

качество, то «поэтому известная сумма денег, достигнув определенной границы, становится... капиталом». Следовательно, как раз наоборот.

С обыкновением неверно цитировать, «в интересах полной истины» и «во имя обязанностей перед свободной от цеховых уз публикой», мы познакомились уже при разборе г. Дюрингом произведений Дарвина. Чем дальше, тем больше такой прием оказывается необходимо присущим философии действительности и во всяком случае представляет весьма «суммарный прием». Я не говорю уже о том, что г. Дюринг приписывает Марксу, будто бы он говорит о любой затрате, тогда как речь идет лишь о такой затрате, которая употреблена на сырой материал, орудия труда и заработную плату; таким путем г.Дюринг заставляет Маркса говорить чистую бессмыслицу. И он еще осмеливается находить комичной им же самим изготовленную нелепость. Как он сотворил фантастического Дарвина, чтобы на нем испробовать свою силу, так и в этом случае он состряпал фантастического Маркса. Воистину «изложение истории в высоком стиле».

Мы видели уже выше в мировой схематике, что с этой гегелевской узловой линией количественных отношений, по смыслу которой на известных пунктах количественного изменения внезапно наступает качественное превращение, г. Дюринга постигло маленькое несчастье, именно, что он в эту минуту слабости сам признал и применил ее. Мы, при этом случае, привели один из известнейших примеров,— пример изменяемости аггрегатных состояний воды, которая при нормальном атмосферном давлении и при температуре 0° по Цельзию переходит из жидкого состояния в твердое, а при 100° по Цельзию из жидкого в газообразное, так что, следовательно, на этих обоих поворотных пунктах простое количественное изменение температуры приводит к качественному изменению воды.

Мы могли бы привести как из природы, так и из жизни человеческого общества еще сотни подобных фактов для доказательства этого закона. Так, например, в «Капитале» Маркса, в четвертом отделе (Производство относительной прибавочной стоимости, кооперация, разделение труда и мануфактура, машины и крупная промышленность), упоминается множество случаев, в которых количественное изменение преобразует качество вещей и точно так же качественное преобразование изменяет количество их, так что, употребляя ненавистное для г. Дюринга выражение, «количество переходит в качество и наоборот». Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слияние многих отдельных сил в одну общую силу, создает, говоря словами Маркса, «новую силу», которая существенно отличается от суммы составляющих ее отдельных сил.

Ко всему этому Маркс, в этом месте, которое г. Дюринг в интересах истины вывернул наизнанку, прибавил еще следующее примечание: «Примененная в современной химии, впервые научно развитая Лораном и Жераром молекулярная теория основывается именно на этом законе». Но что значит это для г. Дюринга? Ведь он знает, что «в высокой степени современные образовательные элементы естественнонаучного метода мышления отсутствуют именно там, где, как у г. Маркса и его соперника Лассаля, полузнание и некоторое философствование составляют скудную научную амуницию». Напротив того, у Дюринга в основе лежат «главные завоевания точного знания в области механики, физики, химии» и т. д., а в каком виде, мы это уже видели. Но чтобы и третьи лица могли составить себе мнение об этом, мы намерены рассмотреть ближе пример, приведенный в названном примечании Маркса. Там идет речь о гомологических рядах углеродистых соединений, из которых уже очень многие известны и из которых каждое имеет свою собственную алгебраическую формулу состава. Если мы, как это принято в химии, обозначим атом углерода через С, атом водорода через Н, атом кислорода через О, а число

заключающихся в каждом соединении атомов углерода через n, то мы можем представить молекулярные формулы для некоторых из этих рядов в таком виде:

C_nH_{2n+2} ---- ряд нормальных парафинов.

$C_nH_{2n+2}O$ ----ряд первичных спиртов.

$C_nH_{2n}O_2$ ----ряд одноосновных жирных кислот.

Если мы возьмем в виде примера последний из этих рядов и примем последовательно n = 1, n = 2, n = 3 и т. д., то получим следующий результат (отбрасывая изомеры):

CH_2O_2 - муравьиная кисл. — точка кип.100°, точка плавл. 1°.

$C_2H_4O_2$ - уксусная кисл.— » » 118°, » » 17°.

$C_3H_6O_2$ - пропионовая кисл.— » » 140°, » » -----

$C_4H_8O_2$ —масляная кисл.— » » 162°, » » ------

$C_5H_{10}O_2$—валериановая кисл.— » » 175°, » » -----

и т. д. до $C_{30}H_{60}O_2$ — мелиссиновая кислота, которая расплавляется только при 80° и не имеет вовсе точки кипения, так как она вообще не может улетучиться, не разрушаясь.

Здесь мы видим, таким образом, целый ряд качественно различных тел, образованных простым количественным прибавлением элементов, притом всегда в одном и том же отношении. В наиболее чистом виде это явление выступает там, где все составные элементы изменяют свое количество в одинаковом отношении, как, например, в нормальных парафинах C_nH_{2n+2} ; самый низкий из них метан CH_4—газ; высший же из известных гексадекан $C_{16}H_{34}$—твердое тело, образующее бесцветные кристаллы, плавящиеся при 21° и кипящие только при 278°. В том и другом ряде каждый новый член образуется прибавлением CH_2, т. е. одного атома углерода и двух атомов водорода, к молекулярной формуле предыдущего члена, и это количественное изменение молекулярной формулы образует каждый раз качественно отличное тело.

Но эти ряды представляют только особенно наглядный пример: почти повсюду в химии, например на различных окисях азота, на различных кислотах фосфора или серы, мы можем видеть, как «количество переходит в качество», и этим мнимо запутанное «туманное представление Гегеля», так сказать, может быть нащупано в вещах и явлениях, причем, однако, никто не остается запутанным и туманным, кроме г. Дюринга. И если Маркс первый обратил внимание на это явление и если г. Дюринг прочел это, ничего не поняв (ибо иначе он, конечно, не позволил бы себе своей неслыханной дерзости), то этого достаточно, чтобы, и не заглядывая более в знаменитую дюрингову «Натурфилософию», выяснить, кому недостает «в высокой степени современных образовательных элементов естественнонаучного метода мышления» — Марксу или г. Дюрингу, и кто из них не обладает достаточным знакомством с главными основаниями химии.

В заключение мы намерены призвать еще одного свидетеля в пользу превращения количества в качество, именно Наполеона. Последний следующим образом описывает бой плохо ездившей верхом, но дисциплинированной французской кавалерии с мамелюками, этими в то время безусловно лучшими в единоборстве, но недисциплинированными

всадниками: «Два мамелюка безусловно превосходили трех французов: 100 мамелюков были равноценны 100 французам; 300 французов обыкновенно одерживали верх над 300 мамелюками, а 1 000 французов уже всегда разбивала 1 500 мамелюков». Подобно тому как у Маркса определенный, хотя и изменчивый, минимум суммы меновой стоимости необходим, чтобы сделать возможным ее превращение в капитал, точно так же у Наполеона известная минимальная величина конного отряда необходима, чтобы дать проявиться силе дисциплины, заключающейся в сомкнутом строю и планомерности действия, и чтобы подняться до превосходства даже над более значительными массами иррегулярной кавалерии, лучше сражающейся и лучше ездящей верхом и, по крайней мере, столь же храброй. Не говорит ли это что-либо против г. Дюринга? Разве Наполеон не пал позорно в борьбе с Европой? Разве он не терпел поражение за поражением? А почему? Не потому ли, что он ввел запутанное и туманное представление Гегеля в кавалерийскую тактику?

XIII. ДИАЛЕКТИКА. ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ.

«Этот исторический очерк (генезиса так называемого первоначального накопления капитала в Англии) представляет сравнительно самое лучшее место в книге Маркса и был бы еще лучше, если б он не опирался кроме научных еще и на диалектические костыли. Именно гегелевскому отрицанию отрицания приходится здесь, за недостатком лучших и более ясных средств, играть роль акушерки, которая выводит будущее из недр прошлого. Упразднение индивидуальной собственности, которое совершалось с XVI века указанным способом, представляет первое отрицание. За ним следует второе, которое характеризуется как отрицание отрицания и, вместе с тем, как восстановление «индивидуальной собственности», но в высшей форме, основанной на общем владении землей и орудиями труда. Если эта новая «индивидуальная собственность» названа у Маркса в то же время общественной собственностью, то в этом проявляется известное гегелевское высшее единство, в котором противоречие «снимается», т. е, по известной игре слов противоречие должно быть одновременно и превзойдено и сохранено... Экспроприация экспроприаторов является, по Марксу, как бы автоматическим результатом исторической действительности в ее материально внешних отношениях... Едва ли какой-либо разумный человек даст себя убедить в необходимости общности земли и капитала из доверия к гегельянской болтовне об отрицании отрицания... Впрочем, туманные межеумочные марксовы представления не удивят того, кто знает, какой результат может выйти из гегелевской диалектики как научной основы или, вернее, какая бестолковщина должна из нее получиться. Для незнакомого с этим искусством нужно подчеркнуть, что первое отрицание у Гегеля является заимствованным из катехизиса понятием о грехопадении, а второе — есть понятие об искуплении, ведущем к высшему единству. Конечно логика фактов не может быть основана на чудацкой аналогии, взятой из религиозной области... Г-н Маркс остается погруженным в туманный мир своей одновременно индивидуальной и общественной собственности и предоставляет своим адептам самим разрешить глубокомысленную диалектическую загадку». Так говорит г. Дюринг.

Итак, необходимость социальной революции, создание строя, основанного на общественной собственности на землю и на произведенные трудом средства производства, Маркс не может доказать иначе как ссылкой на гегелевское отрицание отрицания, и основывая свою социалистическую теорию на этой заимствованной у религии чудацкой аналогии, он приходит к тому результату, что в будущем обществе будет господствовать одновременно индивидуальная и общественная собственность, как гегельянское высшее единство «снятого» противоречия.

Оставим пока в стороне отрицание отрицания и взглянем на «одновременно индивидуальную и общественную собственность». Последняя охарактеризована г. Дюрингом как «туманный мир», и в этом он, к удивлению, оказывается действительно правым. Но, к сожалению, в этом туманном мире пребывает не Маркс, но опять-таки сам г. Дюринг. Подобно тому, как раньше он сумел, благодаря своему искусству в пользовании «безумным» гегелевским методом, без труда установить, что должны содержать в себе еще не оконченные томы «Капитала», так и здесь он без большого труда исправил Маркса по Гегелю, приписывая ему высшее единство собственности, о котором Маркс не говорит ни слова.

У Маркса говорится: «Это —отрицание отрицания. Оно восстанавливает индивидуальную собственность, но на основе завоеваний капиталистической эры, т. е. на основе кооперации свободных работников и их общей собственности на землю и на произведенные их трудом средства производства. Превращение основанной на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных лиц в собственность капиталистическую, естественно, представляет процесс несравненно более медленный, сопряженный с страданиями и более тягостный, чем превращение фактически уже основывающейся на общественном производстве капиталистической частной собственности в собственность общественную». Вот и все. Таким образом, положение, создаваемое экспроприацией экспроприаторов, характеризуется здесь как восстановление индивидуальной собственности, но на основе общественной собственности на землю и на произведенные самим трудом средства производства. Для всякого, кто умеет понимать прочитанное, это значит, что общественная собственность распространяется на землю и на другие средства производства, а индивидуальная собственность — на продукты, следовательно — на предметы потребления. А для того чтобы это было понятно даже детям шестилетнего возраста, Маркс предлагает на стр. 56 представить себе «союз свободных людей, которые работают при помощи общих средств производства и затрачивают свои индивидуальные рабочие силы как общественную рабочую силу», т. е. представить себе социалистически организованный союз, и затем говорит: «Совокупность продуктов труда союза есть продукт общественный. Часть этого продукта служит вновь в роли средств производства. Она остается общественной. Другая же часть потребляется членами союза в виде жизненных средств. Она поэтому должна быть разделена между ними». Все это, казалось бы, должно быть ясно даже для запутавшегося в гегельянстве г. Дюринга.

Одновременно индивидуальная и общественная собственность, это смутное межеумочное понятие, эта бестолковщина, долженствующая получиться в гегелевской диалектике, этот туманный мир, эта глубокомысленная диалектическая загадка, разрешить которую Маркс предоставил своим адептам, — все это опять-таки оказывается свободным творчеством и воображением г. Дюринга. Маркс, в качестве мнимого гегельянца, обязывается отыскать, в виде результата отрицания отрицания, истинное высшее единство, а так как он это делает не по вкусу г. Дюринга, то последний опять должен впасть в свой возвышенный и благородный стиль и приписать Марксу, в интересах полной истины, такие вещи, которые представляют собственное изделие г. Дюринга. Человек, который так абсолютно неспособен, хотя бы в виде исключения, цитировать правильно, должен, разумеется, впадать в нравственное негодование по поводу «китайской учености» других людей, которые без исключения цитируют правильно, но именно этим «плохо прикрывают недостаток понимания общей идеи цитируемого писателя в каждом данном случае». Прав г. Дюринг. Да здравствует «изложение истории в высоком стиле»!

До сих пор мы исходили из того предположения, что упорное цитирование г. Дюринга происходит, по крайней мере, вполне добросовестно и покоится либо на его собственной

абсолютной неспособности разумения, или же зависит от свойственной «изложению истории в высоком стиле» привычки цитировать на память, которую принято обыкновенно называть просто «неряшливой». Но тут, кажется, мы дошли до того пункта, где у Дюринга количество начинает переходить в качество. Ибо, если мы примем во внимание, во-первых, что это место у Маркса само по себе изложено совершенно ясно и к тому же дополняется еще другим, абсолютно не допускающим недоразумений, пояснением в той же книге; во-вторых, что ни в вышеупомянутой критике «Капитала» (в «Ergan-zungsblatter»), ни в критике, помещенной в первом издании «Критической истории», г. Дюринг не открыл этого чудовища — «одновременно индивидуальной и общественной собственности», но только во втором издании ее. т. е. уже при третьем чтении «Капитала», и что только в этом втором, переработанном на социалистический лад издании г. Дюринг счел необходимым приписать Марксу всевозможный вздор о будущей организации общества, очевидно для того, чтобы, в свою очередь, сказать о себе торжествующим тоном (что он и делает): «хозяйственную общину, которую я охарактеризовал экономически и юридически в моем курсе...», — если мы примем в соображение все это, то сам собою навязывается вывод, что г. Дюринг в этом случае с умыслом «благодетельно развил» мысли Маркса, т. е. благодетельно для самого г. Дюринга.

Какую же роль играет у Маркса отрицание отрицания? На странице 791 и следующих он резюмирует окончательные результаты произведенного на предшествующих 50 страницах экономического и исторического исследования о так называемом первоначальном накоплении капитала. В докапиталистическую эру, по крайней мере в Англии, существовало мелкое производство на основе частной собственности работника на средства производства. Так называемое первоначальное накопление капитала заключалось в экспроприации этих непосредственных производителей, т. е. в разложении частной собственности, основывавшейся на труде собственника. Это стало возможным потому, что вышеупомянутое мелкое производство совместимо только с ограниченным тесными естественными пределами состоянием производства и общества, и поэтому, на известной высоте своего развития, само создает материальные средства для своего собственного уничтожения. Это уничтожение, превращение индивидуальных н раздробленных средств производства в общественно-сконцентрированные, образует предъисторию капитала. Как только рабочие превращены в пролетариев, а средства производства — в капитал, как только капиталистический способ производства стал на собственные ноги, — дальнейшее стремление к обобществлению труда и обобществлению земли и других средств производства, а следовательно и дальнейшая экспроприация частных собственников, принимает новую форму. «Теперь остается экспроприировать уже не ведущих собственное хозяйство работников, но капиталиста, эксплоатирующего многих рабочих. Эта экспроприация совершается действием имманентных законов самого капиталистического производства, а именно вследствие концентрации капиталов. Один капиталист постепенно побивает многих других. Рука об руку с этой концентрацией или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается все в больших и больших размерах кооперативная форма рабочего процесса, сознательное техническое приложение науки, целесообразная эксплоатация земли, превращение орудий труда в такие, которые могут прилагаться только сообща, и экономизирование всех средств производства посредством употребления их как общих средств производства комбинированного общественного труда. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые похищают и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастают бедность, гнет, порабощение, унижение, эксплоатация, но также и возмущение рабочего класса, который постоянно растет и постоянно обучается, объединяется и организуется самим механизмом капиталистического процесса производства. Монополия капитала становится узами того способа производства, который развился вместе с ней под

ее влиянием. Концентрация средств производства и обобществление труда достигли такой степени, что они не могут долее выносить своей капиталистической оболочки. Она разрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют!»

Теперь, я спрашиваю читателя: где те диалектически кудреватые хитросплетения и арабески мысли, где то путаное и превратное представление, согласно которому, в конце концов, все едино есть, где диалектические чудеса для верующих, где диалектическая таинственная чепуха и те хитросплетения, по шаблонам учения о логосе, без которых Маркс, по мнению г. Дюринга, не может построить ход исторического развития? Маркс просто доказывает исторически, а здесь вкратце резюмирует, что как некогда мелкое производство необходимо должно было создать, путем собственного условия своего уничтожения, т. е. экспроприацию мелких собственников, так и теперь капиталистический способ производства точно так же сам создал те материальные условия, от которых он должен погибнуть. Это—процесс исторический, а если он в то же время диалектический процесс, то это вина не Маркса, как бы это фатально ни было для г. Дюринга.

Только теперь, после того как Маркс покончил со своим исто-рико-экономическим доказательством, он продолжает: «Капиталистический способ производства и присвоения, а потому и капиталистическая частная собственность, является первым отрицанием индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственном труде. Отрицание капиталистического производства производится им же самим с необходимостью естественного процесса. Это—отрицание отрицания» и т. д. (следует вышеупомянутое место).

Итак, если Маркс называет этот процесс отрицанием отрицания, он вовсе не думает о том, чтобы доказать этим историческую необходимость процесса. Напротив того, после того как он исторически доказал, что этот процесс частью уже совершился и частью еще должен совершиться, — только после этого он характеризует его еще как процесс, совершающийся согласно известному диалектическому закону. Вот и все. Следовательно, опять-таки только исказив смысл учения Маркса, г. Дюринг может утверждать, что отрицанию отрицания приходится, в данном случае, выполнять акушерскую роль для извлечения будущего из недр прошлого, или говорить, что Маркс требует, чтобы убеждение в необходимости общности земли и капитала (что уже представляет само воплощенное противоречие г. Дюринга) строилось на основании веры в отрицание отрицания.

О полном непонимании природы диалектики свидетельствует уже один тот факт, что г. Дюринг признает ее орудием простого доказательства, подобно тому как при ограниченном понимании можно считать таковым формальную логику или элементарную математику. Даже формальная логика представляет, прежде всего, метод для отыскивания новых результатов, для перехода от известного к неизвестному, и то же самое, только в гораздо более высоком смысле, представляет диалектика, которая к тому же содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения, так как она прорывает тесный горизонт формальной логики. В математике существует такое же отношение. Элементарная математика, математика постоянных величин, движется, по крайней мере в целом и общем, в границах формальной логики; математика переменных величин, существеннейший отдел которой составляет исчисление бесконечно малых, есть в сущности не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям. Простое доказательство отступает здесь совершенно на задний план в сравнении с многообразными применениями метода к новым областям исследования. И почти все доказательства высшей математики, начиная с первых доказательств диференциального

исчисления, являются, с точки зрения элементарной математики, строго говоря, неверными. Это и не может быть иначе, если добытые в диалектической области данные хотят доказать посредством формальной логики. Пытаться доказать такому заядлому метафизику, как г. Дюринг, что-либо посредством одной диалектики было бы таким же даром потраченным трудом, каким был труд Лейбница и его учеников, доказывавших тогдашним математикам теоремы исчисления бесконечно малых. Диференциал вызывал в них такие же судороги, какие вызывает в Дюринге отрицание отрицания, в котором, впрочем, диференциал тоже, как мы увидим, играет некоторую роль. В конце концов, эти господа, поскольку они не умерли тем временем, ворча сдались, - не потому что были убеждены, а потому, что даваемые диференциальным исчислением решения были всегда верны. Г-н Дюринг, как сам он рассказывает, достиг только 40 лет, и если - чего мы ему желаем – он доживет до глубокой старости, то еще, может быть, переживет то же самое.

Но что же такое, все-таки, это ужасное отрицание отрицания, которое так отравляет жизнь г. Дюринга и является в его глазах таким же ужасным преступлением, как у христиан грех против духа святого? В сущности очень простая, повсюду ежедневно совершающаяся процедура, которую может понять всякий ребенок, если только сорвать с нее мистическую ветошь, в которую ее закутывала старая идеалистическая философия и в которой ее продолжают сохранять только беспомощные метафизики, вроде г. Дюринга.

Возьмем, например, ячменное зерно. Биллионы таких зерен размалываются, развариваются, идут на приготовления пива, а затем потребляются. Но если одно такое ячменное зерно найдет нормальные для себя условия, если попадет на благоприятную почву, то под влиянием теплоты и влажности с ним произойдет изменение,— оно даст росток; зерно, как таковое, исчезает, отрицается; на место его появляется выросшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворяется и, наконец, производит вновь ячменные зерна, и как только последние созреют, стебель отмирает, отрицается в свою очередь. Как результат этого отрицания отрицания мы здесь имеем снова первоначальное ячменное зерно, но не одно, а сам-десять, сам-двадцать или тридцать. Хлебные злаки изменяются крайне медленно, так что современный ячмень почти совершенно подобен ячменю прошлого века. Но возьмем какое-нибудь пластическое декоративное растение, например далию или орхидею; если мы будем искусственно воздействовать на семя и развивающееся из него растение, то, как результат этого отрицания отрицания, мы получим не только большее количество семян, но и качественно улучшенное семя, могущее производить более красивые цветы, и каждое повторение этого процесса, каждое новое отрицание отрицания увеличивает это совершенство. Так же, как и с ячменным зерном, процесс этот совершается и у большинства насекомых, например у бабочек. Они появляются из яичка путем отрицания его, проходят через различные фазы превращения до половой зрелости, совокупляются и вновь отрицаются, т. е. умирают, как только завершился процесс продолжения рода и самки положили множество яиц. Что у других растений и животных процесс разрешается не так просто, что они не единожды, но много раз производят семена, яйца или детенышей, прежде чем умрут,— все-это нас здесь не касается; нам только нужно было показать, что отрицание отрицания действительно происходит в обоих царствах органического мира. Далее вся геология представляет ряд отрицаний, подвергшихся отрицанию, ряд последовательных разрушений старых и отложения новых горных формаций. Сначала первичная, возникшая от охлаждения жидкой массы земная кора размельчается океаническими, метеорологическими и атмосферно-химическими воздействиями, и эти размельченные массы отлагаются слоями на дне морском. Местные поднятия морского дна над поверхностью моря вновь подвергают части этого первого отложения воздействиям дождя, перемены температуры, в зависимости от времен года, воздействиям кислорода и углерода атмосферы; подобным же воздействиям подвергаются

вырывающиеся из недр земли, прорывающие отложения расплавленные, впоследствии охлаждающиеся каменные массы. В течение миллионов столетий, таким образом, образуются все новые и новые слои, по большей части вновь и вновь разрушаясь и снова и снова служа материалом для образования новых слоев. Но результат этого процесса весьма положителен: образование почвы, составленной из разнообразнейших химических элементов, находящихся в состоянии механического раздробления, благоприятствующем значительной и разнообразной растительности.

Так же точно и в математике. Возьмем любую алгебраическую величину а. Если мы отрицаем ее, мы получим — а (минус а). Если же мы подвергнем отрицанию это отрицание, помножив —а на —а, то получим + а2, т. е. первоначальную положительную величину, но на высшей ступени, именно во второй степени. И в этом случае не имеет значения, что то же самое а2 мы можем получить умножением положительного а на само себя. Ибо отрицаемое отрицание а так прочно пребывает в а2, что последнее при всяких обстоятельствах имеет два квадратных корня, именно + а и —а. И эта невозможность отделаться от отрицания отрицания, от содержащегося в квадрате отрицательного корня, получает очень осязательное значение уже в квадратных уравнениях. Еще резче отрицание отрицания выступает в высшем анализе, в тех «суммированиях бесконечно малых величин», которые сам г. Дюринг объявляет наивысшими математическими операциями и которые на обычном языке называются диференциальным и интегральным исчислением. Как производятся эти виды исчислений? Например, у нас в известной задаче имеются две переменные величины х и у, из которых одна не может изменяться без того, чтобы и другая не изменилась в определенном условиями задачи отношении. Я диференцирую х и у, т. е. принимаю их столь бесконечно малыми, что они исчезают по сравнению со сколь угодно малой действительной величиной, что от х и у не остается ничего, кроме взаимного их отношения, лишенного, так сказать, всякой материальной основы, остается количественное отношение, лишенное всякого количества. Следовательно dy/dx, т. е. отношение обоих диференциалов х и у, равно 0/0, но это 0/0 выражает собою у/х. Упомяну лишь мимоходом, что это отношение двух исчезнувших величин, этот фиксированный момент их исчезновения, представляет собой противоречие, но оно должно нас тревожить так же мало, как оно вообще мало тревожило математику в течение почти 200 лет. Итак, что же я делаю диференцируя, как не то, что я отрицаю х и у, но только не в том смысле, что мне до них нет дела, как отрицает метафизика, а отрицаю соответственно обстоятельствам дела? Именно, вместо х и у я имею в данных формулах или уравнениях их отрицание dx и dy. Затем я произвожу дальнейшие действия с этими формулами, обращаюсь с dx и dy как с величинами действительными, хоть и подверженными некоторым исключительным законам, и в известном пункте я отрицаю отрицание, т. е. интегрирую диференциальную формулу, вместо dx и dy вновь получаю действительные величины х и у и тем самым не просто возвращаюсь к исходному моменту, но разрешаю задачу, на которой обыкновенные геометрия и алгебра, быть может, пона-прасну обломали бы себе зубы.

Не иначе обстоит дело и с историей. Все культурные народы начинают с общинной собственности на землю. У всех народов, которые перешли известную ступень первобытного состояния, общинная собственность начинает, по мере развития земледелия, сковывать производство. Она отменяется, отрицается и, после более или менее долгих промежуточных стадий, превращается в частную собственность. Но на высшей ступени развития земледелия, достигаемой благодаря господству частной собственности на землю, последняя, в свою очередь, налагает оковы на производство, и это в настоящее время наблюдается как в мелком, так и в крупном землевладении. Отсюда необходимо возникает требование отрицания частной земельной собственности, превращения ее в собственность общественную. Но это требование не означает

восстановления первобытной общинной собственности, а установление более высокой, более развитой формы общего владения, которое не только не является препятствием для производства, но, наоборот, только освобождает последнее от оков и дает ему возможность сполна использовать современные химические открытия и механические изобретения.

Или же еще пример. Античная философия представляла первобытный, естественный материализм. Как таковой, она не была способна выяснить отношение мысли к материи. Но необходимость выяснения этого вопроса привела к учению об отделимой от тела душе, далее — к утверждению бессмертия этой души, наконец — к монотеизму. Старый материализм был, таким образом, отрицаем идеализмом. Но, при дальнейшем развитии философии, идеализм также оказался несостоятельным и отрицается современным материализмом. Последний — отрицание отрицания — не представляет собой простого воскрешения старого материализма, но к прочным основам последнего присоединяет еще все идейное содержание двухтысяче-летнего развития философии и естествознания, равно как и самой этой двухтысячелетней истории. Вообще он уже не является философией, но просто мировоззрением, которое ищет доказательств и проявляется не в особой науке наук, но в самих реальных науках. Философия таким образом «снята», т. е. «схоронена», «одновременно уничтожена и сохранена». Уничтожена формально, сохранена по своему действительному содержанию. Таким образом, там, где г. Дюринг видит только «игру слов», оказывается, при более внимательном наблюдении, реальное содержание.

Наконец, даже учение о равенстве Руссо, бледным искаженным снимком которого является учение г. Дюринга, даже оно не могло быть построено без того, чтобы гегелевское отрицание отрицания не сыграло акушерской роли (и это еще более чем за 20 лет до рождения Гегеля). И весьма далекое от того, чтобы стыдиться этого, учение Руссо, в первом своем изложении, можно сказать, блистательно обнаруживает печать своего диалектического происхождения. В естественном и диком состоянии люди были равны, а так как Руссо уже на возникновение речи смотрит как на искажение естественного состояния, то он имел полное право приписывать равенство и тем гипотетическим людям-животным, которых в новей-шее время Геккель назвал alali — лишенными речи. Но эти равные меж собой люди-животные имели одно преимущество перед прочими животными: способность совершенствования, дальнейшего развития, и эта способность стала причиной неравенства. Итак, Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен, он в то же время был и регрессом. «Все дальнейшие успехи представляли собою только кажущийся прогресс в направлении усовершенствования отдельного человека, на самом же деле этот прогресс шел в направлении упадка рода человеческого. Обработка металлов и земледелие были теми двумя искусствами, открытие которых вызвало эту громадную революцию» (т. е. превращение первобытных лесов в обработанную землю, но, вместе с тем, так же господство нищеты и рабства, созданных установлением собственности). «С точки зрения поэта, золото и серебро, а с точки зрения философа, железо и хлеб цивилизовали людей, но и погубили человеческий род». Каждый новый прогрессивный шаг цивилизации есть в то же время и прогресс неравенства. Все учреждения, которые создает для себя общество, возникшее вместе с цивилизацией, превращается в нечто противоположное своей первоначальной цели. «Бесспорно — и это составляет основной закон всего государственного права — что народы создали себе государей для охраны своей свободы, а не для ее уничтожения». И тем не менее, говорит Руссо, эти правители необходимо становились угнетателями народов, и их угнетение усиливается до того момента, когда неравенство, достигшее крайней степени, вновь превращается в свою противоположность, становясь причиной равенства: перед деспотом все равны, именно каждый равен нулю. «Тут — высшая степень неравенства, та конечная точка, которая замыкает круг и соприкасается с начальной точкой, от которой мы

исходили: здесь все частные люди снова становятся равными членами, но только потому, что они представляют собой ничто, и подданные не имеют другого закона, кроме воли господина». Но деспот является господином, пока на его стороне сила, а потому «если его изгоняют, он не может жаловаться на насилие... Насилие его поддерживало, насилие его и свергает, все идет своим правильным и естественным путем». И, таким образом, неравенство вновь превращается в равенство, но не в старое естественное равенство первобытных людей, лишенных языка, а в высшее равенство — общественного договора. Угнетатели подвергаются угнетению. Это — отрицание отрицания.

Мы здесь, таким образом, имеем уже у Руссо не только рассуждение, как две капли воды схожее с рассуждением Маркса в «Капитале», но и в подробностях мы видим целый ряд тех же диалектических оборотов, какими пользуется Маркс: процессы, которые антагонистичны по своей природе, содержат в себе противоречие, превращение известной крайности в свою противоположность и, наконец, как основу всего—отрицание отрицания. Если, следовательно, Руссо в 1754 г. не мог еще говорить «гегелевским жаргоном», то, во всяком случае, он за 23 года до рождения Гегеля, глубоко был заражен гегелевским ядом, диалектикой противоречия, учением о логосе, теологией и т. д. И если г. Дюринг, опошлив теорию Руссо, философствует затем о равенстве, при помощи своих двух мифических личностей, то все-таки и он оказывается на наклонной плоскости, с которой безнадежно скользит в объятия отрицания отрицания. Строй, в котором процветает равенство двух лиц и который при этом представлен как строй идеальный, назван на стр. 271 «Курса философии» «первобытным строем». Но этот первобытный строй на стр. 279 необходимым образом заменяется «системой грабежа».— таково первое отрицание. Наконец,теперь,благодаря философии действительности, мы дошли до того, что уничтожаем систему грабежа и вводим на ее место открытую г. Дюрингом, покоящуюся на равенстве хозяйственную коммуну — отрицание отрицания, равенство на высшей ступени. Забавное, благодетельно расширяющее кругозор зрелище: сам г. Дюринг всемилостивейше совершает смертный грех — отрицание отрицания.

Итак, что такое отрицание отрицания? Весьма общий и именно потому весьма широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления; закон, который, как мы видели, прояв-ляется в царстве животном и растительном, в геологии, в математике, в истории, в философии и которому вынужден, сам того не ведая, подчиниться г. Дюринг, несмотря на весь свой форс и важничанье. Понятно само собой, что я еще ничего не говорю о том особенном процессе развития, который, например, проходит ячменное зерно от прорастания до умирания плодоносного растения, если скажу, что это—отрицание отрицания. Ибо так как такое же отрицание отрицания представляет, например, интегральное исчисление, то, ограничиваясь этим общим утверждением, я мог бы утверждать такую нелепицу, будто процесс жизни ячменного колоса есть интегральное исчисление или, если хотите, социализм. Эту-то нелепость н приписывают постоянно метафизики диалектике. Если я о всех этих процессах говорю, что они представляют отрицание отрицания, то я лишь обнимаю их одним этим законом развития и именно из-за этого оставляю без внимания особенности каждого отдельного специального процесса. Диалектика ведь представляет собою не более, как науку о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления.

Однако нам могут возразить: приведенное здесь отрицание не есть действительное отрицание; я отрицаю ячменное зерно и в том случае, если я его размалываю, насекомое — если я его раздавливаю, положительную величину а — если я ее вычеркиваю и т. д. Или я отрицаю положение — роза есть роза, сказав: роза не есть роза; и что выйдет из того, что я вновь отрицаю это отрицание, говоря: роза все-таки есть роза? Таковы действительно главные аргументы метафизиков против диалектики, вполне достойные

ограниченности их способа мышления. В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет» или объявить вещь несуществующей, или же уничтожить ее по произволу. Уже Спиноза говорил: omnis deter-minatio est negatio — всякое ограничение, или определение, есть в то же время отрицание. И, далее, способ отрицания определяется здесь, во-первых, общей, а во-вторых, особенной природой данного процесса. Я должен не только отрицать, но также затем «снять» это отрицание. Следовательно, первое отрицание я должен произвести таким образом, чтобы было или стало возможным второе отрицание. Но как этого достигнуть? Это — смотря по особой природе каждого отдельного случая. Если я размолол ячменное зерно или раздавил насекомое, то я хотя и совершил первый акт отрицания, но и сделал невозможным второй. Для каждой категории предметов имеется, таким образом, особый, ему свойственный способ такого отрицания, чтобы из него получилось развитие; точно так же и для каждой категории представлений и понятий. В исчислении бесконечно малых отрицание происходит иначе, чем в получении положительной степени из отрицательных корней. Этому приходится научиться, как и всему прочему. Зная только, что ячменный колос и исчисление бесконечно малых обнимаются понятием «отрицание отрицания», я не могу ни успешно вырастить ячмень, ни ди-ференцировать и интегрировать, точно так же как знание одних только законов зависимости звуков от размеров струн не дает мне возможности играть на скрипке. Ясно, однако, что при таком отрицании отрицания, которое состоит в детском занятии попеременно ставить а, затем его вычеркивать, или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, — что при таком занятии не выяснится ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру, А между тем метафизики хотят нас уверить, что раз мы желаем совершить отрицание отрицания, то его надлежит произвести именно таким образом.

Итак, опять-таки не кто иной, как г. Дюринг, мистифицирует нас, утверждая, что отрицание отрицания представляет собою чудацкую аналогию с грехопадением и искуплением, изобретенную Гегелем и заимствованную им из сферы религии. Люди рассуждали диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика, так же, как говорили прозой уже задолго до того, как появилось слово «проза». Закон отрицания отрицания, который осуществляется бессознательно в природе и истории, а также, пока он не познан, и в нашем мышлении, лишь впервые резко формулирован Гегелем. А если г. Дюринг, как оказывается, сам втихомолку пользуется диалектикой, но ему только не нравится это название, — так пусть он отыщет лучшее. Если же он намерен изгнать из мышления самую суть дела, то вместе с тем он должен изгнать диалектическое развитие из природы и истории и изобрести такую математику, в которой $-a \times -a$ не дает $+a^2$, а также издать закон, в силу которого диференцирование и интегрирование были бы воспрещены под страхом наказания.

XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Мы покончили с философией; то, что еще говорится в «Курсе» о фантазиях будущего, займет наше внимание при рассмотрении переворота, произведенного г. Дюрингом в сфере социализма. Что обещал нам г. Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего. «Элементы философии реальной и соответственно направленной на действительность природы и жизни», «строго научное мировоззрение», «системосозидающие идеи» и все прочие научные подвиги г. Дюринга, рекламированные громкими фразами самого г. Дюринга, оказались, при первом прикосновении к ним, простым блефом. Мировая схематика, которая, «не жертвуя в чем-либо глубиной мысли, прочно установила основные формы бытия», представляет собою бесконечно поверхностную копию гегелевской логики и проникнута, как и последняя, предрассудком, будто бы «эти основные формы», пли логические категории, ведут таинственное

существование где-то вне этого мира, к которому они должны «применяться». Натурфилософия дала нам космогонию, исходным пунктом которой является «самому себе равное состояние материи», — состояние, которое может быть представлено только посредством самой безнадежной путаницы представлений о связи материи и движения и, сверх того, лишь при допущении находящегося вне мира личного бога, который один может привести это состояние в движение. При рассмотрении органической природы философия действительности, отвергнув борьбу за существование и естественный отбор Дарвина, как «изрядную дозу скотства, направленного против человечности», должна была ввести затем то и другое через заднюю дверь и принять их как действующие в природе факторы, хотя и второстепенного значения. При этом она нашла случай проявить в области биологии такое же невежество, какого ныне,— с тех пор как уже нельзя избегнуть знакомства с популярно-научными лекциями, — нужно искать днем с фонарем даже среди барышень из образованных сословий. В области нравственности и права опошление учения Руссо о равенстве привело не к лучшим результатам, чем в предыдущих отделах извращение Гегеля. Точно так же и в области правоведения, — несмотря на все уверения автора в противном, — обнаружилось такое незнание, которое, и то лишь изредка, можно встретить у самых ординарных, старо-прусских юристов. Философия, «которая не признает никакого видимого горизонта», довольствуется в юридической области весьма реальным горизонтом, совпадающим со сферой действия прусского земского права. «Земли и небеса внешней и внутренней природы», которые эта философия обещала развернуть перед нами в своем мощно-революционизирующем движении, мы все еще ждем их, точно так же, как и «окончательных истин в последней инстанции», и того, что она называет «абсолютно-фундаментальным». Философ, метод мышления которого исключает всякую возможность впасть в «субъективно-ограниченное представление мира», оказывается, в действительности, не только сам субъективно ограниченным своими, как это было доказано, крайне недостаточными познаниями, своим ограниченно-метафизическим образом мышления и своим карикатурным самовозвеличением, но также еще и своими ребяческими причудами. Он не может создать свою философию действительности, не навязав предварительно всему человечеству, не исключая евреев, свое отвращение к табаку, кошкам и евреям, в качестве безусловного и всеобщего закона. Его «истинно-критическая» точка зрения по отношению к другим людям состоит в том, чтобы неослабно приписывать им вещи, которых они не говорили и которые представляют собственное изделие г. Дюринга. Его расплывчатая болтовня на мещанские темы, как, например, о ценности жизни и о наилучшем способе наслаждения ею, пропитана филистерством, которым вполне объясняется его гнев против «Фауста» Гете. Оно, конечно, непростительно со стороны Гете, что он сделал своим героем безнравственного Фауста, а не серьезного философа действительности — Вагнера!

Одним словом, философия действительности в конце концов оказывается, употребляя выражение Гегеля, «бледнейшим отстоем немецкого просвещенства», который был бы совершенно жидок и прозрачен, если бы его жидкая и прозрачная тривиальность не приняла более мутный вид благодаря накрошенным оракульским фразам. Таким образом, закончив чтение книги, мы оказываемся знающими столько же, сколько знали прежде, и вынуждены признать, что «новый метод мышления», «в основе своей своеобразные данные и воззрения» и системосозидающие идеи», — что все это хотя и дало нам новые разообразные нелепости, но среди них нет ни одной строчки, могущей чему-нибудь научить. И этот человек, выхваляющий свое искусство и свои товары под гром литавр и труб, словно обыкновеннейший базарный рекламист, у которого за громким словом не скрывается ровно ничего,—этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шеллинг, Гегель, из которых наименее выдающийся—гигант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан—только кто, собственно?

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

I. ПРЕДМЕТ И МЕТОД.

Политическая экономия, в широком смысле слова, есть наука о законах, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческих обществах. Производство и обмен представляют две различные функции. Производство может происходить без обмена, обмен же, именно потому, что он прежде всего есть обмен продуктов, не может, очевидно, обойтись без производства этих продуктов. Каждая из этих двух общественных функций находится под влиянием большею частью особенных внешних воздействий, почему та и другая подчиняются большею частью своим особенным, специальным законам. Но, с другой стороны, эти функции в каждый данный момент обусловливают друг друга и воздействуют друг на друга в такой мере, что их можно было бы назвать абсциссой и ординатой экономической кривой.

Условия, при которых люди производят и обмениваются продуктами, не одинаковы для разных стран и изменяются в каждой стране из поколения в поколение. Политическая экономия поэтому не может быть тожественной для всех стран и всех исторических эпох. Громадная пропасть лежит между странами, в которых находятся еще в употреблении лук со стрелами, каменные ножи и дикое население лишь редко, в исключительных случаях, вступает в меновые отношения, и такими странами, в которых применяются паровые машины в тысячу лошадиных сил, а также механические ткацкие станки, железные дороги и коммерческие учреждения, вроде Английского банка. Жители Огненной земли не дошли до массового производства и торговли на всемирном рынке, так же точно как и до вексельных спекуляций и биржевых крахов. Поэтому, кто пожелает объединить одними законами экономику Огненной земли и экономику современной Англии, тот, очевидно, не извлечет на свет божий ничего, кроме самых банальных общих мест. Таким образом, политическая экономия по самому существу своему — историческая наука. Она имеет дело с историческим, т. е. непрерывно изменяющимся материалом; она прежде всего исследует особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена и лишь в конце этого исследования может установить немногие, имеющие применение к производству и обмену, вполне общие законы. Причем, однако, само собой разумеется, что законы, имеющие силу для определенных способов производства и обмена, могут иметь значение для всех исторических периодов, в которых господствуют именно эти способы производства и обмена. Так, например, вместе с введением металлических денег приводится в действие ряд законов, имеющих силу для всех стран и исторических периодов, в которых металлические деньги являются средством обмена.

В зависимости от рода и способа производства и обмена определенного исторического общества и исторических условий существования последнего устанавливается и самый род и способ распределения продуктов. В родовой или сельской общине с общей собственностью на землю, с которою или с весьма заметными остатками которой вступают в историю все культурные народы, само собой подразумевается довольно равномерное распределение продуктов; где же возникает более или менее значительное неравенство в их распределении между членами общины, это служит уже признаком начавшегося разложения последней. Как крупное, так и мелкое землевладение допускают (смотря по историческим условиям, из которых они развились) весьма различные формы распределения. Но очевидно, что крупное землевладение обусловливает всегда иное распределение, чем мелкое; что крупное предполагает или создает противоположность

классов — рабовладельцев и рабов, вотчинников и барщинно-обязанных крестьян, капиталистов и наемных рабочих, тогда как при мелком — классовые различия между занятыми в земледельческом производстве индивидуумами отнюдь не необходимы и, напротив того, самым фактом своего существования указывают на начавшийся упадок парцеллярного хозяйства. Введение и распространение металлических денег в стране, в которой до сих пор исключительно или преимущественно велось натуральное хозяйство, всегда соединено с более или менее быстрым преобразованием прежнего распределения, и именно в том смысле, что оно все более и более выражается в неравенстве между отдельными личностями и, следовательно, порождает и усиливает противоположность между богатыми и бедными. Насколько местное цеховое ремесленное производство средних веков делало невозможным существование крупных капиталистов и пожизненных наемных рабочих, настолько же появление этих классов стало неизбежным при современной крупной промышленности, при современном развитии кредита и при соответствующих им формах обмена, основанного на свободной конкуренции.

Таким образом, одновременно с появлением различий в распределении продуктов возникают и классовые различия. Общество разделяется на привилегированных и угнетаемых, на эксплоатирующих и эксплоатируемых, на господствующие и подчиненные классы, и точно так же государство, развившееся из естественно выросших групп одноплеменных общин, сначала только в целях удовлетворения их общих интересов (например, на Востоке — орошение) и для защиты от внешних врагов,— отныне получает специальное назначение: силою охранять условия существования и господства эксплоатирующих классов от классов эксплоатируемых.

Однако распределение не является простым пассивным результатом производства и обмена; оно, в свою очередь, влияет обратно на производство и обмен. Каждый новый способ производства или новая форма обмена вначале стесняются не только старыми формами и соответствующими им политическими учреждениями, но и старым способом распределения. Им приходится лишь путем долгой борьбы завоевать себе соответствующее распределение. Но чем подвижнее данный способ производства и обмена, чем более он способен к преобразованию и развитию, тем скорее распределение достигает такой стадии, на которой оно перерастает породивший его способ производства и обмена и вступает с ним в противоречие. Старые, естественно выросшие общины, о которых была уже речь, могут существовать целые тысячелетия, как это наблюдается еще теперь у индусов и славян, до тех пор, пока сношения с внешним миром не породят внутри этих общин имущественных различий, следствием которых является их разложение. Напротив, современное капиталистическое производство, едва насчитывающее триста лет и получившее решительное господство только со времени появления крупной промышленности, т. е. всего сто лет тому назад, успело в течение этого короткого срока породить такие противоположности в распределении (с одной стороны, концентрацию капиталов в немногих руках, а с другой — концентрацию неимущих масс в больших городах), от которых оно необходимо должно погибнуть.

Связь между распределением данного общества и его материальными условиями существования настолько коренится в природе вещей, что она соответственным образом отражается в народной психике. Пока известный способ производства находится в восходящей стадии своего развития, до тех пор ему воздают хвалу даже те, кто остается в накладе от соответствующего ему способа распределения.

Так было с английскими рабочими во время возникновения крупной промышленности. Более того, пока этот способ производства представляется общественно нормальным, в общем господствует довольство распределением, и протесты раздаются в то время лишь

со стороны лиц, вышедших из среды самого господствующего класса (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). не находя у эксплоатируемых масс никакого отклика. Только когда данный способ производства уже в значительной степени пройдет нисходящую стадию своего развития, когда он уже наполовину переживет себя и когда исчезнут условия, породившие его существование, и в дверь уже стучится его преемник,— только тогда становящееся все более неравномерным распределение начинает казаться несправедливым, только тогда начинают от отживающей действительности апеллировать к так называемой вечной справедливости. Эта апелляция к морали и праву в научном отношении не ведет нас ни на шаг далее; экономическая наука может усматривать в нравственном негодовании, как бы оно ни было справедливо, не доказательство, но только симптом. Напротив, ее задачей является показать, что проявившиеся недостатки общественного строя представляют необходимые следствия существующего способа производства, но в то же время и признаки наступающего-его разложения, и открыть внутри разлагающейся экономической формы движения элементы будущей, могущей уничтожить эти недостатки, новой организации производства и обмена. Гнев, создающий поэтов, вполне уместен как при изображении этих недостатков, так и при нападении на идеологов, которые отыскивают гармонию в существующем строе и, служа господствующему классу, отрицают или прикрашивают его недостатки; но как мало он может иметь значения в качестве доказательства в том или другом случае, это ясно из одного того, что для гнева всегда было достаточно материала, во все эпохи истории.

Политическая экономия,— как наука об условиях и формах производства и обмена продуктов в различных человеческих обществах и о соответствующих способах распределения этих продуктов, — такая политическая экономия, в широком смысле этого слова, еще должна быть создана. То, что дает нам в настоящее время экономическая наука, ограничивается почти исключительно генезисом и развитием капиталистического способа производства: она начинает с критики остатков феодальных форм производства и обмена, указывает на необходимость замены их капиталистическими формами, затем развивает законы капиталистического способа производства и соответствующих ему форм обмена с положительной стороны, т. е. поскольку они соответствуют интересам всего общества, и за канчивает социалистической критикой капиталистического способа производства, т. е. изложением его законов с отрицательной стороны, указанием на то, что этот способ производства, путем собственного своего развития, стремится к той точке, где он сам становится не возможным. Эта критика доказывает, что капиталистические формы производства и обмена все более приобретают характер невыно симых оков для самого производства; что необходимо обусловлен ный этими формами способ распределения создал постоянно возра стающую непримиримость классовых отношений, с каждым днем обо стряющееся противоречие между немногими, все более богатеющими, капиталистами и многочисленными, в общем все хуже и хуже обеспе ченными, неимущими наемными рабочими; и, наконец, что созданные в пределах капиталистического способа производства массовые производительные силы, которые не могут быть им рационально использованы, только ждут перехода во власть организованного для планомерной совместной работы общества, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и к свободному развитию их способностей, притом во все возрастающем размере.

Чтобы завершить в полной мере эту критику буржуазной экономии, недостаточно было знакомства с капиталистической формой производства, обмена и распределения. Следовало также, хотя бы в общих чертах, исследовать и привлечь к сравнению формы предшествующие или рядом с ней существующие в менее развитых странах. Такое исследование и сравнение, в общих чертах, находится пока в трудах только Маркса, и поэтому исключительно ему мы обязаны тем, что сделано до сих пор для выяснения

основных начал до-буржуазной теоретической экономии. Политическая экономия, в более узком смысле слова, хотя и возникла около конца XVII столетия благодаря отдельным гениальным личностям, но ее положительная формулировка получила значение лишь в сочинениях физиократов и А. Смита, и вообще, по существу, она является детищем XVIII века, тесно примыкая к эпохе открытий великих французских просветителей, нося на себе следы всех ее достоинств и недостатков. То, что сказано было выше о просветителях этой эпохи, применимо и к современным ей экономистам. Для них новая экономическая наука была не выражением отношений и потребностей эпохи, а проявлением вечного разума; открытые ею законы производства и обмена были не законами исторически определенной формы экономической деятельности, но вечными естественными законами: их выводили из природы человека. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что этот «человек» был просто средний бюргер того времени, превращавшийся в буржуа, и его «природа» заключалась лишь в том, что он производил продукты фабричным способом и торговал на почве господствовавших тогда исторически определенных отношений.

После того как мы в области философии достаточно познакомились с нашим «критическим основоположником» г. Дюрингом и его методом, мы можем легко предсказать, какие взгляды он проводит в политической экономии. В философской области, там, где он не городил просто вздора (как в натурфилософии), его способ мышления был карикатурой на метод XYIII века. Для него дело шло не об исторических законах развития, но об естественных законах, о вечных истинах. Общественные отношения, как мораль и право, разрешались им каждый раз не согласно определенным, исторически данным условиям, но с помощью пресловутых двух личностей, из которых одна либо порабощает другую, либо не порабощает (последнее, к сожалению, доселе никогда не случалось). Поэтому мы едва ли ошибемся, если наперед скажем, что г. Дюринг и политическую экономию сведет, в конце концов, к окончательным истинам в последней инстанции, к вечным естественным законам, к тавтологическим аксиомам, абсолютно лишенным содержания, и в то же время все положительное содержание политической экономии, поскольку оно ему знакомо, проведет контрабандою через заднюю дверь; и что распределение, как общественное явление, он не выведет из производства и обмена, а просто предоставит его на благоусмотрение своим знаменитым двум лицам, для окончательного решения. А так как все это — уже давно нам знакомые приемы, то можно ограничиться лишь их кратким разбором.

Так, г. Дюринг уже на второй странице заявляет нам, что его экономия основывается на том, что «установлено» в его философии, и «опирается в некоторых существенных пунктах на иерархически высшие и уже порешенные в высшей области исследований истины». Повсюду все то же надоедливое самовосхваление. Повсюду торжество г. Дюринга по поводу установленного и порешенного г. Дюрингом. Действительно «порешенного», в этом мы достаточно убедились...

Вслед затем мы узнаем о «самых общих естественных законах всякого хозяйства» — значит, мы верно угадали. Но эти естественные законы допускают правильное понимание протекшей истории лишь в том случае, если их «исследуют в связи с теми результатами, которые являются следствием влияния политических форм подчинения и группировок. Такие учреждения, как рабство и наемная кабала, к которым присоединяется их родная сестра, насильственная собственность, должны быть рассматриваемы как формы социально-экономического строя чисто политического характера — сфера, внутри которой до сих пор только и могут проявлять свои действия хозяйственно-естественные законы».

Это положение есть трубный звук, который, словно вагнеров-ский лейтмотив, возвещает нам шествие двух пресловутых лиц. Но оно представляет и нечто большее, именно основную тему всей дюринговой книги. При обсуждении права г. Дюринг не сумел нам дать ничего, кроме плохого переложения на социалистический язык теории равенства Руссо, гораздо лучшие образцы которого можно услышать в каждом парижском кабачке, посещаемом рабочими. Здесь же он дает нам нисколько не лучший социалистический пересказ жалоб экономистов относительно искажения вмешательством государства, путем насилия, вечных экономических естественных законов и их следствий. Тем самым он заслуженно оказывается одиноким среди социалистов. Каждый рабочий-социалист, какой бы то ни было национальности, очень хорошо знает, что насилие только охраняет эксплоатацию, но не создает ее; что отношение капитала и наемного труда является основанием его эксплоатации и что последняя возникла чисто экономически, а вовсе не путем насилия.

Далее мы узнаем, что во всех экономических вопросах «можно различать два процесса — процесс производства и процесс распределения». Кроме них, известный своей поверхностью Ж.-Б. Сэй насчитывал еще третий процесс,— потребления, но не сумел, как и его последователь, сказать по поводу его ничего умного. Обмен же, или обращение, представляет только подразделение производства, к которому относится все, что должно совершиться для того, чтобы продукты попали к последнему, настоящему потребителю. Если г. Дюринг позволяет себе соединять в одну кучу два по существу различные, хотя и взаимно обусловливаемые процесса: производства и обращения, и совершенно бесцеремонно утверждает, что устранение этой путаницы может «только породить путаницу», то он этим лишь доказывает, что не знает или не понимает того колоссального развития, которое получило обращение товаров за последние пятьдесят лет, что, впрочем, подтверждается и всей его книгой. Этого недостаточно. Соединяя вместе производство и обмен, под именем производства, он ставит рядом с производством распределение, как второй, совершенно посторонний процесс, который не имеет ничего общего с первым. Но мы видим, что распределение в главных своих чертах всегда является необходимым результатом существующих способов производства и обмена в данном обществе, а также и исторических предпосылок данного общества; зная последние, можно с достоверностью предугадать и характер господствующего в данном обществе способа распределения. Теперь же мы видим, что г. Дюринг, если не желает изменить основным положениям, «установленным» в его учении о нравственности, праве и истории, должен отрицать этот элементарный исторический факт и, в частности, должен отрицать его в том случае, когда решается ввести контрабандой в политическую экономию своихт двух, необходимых ему, субъектов. Только после того, как г. Дюрингу удалось лишить распределение всякой связи с производством и обменом, может, наконец, совершиться это великое событие.

Вспомним, однако, сначала, как происходило дело с рассмотрением вопроса о нравственности и праве. Здесь г. Дюринг начал сперва с одного только человека; он сказал: «Человек, поскольку мы его представляем одиноким или, что то же, стоящим вне всякой связи с другими, не может иметь обязанностей. Для него существует не долженствование, а только хотение». Но что же представляет собою этот не знающий обязанностей человек, как не рокового «пра-иудея Адама» в раю, в котором он не знал греха только потому, что не мог совершить его? Однако этому Адаму, созданному философией действительности, предстоит грехопадение. Внезапно рядом с этим Адамом появляется не Ева с волнистыми локонами, а второй Адам. И тотчас же на Адама возлагаются обязанности, которые он и нарушает.

Вместо того, чтобы прижать к своей груди своего брата как равноправного, он подчиняет его своему господству, порабощает его,— и от последствий этого первого греха, от

наследственного греха порабощения, терпит вся всемирная история вплоть до нынешнего дня, почему, по мнению г. Дюринга, она и не стоит медного гроша.

Между прочим, г. Дюринг думал, что наградил достаточным презрением «отрицание отрицания», назвав его копией со старой истории грехопадения и искупления, но в таком случае что же мы должны сказать об его собственном новейшем издании той же истории: (Ибо современем мы «доберемся»—пользуясь выражением одного рептильного органа печати — и до искупления.) Во всяком случае мы предпочитаем старое семитское сказание, согласно которому для мужчины и женщины все-таки имело некоторый смысл, лишиться состояния невинности, между тем как за г. Дюрингом останется вне конкурса слава человека, сконструировавшего свое грехопадение при помощи двух мужчин.

Итак, послушаем переложение предания о грехопадении на экономический язык:

«Для идеи производства может во всяком случае служить пригодной логической схемой представление о Робинзоне, который изолированно противостоит со своими силами природе и не вынужден делить что-либо с кем-либо... Столь же целесообразной, для олицетворения существеннейшего в идее распределения, является логическая схема двух лиц, хозяйственные силы которых комбинируются и которые, очевидно, должны в той или иной форме сталкиваться друг с другом в вопросе о долях в продуктах того и другого. Действительно, нет никакой нужды в чем-либо еще, кроме этого простого дуализма, чтобы вполне строго представить себе некоторые из важнейших отношений распределения и изучить эмбрионально их законы в их логической необходимости... Совместная деятельность на условиях равноправия столь же мыслима в этом случае, как и комбинация сил, приводящая к полному подчинению одного человека другому, которое в таком случае превращает подчиненного человека в раба или в простое орудие для хозяйственных услуг, и существование его поэтому поддерживается лишь в качестве такого орудия... Между состоянием равенства и состоянием ничтожества, с одной стороны, и всемогуществом и единственно-активной деятельностью — с другой, находится целый ряд промежуточных ступеней, заполнить которые пестрым многообразием постарались события всемирной истории. Существенным предварительным условием является здесь общий взгляд на различные учреждения права и бесправия в истории...», и, в конце концов, все распределение превращается в «экономическое право распре-деления».

Теперь, наконец, г. Дюринг вновь имеет твердую почву под ногами. Рука об руку со своими двумя мифическими лицами, он может бросить вызов своему веку. Но за этим тройным созвездием стоит еще некто не названный.

«Капитал не изобрел прибавочного труда. Повсюду, где одна часть общества владеет монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен к рабочему времени, необходимому для его содержания, прибавлять излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства, будет ли этот собственник афинский […], этрусский теократ, civis romanus (римский гражданин), норманский барон, американский рабовладелец, валахский боярин, современный лэндлорд или капиталист» (Marx, Kapital, I. 2. Auf-lage, p. 227).

После того как г. Дюринг, таким образом, узнал, что составляет основную форму эксплоатации, общую всем существовавшим до сих пор формам производства,— поскольку они движутся в классовых противоположностях,— ему осталось только привлечь к решению этого вопроса своих двух вышеуказанных лиц, чтобы выработать коренные основы политической экономии. Он ни на минуту не колеблется выполнить эту

«системосозидающую идею». Исходной точкой является здесь работа без эквивалента, длящаяся за пределы рабочего времени, необходимого для поддержания жизни самого работника. Итак, Адам, который здесь носит имя Робинзона, заставляет второго Адама, Пятницу, бодро приняться за работу. Почему же Пятница работает долее, чем необходимо для его пропитания? И на этот вопрос находится отчасти ответ у Маркса. Но для двух лиц процесс выработки условий, необходимых для такой работы, чересчур долгая музыка. Дело улаживается на скорую руку: Робинзон подчиняет Пятницу», принуждает его «как раба или рабочее орудие исполнять хозяйственные услуги» и содержит его «также только как орудие». Подобным «новейшим творческим оборотом» г. Дюринг, словно хлопушкой, убивает разом двух мух. Во-первых, он сберегает себе труд разъяснить различные, имевшие до сих пор место, формы распределения, их различия и их причины: они все просто никуда не годятся, они покоятся на насильственном подчинении. Об этом мы вскоре поговорим. Во-вторых, всю теорию распределения он переносит с экономической почвы на почву морали и права, т. е. с почвы твердых материальных фактов на более или менее шаткую почву мнений и чувствований. Ему, таким образом, приходится уже не исследовать или доказывать, но только свободно декламировать, и поэтому он смело выставляет требование, чтобы распределение продуктов труда совершалось не сообразно действительным экономическим причинам, но согласно с тем планом, который представляется г. Дюрингу нравственным и справедливым. Однако то, что представляется справедливым г. Дюрингу, отнюдь не является неизменным началом, а следовательно, оно далеко от того, чтобы быть настоящей истиной. Ведь последняя, по мнению г. Дюринга, «вообще неизменна». В 1868 г. он писал («Die Schicksale meiner socialen Denkscbrift»): «Тенденцией всякой высшей цивилизации является то, что собственность получает все более резкое выражение, и в этом-то, а не в смешении прав и сфер господства заключается сущность и будущее современного развития». И далее он никак не мог постигнуть, «каким образом преобразование наемного труда в какую-либо новую форму добывания средств к жизни может быть когда-либо согласовано с законами человеческой природы и естественно-необходимым расчленением общественного организма». Итак, в 1868 г.— частная собственность и наемный труд естественно-необходимы и потому справедливы; а в 1876 г. то и другое — следствие насилия и «грабежа», стало быть несправедливо. И нет никакой возможности узнать, что именно столь бурно-стремительному гению через несколько лет будет казаться нравственным и справедливым. И мы поступим во всяком случае лучше, если, рассуждая о распределении богатств, будем держаться действительных, объективных экономических законов, а не мимолетного, изменчивого, субъективного представления г. Дюринга о справедливости и несправедливости.

Если бы наша уверенность относительно предстоящего преобразования современного способа распределения продуктов труда, с его вопиющими противоречиями, нищетой и роскошью, голодом и изобилием, опиралась только на сознание, что этот способ распределения несправедлив и что справедливость должна, наконец, когда-нибудь восторжествовать, то наше дело было бы плохо, и нам пришлось бы долго ждать такого преобразования. Средневековые мистики, мечтавшие о близком наступлении тысячелетнего царства, уже сознавали несправедливость классовых противоречий. На заре новой истории, 350 лет назад, Томас Мюнцер громко на весь свет высказал это. Во время английской и французской буржуазных революций раздается тот же призыв, и — затихает. Чем же объясняется, что этот призыв к отмене классовых противоречий и классовых различий, который до 1830 года не встречал отклика в трудящихся и страждущих массах, теперь вызывает сочувствие миллионов рабочих и идея классовой борьбы переходит из одной страны в другую, притом в той самой последовательности и с тою же интенсивностью, с которой в отдельных странах развивается крупная промышленность? Наконец, мы видим, что в период, захватывающий собою не более одного поколения, эта классовая борьба приобрела такую мощь, что может противостоять

всем объединившимся против нее силам и внушать рабочим уверенность в победе в близком будущем. Как объяснить все это? Это объясняется тем, что современная крупная индустрия создала, с одной стороны, пролетариат, класс, который впервые в истории может выставить требование отмены не той или иной особенной классовой организации, не той или иной специальной классовой привилегии, но вообще разделения общества на классы, и который поставлен в такое положение, что он должен провести это требование под угрозой, в противном случае, впасть в состояние китайских кули. Затем, с другой стороны, та же крупная промышленность создала, в лице буржуазии, класс, который владеет монополией всех орудий производства и жизненных средств, но который, в каждый период спекуляции и следующего за ним краха, доказывает, что он стал неспособным к дальнейшему господству над силами производства, переросшими его власть; класс, под руководством которого общество идет навстречу катастрофе,— как локомотив, у которого машинист не имеет сил открыть предохранительный клапан. Другими словами, отмеченный факт объясняется тем, что созданные современным капиталистическим способом производства производительные силы и выработанная им система распределения благ находятся в вопиющем противоречии с этим самым способом производства, притом в такой степени, что преобразование способа производства и распределения, устраняющее все классовые различия, должно совершиться непременно, под угрозой гибели всего общества. В этом очевидном материальном факте, который в более или менее ясной форме и с непреодолимой необходимостью проникает в сознание эксплоатируемых пролетариев,— в этом факте, а не в представлениях того или другого кабинетного мыслителя о праве или бесправии, коренится уверенность современного социализма в его предстоящем торжестве.

II. ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ.

«Отношение общей политики к формам хозяйственного права выражено в моей системе так определенно и вместе своеобразно, что для облегчения изучения будет нелишним сделать на него особое указание. Форма политических отношений составляет основу истории, экономическая же зависимость есть явление производное или частный случай, а потому всегда остается второстепенным фактом. Некоторые из новейших социалистических систем, принимая за руководящий принцип бросающиеся в глаза проявления совершенно извращенных отношений, выводят политические учреждения, как бы второстепенные и подчиненные, из отношений экономических. Но хотя эти второстепенные экономические отношения, как таковые, производят, конечно, свое действие и в настоящее время особенно дают себя чувствовать, тем не менее первоначальный фактор надо искать в непосредственной политической силе, а не в косвенном действии экономического могущества». Точно так же и в другом месте г. Дюринг «исходит из того положения, что политическое состояние есть решающая причина экономических отношений, обратное же влияние представляет лишь отраженное действие второстепенного порядка... Пока же не примут политическую группировку за самостоятельную и самодовлеющую точку исхода, а будут относиться к ней исключительно как к средству для удовлетворения потребностей желудка, до тех пор люди, придерживающиеся таких воззрений, останутся до некоторой степени скрытыми реакционерами, какими бы радикалами-социалистами и революционерами они ни казались».

Такова теория г. Дюринга. Как здесь, так и во многих других местах она провозглашается без доказательств, так сказать, декретируется. О какой-нибудь попытке доказать ее или опровергнуть противоположные воззрения нет и речи в его трех толстых книгах. Будь доказательства дешевле грибов, г. Дюринг и тогда не подарил бы нам ни единого. Все относящееся к этому вопросу прекрасно доказано уже знаменитым грехопадением

Робинзона, поработившего Пятницу. Действие это было насильственным,— следовательно политическим. А так как порабощение Пятницы послужило исходным пунктом, основным фактом всей истории человечества и до такой степени заразило ее первородным грехом несправедливости, что во все последующие периоды порабощение только смягчалось, «переходя в более косвенные формы зависимости»; так как на этом же первобытном порабощении покоится и вся современная «насильственная собственность», то становится очевидным, что экономические явления могут быть объяснены только политическими причинами, и именно насилием. Кто не довольствуется таким доказательством, тот скрытый реакционер.

Заметим сперва, что только при дюринговой влюбленности в самого себя этот взгляд мог показаться ему столь «своеобразным». Воззрение, по которому судьбы истории решаются политическими действиями правителей и государств, так же старо, как сама писаная история, и было главной причиной недостаточности дошедших до нас сведений о действительном историческом двигателе: о развитии народов, тихо совершавшемся на заднем плане этой шумной сцены. Всеобщее господство такого воззрения на историю было впервые поколеблено лишь французскими буржуазными историками, времен реставрации. «Своеобразно» тут лишь то, что г. Дюринг обо всем этом ничего не знает.

Далее: допустим даже на минуту, что г. Дюринг прав, что вся прошедшая история сводится к порабощению человека человеком; это все-таки далеко еще не разъясняет нам сущности дела. У нас тотчас же рождается вопрос: зачем же Робинзон порабощал Пятницу? Ради одного удовольствия? Конечно, нет! Мы видели, наоборот, что «Пятница принуждался к хозяйственным работам как раб или как простое орудие, да и содержался как орудие». Робинзон именно затем и поработил Пятницу, чтобы заставлять его работать в свою пользу. А как может Робинзон извлекать пользу из работы Пятницы? Это возможно только благодаря тому, что Пятница производит своим трудом больше средств существования, чем Робинзон должен давать ему для восстановления его рабочей силы. Оказывается, что вопреки точному предписанию г. Дюринга Робинзон «принял политическую группировку», возникшую вследствие порабощения Пятницы, «не за самодовлеющую точку исхода», а исключительно «за средство для удовлетворения потребностей желудка». Пусть же он сам разделывается как знает со своим господином и учителем, г. Дюрингом! Таким образом, детский пример, нарочито измышленный г. Дюрингом ради возведения насилия в «основу материи», доказал, наоборот, что насилие служит только средством, цель же заключается в приобретении экономических выгод. Насколько цель существеннее средств, употребленных для ее достижения, настолько же в истории экономическая сторона отношений существеннее политической. Пример доказывает, следовательно, как раз обратное тому, что требовалось доказать. И в каждом случае господства и порабощения происходит то же, что у Робинзона с Пятницей. Порабощение всегда служило, употребляя элегантное выражение г. Дюринга, «средством для удовлетворения потребностей желудка» (принимая эти потребности в самом широком смысле слова), но никогда и нигде не являлось самодовлеющей политической группировкой. И надо быть г. Дюрингом, чтобы вообразить, будто налоги составляют в государстве вещь второстепенную или что современная «политическая группировка» господствующей буржуазии и порабощенного пролетариата существует ради самой этой группировки, а не для удовлетворения потребностей желудка буржуазии, т. е. не для получения прибыли и не для накопления капитала.

Возвратимся, однако, к нашим молодцам. Робинзон «со шпагою в руках» обращает Пятницу в своего раба. Но для этого, кроме шпаги, Робинзону нужно еще кое-что. Не всякий может воспользоваться трудом раба. Чтобы извлекать из него пользу, необходима заранее приготовить, во-первых, материалы и орудия труда, во-вторых, средства для

скудного пропитания раба. Прежде чем рабство делается возможным, необходимы, следовательно, известная ступень производства и некоторое неравенство в распределении. Для того же, чтобы рабский труд сделался господствующим способом производства в целом обществе, общество должно достигнуть гораздо высшего развития производства, торговли и накопления богатств. В древних первобытных обществах с общинным землевладением рабство или вовсе не существовало или играло самую второстепенную роль. Так было в древнем крестьянском городе Риме. Когда же Рим стал, наоборот, «всемирным городом», землевладение в Италии все более и более сосредоточивалось в руках малочисленного класса богатейших собственников,— ее крестьянское население было вытеснено населением рабов. Если во времена персидских войн в. Коринфе насчитывалось до 460 000. а в Эгине до 470 000 рабов, так что на каждого свободного жителя их приходилось по десяти, то для этого требовалось нечто большее, чем «насилие», а именно высокое развитие искусства и ремесел и обширная торговля. В Северо-Американских Соединенных Штатах рабство опиралось не столько на насилие, сколько на английскую хлопчатобумажную промышленность: оно процветало в хлопчатобумажных штатах, да в пограничных, занимавшихся разведением рабов на продажу; в остальных же местностях, где хлопок не родится, оно исчезло само собой, без всякого вмешательства силы,— просто потому, что оно не окупалось.

Г-н Дюринг перевертывает, стало быть, вверх дном действительное отношение, называя современную собственность насильственною и определяя ее как «форму господства, основанную не только на исключении ближних из пользования природными средствами существования, но, что еще гораздо важнее, на насильственном принуждении людей к подневольному труду». При всяком принуждении людей к подневольному труду, во всех его формах, необходимо предположить, что тот, кто принуждает, предварительно запасся орудиями труда, без которых не мог бы воспользоваться принуждением; при рабстве же в собственном смысле необходимо, кроме того, запастись средствами для поддержания существования рабов. Во всяком случае, следовательно, предполагается уже известное имущество, превышающее средний размер. Откуда же взялось оно? Ясно, что его источником мог быть грабеж, а следовательно — насилие, но в этом нет никакой необходимости. Имущество могло быть создано трудом или украдено, приобретено торговлей или обманом. Оно даже должно быть создано трудом, прежде чем явится возможность приобрести его насилием.

Вообще возникновение частной собственности в истории ни в каком случае не было результатом обмана и насилия. Наоборот. Она существует уже в древних, первобытных общинах всех культурных народов, хотя п простирается лишь на известные предметы. Уже в этих общинах она развивается путем внешнего обмена в форме товара. И чем более продукты общины принимают товарную форму, т. е. чем менее производится для собственного потребления производителей и чем более на продажу, тем скорее внутри самой этой общины первобытное, естественно выросшее разделение труда вытесняется обменом; тем неравномернее становится имущественное положение отдельных членов; тем глубже подрывается общинное землевладение; тем скорее превращается сельская община в деревню мелких собственников-крестьян. Восточный деспотизм и «меняющееся господство кочующих завоевателей в течение целых тысячелетий не могли уничтожить древнего общинного быта; крупная же промышленность, постепенно подрывающая естественно выросшие сельские ремесла, разлагает этот быт все более и более. Тут так же мало может быть речи о насилии, как и при до сих пор совершающихся разделах общинных земель на Мозеле и в Гох-вальде; крестьяне сами находят для себя выгодным заменить общинное землевладение частной собственностью. Даже образование, на почве общинного землевладения, первобытной аристократии опирается вначале вовсе не на насилие, а на привычку и добровольное подчинение, как это было у кельтов, германцев и

в индийском Пенджабе. Частная собственность всегда образуется лишь там, где вследствие изменившихся условий производства и обмена введение ее нужно для усиления производства и расширения торговых сношений; следовательно, она создается экономическими причинами. Насилие не играет тут никакой роли. Само собою понятно, что институт частной собственности должен существовать раньше, чем грабитель получит возможность присваивать себе чужое имущество; что, следовательно, насилие может только перемещать имущество из одних рук в другие, но не порождать частную собственность как таковую.

Нам нет также надобности ни в насилии, ни в насильственной собственности, чтобы объяснить «принуждение людей к подневольному труду» в его современной форме труда по найму. Мы уже упоминали о том, какую роль в разложении общинного быта, а следовательно в прямом или косвенном распространении частной собственности, играло превращение продуктов труда в товары и их производство не для собственного потребления, а на продажу. Маркс же в «Капитале», как нельзя яснее, доказал,— хотя г. Дюринг и остерегается проронить об этом хоть слово,— что на известной ступени своего развития товарное производство превращается в капиталистическое и что на этой ступени «закон присвоения, или закон частной собственности, основывающийся на производстве и обмене товаров, обращается, в силу присущей ему внутренней, неизбежной диалектики, в свою прямую противоположность. Обмен эквивалентов, являвшийся первоначальною сделкою, до такой степени извратился, что мена совершается теперь только кажущимся образом, так как, во-первых, часть капитала, обменивающегося на рабочую силу, есть только часть продукта чужого труда, присвоенного без соответственного эквивалента, а во-вторых, она должна быть не только возвращена своим производителем — рабочим, но возвращена с новой прибавкою... Первоначальное право собственности являлось основанным на собственном труде... Теперь же (в конце указанного Марксом развития) собственность является для капиталиста правом, присвоения чужого неоплаченного труда или продукта его, а для рабочего она является невозможностью присвоить себе свой собственный продукт. Отделение собственности от труда становится необходимым следствием закона, исходящего, повидимому, из их тожества». Другими словами: даже в том случае, если мы исключим всякую возможность грабежа, насилия и обмана, если мы допустим, что всякая частная собственность первоначально основывалась на лич-ном труде собственника и что затем во все дальнейшее время только равные стоимости обменивались на равные, то все-таки, с дальнейшим развитием производства и обмена, мы необходимо придем к современному капиталистическому способу производства; к монополизированию производительных средств и средств существования в руках одного малочисленного класса; к пригнетению другого, составляющего неисчислимое большинство, класса до положения лишенных всякой собственности пролетариев; к периодической смене производительной горячки и торговых кризисов и ко всей современной анархии в производстве. Весь процесс объяснен из причин чисто экономических, причем ни разу не встретилось надобности в грабеже, насилии, государстве или каком-нибудь ином политическом вмешательстве. «Насильственная собственность» и тут оказывается не «более, как громкой фразой, скрывающей непонимание действительного хода вещей.

Выраженный исторически, ход этот представляет собою историю развития буржуазии. Если «политические отношения являются решающей причиной экономического строя», то современная буржуазия должна была бы явиться не результатом борьбы с феодализмом, но его добровольным порождением. Всякий знает, что в действительности произошло как раз обратное. Вначале угнетенное сословие, обязанное платить оброк господствующему феодальному дворянству, пополняющее свои ряды выходцами из крепостных и других несвободных людей, буржуазия в беспрерывной борьбе с дворянством завоевывала у него

один важный пост за другим, пока в наиболее развитых странах не стала на его место в качестве господствующего сословия, причем во Франции она открыто низвергла дворянство, а в Англии постепенно обуржуазила его и присоединила к себе в качестве почетного украшения. А каким образом достигла она этого? Простым изменением «экономического положения», за которым раньше или позже, добровольно или с бою шло изменение политических отношений. Борьба буржуазии против феодального дворянства была борьбою города против деревни, промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального, и решительнейшим оружием буржуазии в этой борьбе было ее постоянно возраставшее экономическое могущество, заключавшееся в развитии сперва ремесленной, потом мануфактурной промышленности, а также в расширении торговых сношений. В течение всей этой борьбы политическая сила была на стороне дворянства, за исключением одного периода, когда королевская власть употребляла буржуазию против дворянства с намерением ослабить одно сословие посредством другого. Но с того момента, когда все еще политически бессильные горожане начали становиться опасными своим растущим экономическим могуществом, королевская власть снова соединилась с дворянством и вызвала этим революцию буржуазии сперва в Англии, потом во Франции. В этой последней стране «экономическое положение» давно переросло «политические отношения», оставшиеся без изменений. По своим политическим правам французское дворянство было всем, а буржуазия ничем, тогда как по своему общественному положению буржуазия была уже важнейшим классом в государстве, а дворянство, утерявши все свои общественные функции, продолжало только получать за них плату в виде доходов. Кроме того, все буржуазное производство оставалось втиснутым в феодальные средневековые политические формы, из которых давно выросли даже ремесла, не только мануфактура; оно оставалось скованным бесчисленными цеховыми привилегиями, служившими теперь только для стеснений и кляуз, а также местными и провинциальными таможнями. Буржуазия покончила с этим посредством революция. Но она поступала не по основному закону г. Дюринга, она не приспособляла экономического положения к политическим учреждениям: над этим долго и напрасно трудились дворянство и королевская власть; буржуазия же, наоборот, выбросила всю старую, истлевшую политическую рухлядь и создала на ее месте такие политические учреждения, при которых могло существовать и развиваться новое «экономическое положение». И оно блистательно развилось в приспособленной к нему политической и правовой атмосфере, так блистательно, что буржуазия уже не далека от того положения, какое занимало дворянство в 1789 году; она не только становится бесполезной, но все сильнее и сильнее препятствует общественному развитию; она все более и более устраняется от производительной деятельности и становится, как в былые времена дворянство, классом людей, единственное назначение которых заключается в получении доходов; и этот переворот в своем собственном положении, а также создание нового класса пролетариев буржуазия совершила без всяких насильственных фокусов, чисто экономическим путем. Даже более. Она вовсе не желала таких результатов своей собственной деятельности; наоборот, они с непреодолимой силой вторглись в жизнь против ее воли и намерений; ее собственные производительные силы переросли ее руководство и с неумолимостью самой природы гонят теперь все буржуазное общество к гибели или к перевороту. И если буржуа взывают теперь к силе, чтобы спасти разрушающееся экономическое положение, то этим они доказывают только, что разделяют заблуждение г. Дюринга, будто «политическое состояние составляет решающую причину экономического положения». Точь-в-точь как г. Дюринг, они воображают, что посредством «первоначального фактора», «непосредственной политической силы», можно переделать «второстепенные экономические явления» и изменить непреложный ход их развития, что крупповскими пушками и маузеровскими ружьями можно отстреляться от экономического действия паровых машин, всемирной торговли, банков и кредита.

III. ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Рассмотрим, однако, поближе это всемогущее насилие г. Дюринга. Робинзон «со шпагою в руке» порабощает Пятницу. Откуда, взял он шпагу? Г-н Дюринг обходит этот вопрос полнейшим молчанием, на деревьях же шпаги пока не растут, даже на фантастических островах Робинзонов. Если Робинзон мог достать себе шпагу, то мы с тем же вероятием можем допустить, что в одно прекрасное утро Пятница является с заряженным револьвером в руке, и соотношение сил сразу изменяется: Пятница начинает командовать, а Робинзон — работать. Мы просим извинения у читателей за постоянные возвращения к истории Пятницы и Робинзона, уместной только в детской, а никак не в науке. Но что же делать? Мы вынуждены добросовестно применять аксиоматический метод г. Дюринга, и не наша вина, если, при этом постоянно приходится оставаться в области чистейшего ребячества. Итак, револьвер побеждает шпагу, а отсюда даже ребенок поймет, что сила зависит далеко не от одного желания иметь ее, а требует для своего проявления очень реальных предварительных условий, именно орудий, из которых более совершенные берут верх над менее совершенными. Ясно также, что эти орудия должны быть произведены и что более искусные производители орудий насилия, или, попросту, оружия, победят производителей менее искусных; что, одним словом, победа той или другой силы зависит от производства оружия, а это последнее, в свою очередь, от производства вообще, следовательно от «экономического могущества», от состояния народного хозяйства, от материальных средств, находящихся в распоряжении силы.

Сила в настоящее время, это — армия и военный флот, стоящие массы денег, как мы все, к сожалению, отлично знаем. Но сила не делает денег, и самое большее, что она может, это —отнимать уже готовые деньги, да и то без особенной пользы, как мы тоже, к сожалению, узнали из опыта с французскими миллиардами. Деньги, следовательно, должны быть, в конце концов, доставлены экономическим производством, а значит, и сила определяется положением народного хозяйства, доставляющего ей средства для приобретения и содержания ее орудий. Мало того. Ничто не зависит до такой степени от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия находятся в прямой зависимости от данной степени развития производства и средств сообщения. Не «свободное творчество ума» гениальных полководцев совершало перевороты в этой области, а изобретение лучшего оружия и изменение в составе армий; влияние гениальных полководцев в лучшем случае ограничивалось лишь приспособлением способа войны к новому оружию и новым бойцам.

В начале XIV столетия порох от арабов проник в Западную Европу и — как это известно каждому школьнику — произвел переворот во всех отраслях военного дела. Но введение пороха и огне-стрельного оружия было во всяком случае произведено не насилием, а промышленным, т. е. экономическим, прогрессом. Промышленность остается промышленностью, служит ли она производству или разрушению предметов. Введение же огнестрельного оружия подействовало преобразующим образом не на одно собственно воен-ное дело, но также на политические отношения подчинения и господства. Для приобретения пороха и огнестрельного оружия требовались промышленность и деньги, а этими двумя вещами владели горожане. Поэтому огнестрельное оружие стало с самого начала оружием горожан и возвышавшейся при их поддержке монархии против феодального дворянства. Неприступные до тех пор каменные твердыни дворянских замков пали перед пушками горожан, а пули их винтовок пробили рыцарские латы. Вместе с одетой в броню кавалерией дворянства была разбита и его власть; с развитием городского мещанства пехота и артиллерия начали составлять все более и более

существенную часть войска, артиллерия же заставила присоединить к военному ремеслу чисто промышленный отдел — инженерную часть.

Огнестрельное оружие совершенствовалось очень медленно. Пушки оставались тяжелыми и неуклюжими, ружейный ствол — грубым, несмотря на многие отдельные усовершенствования. Прошло более трехсот лет, прежде чем ружье было усовершенствовано настолько, что могло быть пригодным для вооружения всей пехоты. Только в начале XVIII столетия кремневое ружье со штыком окон-чательно вытеснило пику из вооружения пехоты. Тогда пехота со-стояла из усиленно муштруемых, но весьма ненадежных солдат, которых только палка могла держать в порядке. Их вербовали среди худших элементов общества, часто даже принуждали сражаться военнопленных врагов, и единственной формой борьбы, при которой возможно было употреблять огнестрельное оружие с такими солдатами, была линейная тактика, достигшая совершенства при Фридрихе II. Вся пехота армии строилась тремя линиями в очень длинный, пустой внутри четырехугольник и двигалась в боевом порядке только как одно целое; в крайних случаях дозволялось тому или другому флангу выдвинуться немного вперед или отступить. Эта неуклюжая масса могла подвигаться в порядке только по совершенно ровной местности, да и то довольно медленно (75 шагов в минуту); перемена боевого порядка во время сражения была невозможна, и победа или поражение быстро решались одним ударом, как только пехота вступала в дело.

Эти-то, неуклюжие шеренги встретились в американской войне за независимость с толпами повстанцев, которые, правда, не учились маршировать, но прекрасно стреляли из своих винтовок, сражались за свое собственное дело, а потому не дезертировали, как навербованные солдаты, и к тому же не имели любезности выстраиваться линиями и вступать в бой с англичанами в открытых местностях, но, наоборот, нападали на них в лесах, рассыпаясь мелкими подвижными отрядами стрелков. При таких обстоятельствах длинные шеренги оказались совершенно бессильными и пали под ударами невидимых и недосягаемых врагов. Изменившийся состав войска вызвал новый способ войны — рассыпной стрелковый строй.

Дело, начатое американской революцией, было дополнено французской также и в военной области. Опытным вербованным войскам коалиции она точно так же могла противопоставить лишь неопытное, но многочисленное ополчение целой нации. С этой массой было необходимо, однако, защищать Париж, т. е. охранять определенную область, что не могло быть выполнено без победы над неприятельским войском в открытом поле. Одних стрелковых отрядов тут было недостаточно; требовалось найти новую форму для употребления в дело, и она была найдена в колонне. Построение колоннами позволяло даже неопытным войскам двигаться в порядке и притом с ускоренной быстротою (100 шагов и более в минуту), оно позволяло разрывать старые окаменелые формы линейного строя и сражаться на любой, совершенно неудобной для линий, местности, группировать солдат сообразно с обстоятельствами и, в соединении со стрелковыми отрядами, задерживать неприятельские линии, занимать их, утомлять, чтобы прорвать, наконец, в решительном пункте оставшимися в резерве массами. Этот новый способ войны, основанный на соединении стрелков с колоннами и на разделении армии на самостоятельные, составленные из всех родов оружия отряды или корпуса, был в тактическом и стратегическом отношении доведен до совершенства Наполеоном, но необходимость его была создана французской революцией, изменившей свойства солдат. Его подготовили также два очень важных технических усовершенствования: во-первых, более легкие лафеты, построенные Грибовалем для полевых орудий, позволили передвигать их с требуемой быстротой; во-вторых, введенная во Франции в 1776 году и заимствованная у охотничьих ружей изогнутость приклада, составлявшего прежде прямое

продолжение ствола, дала возможность целить и попадать-в отдельных людей. Без этих усовершенствований нельзя было бы при помощи старого ружья применить стрельбу в рассыпном строю.

Революционная система всеобщего вооружения была скоро ограничена принудительным набором (с правом замещения, посредством выкупа, для людей состоятельных) и в этой форме принята большинством великих держав континента. Одна Пруссия своей системой ландвера старалась извлечь из народа еще большую массу боевых сил. Она же первая снабдила свою пехоту новейшими нарезными ружьями, заряжающимися с казенной части, после краткой роли, сыгранной между 1830 и 1860 гг. нарезными ружьями, заряжающимися с дула. Этим двум мерам Пруссия обязана своим успехом 1866 года.

Во франко-прусской войне в первый раз встретились два войска,, оба вооруженные нарезными ружьями, заряжающимися с казенной части, и оба придерживавшиеся в существенных чертах одной и той же тактики, оставшейся от времен старых гладкоствольных кремневых ружей. Пруссаки попытались, правда, найти в ротных колоннах форму строя, более соответствующую новому вооружению. Но при первом же серьезном испытании ротных колонн, 18 августа при С.-Прива, в пяти принимавших наибольшее участие в деле полках прусской армии за два часа битвы из строя выбыло более трети людей (176 офицеров и 5114 солдат), и с тех пор ротные колонны были так же безвозвратно осуждены, как батальонные колонны и линии; всякие попытки выставлять под неприятельский ружейный огонь какие бы то ни было сомкнутые массы войск были оставлены, и со стороны немцев сражения велись исключительно густыми стрелковыми цепями, на которые, несмотря на сопротивление высших чинов, вначале боровшихся с подобным «беспорядком», сами собою обыкновенно распадались колонны, как только попадали под убийственный град пуль. Точно так же беглый шаг стал теперь единственно возможным под ружейным огнем неприятеля. Солдат опять оказался разумнее офицера; он инстинктивно нашел единственную форму борьбы, возможную под огнем заряжающихся с казенной части ружей, и успешно повел ее вопреки упорству своих начальников.

Со времени франко-прусской войны наступил новый период в военном деле, имеющий совсем иное значение, чем все предыдущие. Во-первых, оружие до такой степени усовершенствовалось, что никакой дальнейший прогресс в этом направлении не может уже иметь решающего влияния. При пушках, ядра которых настигают батальон на таком далеком расстоянии, на каком он только может быть видим, при ружьях, дающих возможность попадать в отдельных людей при тех же условиях и требующих для заряда меньше времени, чем для прицела, всякие дальнейшие усовершенствования в полевом военном деле более или менее безразличны. С этой стороны период развития в существенных чертах уж закончен. Во-вторых, эта война принудила все большие континентальные державы ввести у себя усиленную систему прусского ландвера и тем самым взвалить на свои плечи такую тяжесть милитаризма, которая раздавит их в самое непродолжительное время. Армия стала главнейшей и самостоятельной целью государства; народы продолжают существовать лишь для того, чтобы поставлять и кормить солдат. Милитаризм господствует над Европой и пожирает ее. Но этот милитаризм носит в себе же зародыш своего собственного уничтожения. Соперничество между отдельными государствами вынуждает их, с одной стороны, затрачивать с каждым годом все больше денег на армию, флот, артиллерию и т. д., а следовательно все более и более приближаться к финансовому кризису; с другой стороны, оно вынуждает их знакомить, путем всеобщей воинской повинности, все большее и большее число подданных с употреблением оружия, пока они не ознакомят с ним весь народ и не сделают его способным противопоставить, в известный момент, свою волю воле своих

военных командиров. И этот момент наступит тотчас же, как только народная масса, — масса сельских и городских рабочих и крестьян, — будет иметь свою волю. Тогда правительственное войско превратится в народное, машина откажется служить, и милитаризм разобьется о диалектику своего собственного развития. То, чего не могла совершить буржуазная демократия 1848 г., потому что она была демократией буржуазии, а не пролетариата, — именно дать рабочим массам сознательные стремления, волю, соответствующую их классовому положению, — будет несомненно достигнуто социализмом. А это означает разложение милитаризма, а с ним и всех постоянных армий извнутри.

Такова одна мораль нашей истории современной пехоты. Вторая, снова возвращающая нас к г. Дюрингу, заключается в том, что вся организация армии и способа борьбы, а вместе с ними победы и поражения оказываются зависящими от материальных, т. е. экономических, условий, от свойств людей и оружия, следовательно — от качества и количества населения и от развития техники. Только охотничье население Америки могло изобрести стрелковый строй, а охотничьим оно было по чисто экономическим причинам, как по экономическим же причинам эти самые янки старых штатов превратились теперь в земледельцев, промышленников, мореплавателей и купцов, которые не стреляют уже в первобытных лесах, но зато тем успешнее действуют на полях спекуляции, где достигли также большого искусства в применении к делу масс. Только Великая революция, принесшая французским гражданам, а особенно крестьянам, экономическое освобождение, могла найти свободные подвижные формы массового строя, о которые разбились старые одеревенелые линии — верное отражение защищавшегося ими абсолютизма. Мы уже видели влияние технического прогресса в его применении к военному делу и проследили, как введение технических усовершенствований каждый раз почти насильно вело за собою изменения и даже целые перевороты в способе ведения войны, часто, к тому же, против воли военного начальства. А в какой сильной зависимости находятся военные действия, сверх того, от производительных сил и средств сообщения тыла армии, равно как и театра военных действий, это теперь может объяснить г. Дюрингу каждый старательный унтер-офицер. Одним словом, «сила» всегда и везде одерживала победы не иначе, как при помощи экономических условий и средств, без которых она перестает быть силой, и тот, кто вздумает, следуя Дюрингу, преобразовывать военное дело с противоположного конца, не пожнет ничего, кроме тумаков.1

Если с суши мы перейдем на воду, то здесь нам представится еще более поразительный переворот, совершившийся не более как за последние двадцать лет. Во время Крымской войны боевое судно представляло собою деревянный двух- или трехпалубный корабль, имевший от 60 до 100 пушек, двигавшийся главным образом с помощью парусов и употреблявший слабый паровик лишь в качестве вспомогательного средства. Его вооружение состояло, главным образом, из 32-фунтовых орудий, весом около 50 центнеров. К концу войны появились пловучие панцырные батареи, неповоротливые, едва двигавшиеся чудовища, почти непроницаемые, однако, для тогдашних орудий. Скоро железные панцыри были перенесены и на боевые суда; сперва они были тонки: панцырь в четыре дюйма толщиною считался уже чрезвычайно тяжелым. Но скоро прогресс артиллерии опередил панцыри: возрастающей толщине панцыря противопоставлялись новые, более тяжелые орудия, легко его пробивавшие. Теперь мы уже дошли, с одной стороны, до десяти, двенадцати, четырнадцати и двадцатичетырехдюймовых панпырей (Италия намеревается построить корабль с панцырем в три фута толщиною), а с другой — до нарезных пушек в 25, 35, 80 и даже 100 тонн (тонна = 20 центнерам) весом, выбрасывающих на небывалые прежде расстояния снаряды в 300, 400, 1 700 и до 2 000 фунтов. Нынешнее боевое судно представляет собою исполинский броненосный винтовой пароход, в 8 — 9 тысяч тонн водоизмещения и в 6 — 8 тысяч паровых лошадиных сил, с

поворотными башнями и 4 — 6 весьма тяжелыми орудиями, с тараном, выдвигающимся под водою для нанесения пробоины неприятельскому кораблю; оно представляет собою одну цельную колоссальную машину, которой пар не только сообщает быстрое движение вперед, но в которой он также приводит в движение руль, поднимает и опускает якорь, поворачивает башни, направляет и заряжает орудия, выкачивает воду, поднимает и опускает лодки, которые также отчасти приводятся в движение паром и т. д. И соперничество между броненосным вооружением и силой орудий еще так далеко от своего конца, что в настоящее время судно оказывается неудовлетворительным, т.е. устарелым, раньше чем выпускается из верфи. Новейшее боевое судно представляет не только продукт, но также образчик искусства новейшей крупной промышленности: плавающую фабрику, служащую, правда, исключительно для производства расходов. Страна, в которой крупная промышленность развилась всего значительнее, обладает почти полною монополиею постройки подобных судов. Все турецкие, почти все русские суда и бОльшая часть немецких панцырных судов построены в Англии. Панцырная броня сколько-нибудь значительной толщины делается почти исключительно в Шеффильде; из трех железоделательных заводов в Европе, которые одни только в состоянии доставлять самые тяжелые орудия., два (Вульвич и Эльсвик) приходятся на Англию, а один (Крупп) на Германию. Здесь до очевидности ясно, как «непосредственная политическая сила», являющаяся, по Дюрингу, «решающей причиной экономического положения», находится, наоборот, в полнейшей от него зависимости: здесь не только производство орудий насилия, т. е. военных судов, но и самое обращение с этими орудиями превратилось в одну из отраслей новейшей промышленности. И такой ход дела никому не может быть менее по вкусу, как именно самой «силе» —государству, которому один корабль стоит столько же, сколько прежде стоил целый небольшой флот, причем эта «сила» должна спокойно смотреть, как ее дорогие суда, едва спущенные на воду, оказываются устаревшими и, следовательно, обесцененными, и уж конечно не менее самого г. Дюринга она должна быть недовольна той выдающейся ролью, какую играет на борту военного корабля инженер, человек «экономического положения», оттеснивший на задний план «представителя непосредственной силы» — капитана. Нам же, наоборот, нет ни малейшей причины огорчаться, видя, как соперничество между панцырем и пушкой доводит военный корабль до степени совершенства, на которой он сделается столь же неуязвимым, сколь не годным к употреблению,1 и как это соперничество обнаруживает также в области морской войны тот внутренний диалектический закон движения, по которому гибель милитаризма, как и всякого другого исторического явления, становится логическим следствием его собственного развития.

Таким образом, оказывается яснее солнца, что искать «первоначальную причину в непосредственной политической силе, а не в , производном экономическом могуществе», — невозможно. Наоборот. Что является «первоначальной причиной» самой силы? Экономическое могущество, распоряжение средствами крупной промышлен ности. Политическая сила на море, опирающаяся на новейшие военные корабли, никоим образом не проявляется «непосредственно», а именно посредством экономических сил, высокого развития металлургии, наличности искусных техников и богатых угольных копей.

Впрочем, к чему все это? В ближайшей морской войне высшее командование будет дано г. Дюрингу, и он без всяких торпед и прочих ухищрений, просто своей «непосредственной силой», уничтожит все созданные экономическим положением панцирные флоты.

IV. ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

«Очень важное обстоятельство заключается в том, что фактически господству над природой вообще (!) предшествовало господство над человеком. Обработка поземельной

собственности никогда и нигде не совершалась в больших размерах без предварительного обращения людей в тот или другой вид рабства или крепостной зависимости. Установление экономического господства над вещами обусловливалось предварительно политическим, социальным и экономическим господством людей над людьми. Возможно ли представить себе крупного землевладельца без господства его над рабами, крепостными или косвенно от него зависящими людьми? Что могли значить и что значили единичные силы или, в лучшем случае, силы отдельной семьи при обработке крупных земельных участков? Эксплоатация земли, или распространение экономического господства над нею, в размерах, превышающих единичные силы, сделалась возможной в истории лишь потому, что ранее учреждения поземельной собственности или одновременно с ним совершалось необходимое для этого порабощение людей. В позднейшие периоды развития это порабощение смягчилось... Его современная форма в наиболее цивилизованных государствах есть наемный труд, более или менее регулируемый полицейской властью. На этом труде, следовательно, основывается практическая возможность тех родов современного богатства, которые заключаются в более обширном землевладешш и (!) более крупной поземельной собственности. Само собою понятно, что и все другие роды распределения богатств могут быть объяснены подобным же образом, и косвенная зависимость человека от человека, составляющая в настоящее время главную черту экономически наиболее развитых общественных отношений, не может быть понята сама по себе, но объясняется только как несколько видоизмененное наследие существовавшего в прежние времена прямого подчинения и грабежа». Так говорит г. Дюринг.

Тезис: Покорение природы (людьми) предполагает предварительное покорение людей (людьми же).

Доказательство: Обработка поземельной собственности в больших размерах всегда и везде производилась людьми, находящимися в подчинении.

Доказательство доказательства: Как же может крупный землевладелец существовать без рабов, когда без них, с одной своей семьей, он мог бы обработать только маленькую часть своих владений.

Итак, чтобы доказать необходимость предварительного порабощения человека для приобретения господства над природою, г. Дюринг превращает без всяких церемоний «природу» в «крупную поземельную собственность» — неизвестно чью — и тотчас же отдает эту собственность крупному землевладельцу, которому, конечно, невозможно обработать ее без подчиненных ему людей.

Во-первых, «господство над природою» и «обработка поземельной собственности» совсем не одно и то же. В промышленности господство над природою достигнуто в неизмеримо больших размерах, чем в земледелии, которое до сих пор находится в зависимости от погоды, вместо того чтобы над нею господствовать.

Во-вторых, если мы ограничимся вопросом обработки поземельной собственности в больших размерах, то должны будем прежде всего узнать, кому эта собственность принадлежит. И тут, при начале истории всех культурных народов, мы встретим не крупных поземельных собственников, которых нам подсовывает г. Дюринг с своей обычной манерой фокусника, называемой им «естественной диалектикой»), а родовые и деревенские общины с общинным землевладением. От Индия до Ирландии обработка поземельной собственности в больших размерах велась первоначально подобными родовыми и деревенскими общинами, — то сообща целой деревней, то отдельными

семьями на выделенных им на срок от общины участках, причем во втором случае леса и пастбища оставались в общем пользовании. Очень характерно для «серьезнейших специальных занятий» г. Дюринга в «области юридических и политических наук», «что эти вещи ему совершенно неизвестны и что все его произведения дышат полнейшим незнакомством со сделавшими эпоху трудами Маурера об организации первобытной германской марки, этой основы всего германского права, а также с вызванной, главным образом, Маурером и постоянно растущей литературой, занимающейся исследованиями о первобытном общинном землевладении и о различных формах его существования и разложения у всех культурных народов Европы и Азии. Как ни велико невежество, которым г. Дюринг «обязан самому себе» в области французского и английского права, тем не менее его столь же самостоятельное невежество в германском праве еще значительнее. Человек, громящий с такой силою ограниченность кругозора университетских профессоров, сам подвинулся в области немецкого права никак не дальше той точки, на которой профессора стояли лет двадцать тому назад.

Утверждение г. Дюринга, что для обработки поземельной собственности в больших размерах необходимы землевладельцы и рабы, есть вполне «свободное творчество и дело воображения». На всем Востоке, где собственниками земли являются общины или государство, самое слово «землевладелец» не встречается в языках, о чем мог бы сообщить г. Дюрингу совет английских юристов, так же напрасно бившийся в Индии над вопросом—кто же землевладелец?—как покойный Генрих LXXII Рейс-Греид-Шленс-Лобенштейн-Эберсвальдский над вопросом — кто ночной сторож? Особого рода землевладельческий феодализм ввели на Востоке только турки в завоеванных ими странах. Греция еще в героические времена вступает в историю уже разделенная на классы, самим своим существованием свидетельствующие о долгой предварительной истории, оставшейся неизвестною, но и в ней значительнейшая часть земли обрабатывалась самостоятельными крестьянами; более крупные владения благородных родов и начальников племен составляли исключения и затем скоро исчезли. Италия была обработана, по преимуществу, крестьянами; когда же в последние времена римской республики крупное землевладение, латифундии, вытеснили мелких собственников-крестьян и заменили их рабами, они в то же время заменили землевладение скотоводством и разорили Италию, как это заметил еще Плиний (latifundia Italiam perdidere). В средние века во всей Европе господствовала мелкая крестьянская культура, особенно при распашке пустырей, причел для занимающего нас вопроса совершенно безразлично, платили ли крестьяне подати, и какие именно, тому или другому феодалу. Фризскне, нижне-саксонские, фламандские и нижне-рейнские колонисты, занявшие отнятые у славян земли на восток от Эльбы, ни в какой крепостной зависимости не были, а обрабатывали землю в качестве свободных крестьян при очень благоприятных чиншевых условиях.

Большая часть земель Северной Америки обязана плодородием труду свободных крестьян, тогда как крупные землевладельцы Юга со своими рабами и хищнической культурой до того истощали почву, что на ней ничего не росло кроме елей, а хлопчатобумажные плантации должны были подвигаться все далее и далее на Запад. Все усилия английского правительства искусственно создать поземельную аристократию в Австралии и Новой Зеландии остались безуспешны. Словом, везде, за исключением тропических колоний, где климат не позволяет европейцам заниматься земледелием, крупный землевладелец, покоряющий природу и обрабатывающий землю посредством рабов и крепостных, оказывается чистейшей фантазией. Наоборот,там, где он появлялся в древности, как в Италии, он не пустыри делал плодородными, а превращал в пастбища обработанные крестьянские земли, опустошал их и разорял целые страны. Только в новейшие времена, когда сгустившееся население подняло цену земли, а развитие

агрономии увеличило плодородие земель даже низшего качества , только тогда крупное землевладение начало принимать широкое участие в обработке пустырей и лугов, которые оно похищало, главным образом, из общинных крестьянских земель, как в Англии, так и в Германии. Но и это имело обратную сторону. На каждый акр общинной земли, обработанной крупными землевладельцами Англии, приходится по меньшей мере три акра обработанной земли Шотландии, превращенной ими в пастбища для овец, и, наконец просто в охотничьи парки для красной дичи.

Мы имеем здесь дело только с утверждением г. Дюринга, будто обработка больших земельных участков, т. е. чуть ли не всей современной культурной области, «нигде и никогда» не производилась иначе, как крупными землевладельцами посредством рабов, — утверждением, «обусловленным», как мы видели, поистине неслыханным незнанием истории. Поэтому нас не касается здесь вопрос о том, почему в различные времена все или почти все подобные участки переходили в собственность рабовладельцев (как в цветущие времена Греции) или обрабатывались крепостными (как в тягловых поместьях средних веков); нас не интересуют здесь также и общественные функции, исполнявшиеся в различные времена крупными землевладельцами .

Поведавши нам свою образцовую фантазию, в которой не знаешь, чему больше удивляться — фокусничеству ли дедукции или искажению истории, г. Дюринг с торжеством восклицает: «Само собою понятно, что все другие роды распределения богатств объясняются исторически подобным же образом!» Этим он, естественно, избавляет себя от труда проронить хоть словечко, например, о возникновении капитала.

Если, называя порабощение человека человеком предварительным условием господства над природою, г. Дюринг хочет вообще сказать, что все наше современное экономическое положение и степень развития, достигнутая в настоящее время земледелием и промышленностью, есть результат общественной истории, в основании которой лежали классовый антагонизм и отношения господства и подчинения; если он только это хочет сказать, то он повторяет вещи, ставшие общим местом со времени появления «Манифеста коммунистической партии». Дело именно в том, чтобы объяснить возникновение классов и зависимых отношений, а г. Дюринг своим единственным словом «насилие» ни на шаг не подвигает нас вперед. Уже тот простой факт, что порабощенные и эксплоатируемые были во все времена гораздо многочисленнее своих господ и эксплоататоров и что действительная сила находилась, следовательно, на их стороне, — один этот факт достаточно показывает всю бессмысленность теории насилия. И весь вопрос опять-таки сводится к тому, чтобы объяснить эти отношения господства и подчинения.

Они возникли двумя путями.

Выделившись первоначально из царства животных, — в тесном смысле, — люди вступили в историю еще в полуживотном состоянии: дикие, беспомощные перед силами природы, не знакомые со своими собственными силами, они были бедны, как животные, и производили немногим больше их. Тогда господствовало известное равенство жизненных условий, а для глав семейств — также равенство общественного положения или, по меньшей мере, отсутствие деления на классы, продолжавшее существовать еще в естественно-выросших земледельческих общинах всех современных культурных народов. В каждой такой общине возникают с самого начала некоторые общие интересы, охранение которых должно быть вверено отдельным личностям, хотя и под надзором всего общества; таковы: решения споров; подавление захватов отдельными личностями излишних прав; надзор за водоемами, в особенности в жарких странах; наконец, религиозные функции. Подобных должностных лиц мы находим в первобытных

обществах всех времен, как в древнейшей германской марке, так и в современной Индии. Само собою разумеется, что эти лица снабжаются известными полномочиями и зачаточной государственной властью. Постепенно производительные силы растут; сгустившееся население создает в одном месте одинаковые, в другом — различные интересы между отдельными общинами; их группировка в более крупные целые вызывает, в свою очередь, новое разделение труда и образование органов для охраны общих и защиты спорных интересов. Эти органы, занимая уже в качестве представителей общих интересов целой группы обособленное, а при известных обстоятельствах даже враждебное, положение по отношению к каждой отдельной общине, вскоре получают еще большую самостоятельность — отчасти вследствие наследственности должностей, почти неизбежно возникающей в том быту, где все складывается само собою, отчасти по причине учащающихся столкновений с другими группами, вызывающих усиленную необходимость в этих органах. Нам нет надобности излагать здесь, каким образом эта самостоятельность общественных должностей по отношению к обществу усилилась современем до господства над ним; как слуга при благоприятных условиях постепенно превратился в господина и, смотря по обстоятельствам, являлся то восточным деспотом и сатрапом, то греческим начальником рода, то шефом клана кельтов и т. д.; насколько в этих превращениях участвовало, наконец, насилие, и каким образом отдельные личности, достигшие господства, слились в целые господствующие классы, — все это нас не касается.

Нам необходимо только установить тот факт, что политическое господство повсюду вытекало из общественных должностей и бывало устойчиво только тогда, когда выполняло свои общественные обязанности. Многочисленные деспотии, поднимавшиеся и падавшие в Персии и Индии, все отлично помнили свою первейшую обязанность: заботиться об орошении долин, без которого в этих странах невозможно земледелие. Лишь просвещенным англичанам суждено было не заметить этого в Индии. При них оросительные каналы и шлюзы пришли в упадок, и только правильно повторяющийся голод открыл им, наконец, глаза на их небрежность относительно единственной деятельности, которая могла дать им по крайней мере такое же право на господство в Индии, какое имели их предшественники .

Рядом с этим образованием классов шло также и другое. Естественное разделение труда внутри земледельческой семьи позволило, на известной ступени благосостояния, присоединить к ней одну или несколько рабочих сил. Это в особенности имело место в тех странах, где общинное землевладение уже распалось или, по меньшей мере, древняя общественная обработка земли заменилась обработкой ее отдельными семьями. Производство настолько развилось, что рабочая сила человека могла производить больше, чем необходимо было для его простого существования; средства для содержания и употребления в дело рабочей силы имелись налицо, и она приобрела стоимость. Но свободной, излишней рабочей силы нельзя было найти ни в своей общине, ни в том союзе, к которому она принадлежала.

Эту силу доставляла воина, а война была так же стара, как и одновременное, совместное существование нескольких общественных групп. До сих пор для военнопленных не находили никакого употребления; поэтому их просто убивали, а еще раньше съедали. Но на достигнутой теперь ступени «экономического» развития пленники приобретают цену, им оставляют жизнь и пользуются их трудом.

Таким образом, насилие, вместо того чтобы господствовать над экономическим положением, служило хозяйственным целям. Рабство было найдено. Оно скоро сделалось господствующей формой производства у всех народов, переросших старый общинный

быт, и послужило в заключение главной причиной их распадения. Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелием и промышленностью и, благодаря ему, расцвета древнегреческого мира. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. Мы не должны забывать, что все наше экономическое, политическое и умственное развитие вытекло из такого предварительного состояния, при котором рабство было настолько же необходимо, как и общепризнано. В этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма. Нет ничего легче, как произносить громкие фразы по поводу рабства и т. п. и изливать целые потоки высоко-нравственного гнева на такие постыдные вещи. Только, к сожалению, этим не выражается ничего, кроме всем известного факта, что эти древние учреждения не соответствуют более ни современным обстоятельствам, ни нашим, выработанным этими обстоятельствами, чувствам. О том, как возникли эти учреждения, что их поддерживало и какую роль они играли в истории, мы не узнаем ни одного слова. Раз заговоривши об этом предмете, мы должны сказать, какою бы ересью и каким бы противоречием ни казались наши слова, что при тогдашних условиях введение рабства было большим шагом вперед. Несомненен тот факт, что человек, бывший вначале зверем, нуждался в варварских, почти зверских средствах, чтобы выйти из первобытного состояния. Там, где уцелел древний общинный быт, он всюду, от Индии до России, служил целые тысячелетия основанием самых грубых государственных форм восточного деспотизма. Только там, где он распался, самостоятельное развитие пошло вперед, и первым шагом по пути экономического производства было усиление и развитие производства посредством рабского труда. Это понятно; пока человеческий труд был так малопроизводителен, что доставлял лишь небольшой излишек сверх безусловно необходимых человеку средств существования, увеличение производительных сил, расширение торговли, развитие государства и права, начало искусств и наук были возможны не иначе, как при усиленном разделении труда, в основу которого должно было лечь великое разделение труда между массами, поглощенными простой физической работой, и немногими привилегированными, управлявшими трудом, занимавшимися торговлей, государственными делами, а позже искусствами и науками. Простейшей, естественно выросшей формой такого разделения труда было именно рабство. При исторических условиях древнего, в частности греческого, мира переход к общественности, основанной на классовой противоположности, мог совершиться только в форме рабства. Даже для рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых они по преимуществу набирались, сохраняли теперь, по крайней мере, жизнь, тогда как прежде их убивали, а еще раньше даже поедали.

Прибавим кстати, что и все до сих пор существовавшие исторические противоположности эксплоатирующих и эксплоатируемых, го-подствующих и угнетенных классов объясняются той же относительно неразвитой производительностью человеческого труда. Пока трудящееся население до такой степени поглощено необходимой работой, что не имеет свободного времени для дел общественных, для заведывания производством, для государственных дел, правосудия, наук, искусств и т. д.,—до тех пор должен существовать особый класс людей, освобожденный от настоящего труда и занятый этими делами; причем такой класс, конечно, не упускал случая из личных выгод отягощать рабочие массы все бОлишим и бОльшим трудом. Только достигнутое крупной промышленностью чрезвычайное усиление производительности труда позволяет, наконец, распределить его на всех без исключения членов общества и этим до такой степени сократить рабочее время каждого в отдельности, что его будет у всех в избытке для теоретического и практического участия в делах всего общества. Следовательно, теперь впервые всякий эксплоатирующий и господствующий класс стал не только излишним, но

превратился в препятствие на пути общественного развития, и теперь он будет неизбежно устранен, какой бы «непосредственной силой» он ни обладал.

Следовательно, строя презрительные гримасы по адресу Греции за то, что ее цивилизация была основана на рабстве, г. Дюринг может точь-в-точь с таким же правом упрекать ее и за неимение паровых машин и электрических телеграфов. А когда он утверждает, что современный наемный труд есть лишь видоизмененное и смягченное наследие рабства и не может быть объяснен сам из себя (т. е. из экономических законов современного общества), то его фраза или означает только то, что наемный труд, как и рабство, есть одна ив форм порабощения и классового господства, — вещь известная каждому ребенку, — или она ошибочна. Иначе мы с тем же самым правом могли бы сказать, что наемный труд объясним лишь в качестве смягченной формы людоедства, бывшего, как теперь известно, общепринятой формой употребления побежденных врагов.

Теперь ясно, какую историческую роль играет насилие по отношению к экономическому развитию. Во-первых, всякая политическая сила опирается вначале на экономическую общественную функцию и разрастается затем, по мере разложения первобытной общины, которая делает из общинников частных производителей и еще более увеличивает расстояние между ними и лицами, управляющими общественными делами. Во-вторых, приобретая самостоятельность по отношению к обществу и из служанки превратившись в госпожу, политическая сила может действовать в одном из двух направлений. Или она влияет в смысле и в направлении законосообразного экономического развития, — в таком случае между нею и этим развитием не возникает никакого противоречия, и экономическое развитие ускоряется, — или она действует вразрез с ним, и тогда, за редкими исключениями, экономическое развитие низвергает ее. Этими редкими исключениями бывают единичные случаи завоеваний, где грубые победители истребляют или изгоняют население страны и опустошают или забрасывают производительные силы, с которыми не умеют обращаться. Так поступили христиане с большею частью оросительных построек мавританской Испании, которым она обязана была высоким развитием земледелия и садоводства при маврах. Само собой разумеется, что при каждом завоевании более варварским народом ход экономического развития нарушается и уничтожается целая масса производительных сил. Но в огромном большинстве случаев при прочных завоеваниях дикий победитель принужден приноравливаться к тому высшему «экономическому положению», какое он находит в завоеванной стране: покоренный им народ ассимилирует его себе и часто заставляет даже принять свой язык. Но, оставляя в стороне завоевания, каждый раз, когда внутренняя государственная власть становилась в противоречие с экономическим развитием страны, — а на известной ступени это случалось до сих пор почти с каждой политической властью, — каждый раз борьба оканчивалась низвержением политической власти. Экономическое развитие неумолимо и неизбежно пробивает себе путь, чему последним разительным примером служит уже упомянутая нами Великая французская революция.

Если бы, согласно учению г. Дюринга, хозяйственное положение, а с ним и экономическое законодательство известной страны, зависело единственно от политической силы, трудно было бы понять, почему это после 1848 года Вильгельму IV, несмотря на его «превосходнейшие войска», не удалось напялить средневековые цехи и другие романтические дурацкие колпаки на железные дороги, паровые машины и развивающуюся крупную промышленность своей страны; или почему это русский парь, который еще и того сильнее, не только не может платить своих долгов, но не может даже сохранить своей силы без постоянного орошения ее кредитом, притекающим из «хозяйственного положения» Западной Европы.

Для г. Дюринга сила есть начало безусловно злое, и ее первое действие было настоящим грехопадением. Все изложение г. Дюринга есть одна сплошная иеремиада о заразе, охватившей через этот первородный грех всю прошедшую историю, о позорном извращении всех законов природы и общества орудием дьявола — силою. О том же, что сила играет в истории еще другую роль — роль революционную, что она является, говоря словами Маркса, «повивальной бабкой» каждый раз, когда старое общество носит в своих недрах новый порядок, что она служит орудием, которым общественное движение разбивает мертвые и окоченелые политические формы, — обо всем этом мы не находим у г. Дюринга ни слова. Лишь со вздохами и стенаниями допускает он, что для свержения эксплоататорского хозяйства может понадобиться сила; он считает это несчастием — потому что каждое насилие развращает тех, кто им пользуется. И это ввиду высокого нравственного и умственного подъема, следовавшего за каждой победоносной революцией! И это в Германии, где насильственное потрясение, к которому может быть вынужден народ, имело бы, по меньшей мере, ту выгоду, что искоренило бы из сознания нации лакейство, вынесенное ею из унижений Тридцатилетней войны! И это-то вялое, бессильное учение осмеливаются навязывать самой революционной партии, какую только знает история!

V. ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ.

Прошло почти сто лет с тех пор, как в Лейпциге появилась книга, которая к началу истекшего века выдержала 31 издание и распространялась в городе и деревне чиновниками, священниками, филантропами всякого рода и всюду рекомендовалась народным школам как хорошая хрестоматия. Эта книга называлась «Друг детей» Рохова. Она имела целью поучать юных сыновей крестьян и ремесленников их жизненному призванию, их обязанностям перед начальниками общественными и правительственными и в то же время научить их вполне довольствоваться своим земным жребием, черным хлебом и картофелем, барщиной, низкой заработной платой, отеческими розгами и прочими тому подобными прелестями, и все это при содействии существовавшей тогда системы просвещения. Городской и сельской молодежи пояснялось при этом, что согласно мудрым законам природы человек должен трудиться, чтобы поддерживать свое существование и наслаждаться, и выставлялось на вид, каким счастливым должен чувствовать себя каждый крестьянин и ремесленник вследствие того, что им приходится услаждать свою трапезу тяжелым трудом, — жить не так, как богатый обжора, который вечно страдает расстройством желудка, несварением или запором и лишь с отвращением питается самыми отменными лакомствами. Те же общие места, которые старый Рохов считал достаточно полезными для саксонских крестьянских парней своего времени, г. Дюринг рекомендует и нам, на странице 14 и следующих своего «Курса», как нечто «абсолютно фундаментальное» в новейшей политической экономии.

«Человеческие потребности, как таковые, имеют свою естественную законосообразность, и росту их поставлены известные границы; извращенность может безнаказанно нарушать их лишь известное время, пока от этого не получается пресыщения жизнью, дряхлости, социального увечья и, наконец, спасительной смерти... Жизнь, переполненная одними удовольствиями, без всякой более широкой и серьезной цели, скоро ведет к пресыщению или, что то же, к утрате всякой восприимчивости. Действительный труд, в какой-либо форме, есть социально-естественный закон здоровых существ... Если б влечения и потребности не имели противовеса, они едва-едва обеспечили бы человечеству примитивнейшее существование, не говоря уже об исторически повышающемся развитии жизни. При полном удовлетворении их без всякого труда этот процесс совершался бы быстро; в промежутках же между периодическими проявлениями влечений и потребностей человек, лишенный их ощущения, влачил бы жалкое существование... Во

всех отношениях, следовательно, зависимость от влечений и страстей, для удовлетворения которых необходимо преодоление экономических препятствий, является благодетельным основным законом внешнего устройства природы и внутренних свойств человека» и т. д. Как видите, самые пошлые плоскости почтенного Рохова празднуют в книге г. Дюринга свой столетний юбилей, вдобавок в виде «глубокого основоположения», единственной истинно-критической и научной «социалитарной системы».

Заложив, таким образом, основы, г. Дюринг может продолжать свою постройку. Применяя математический метод, он нам дает сначала, по примеру старика Эвклида, ряд определений. Это тем более удобно, что свои определения он может сразу построить так, что то, что должно быть доказано с их помощью, уже отчасти содержится в них. Так, мы узнаем прежде всего, что руководящее понятие в политической экономии до сих пор называется богатством, а богатство, как оно в действительности понималось до сих пор во всемирной истории и как оно развивалось, есть «экономическая власть над людьми и вещами». Это вдвойне неверно. Во-первых, богатство старых родовых и сельских общин вовсе не было господством над людьми, а во-вторых, даже в таких обществах, которые движутся в классовых противоречиях, богатство, поскольку оно включает господство над людьми, является большей частью, даже почти исключительно, господством над людьми в силу и посредством господства над вещами. С того весьма давнего времени, когда ловля рабов и эксплоатация рабов стали отдельными отраслями промышленности, эксплоататоры рабского труда должны были покупать рабов, т. е. приобретать господство над людьми только благодаря господству над вещами, — над покупной ценой, над средствами содержания рабов и орудиями труда их. Во все средние века крупное землевладение является предварительным условием, которое связывает феодальное дворянство с оброчными и барщинными крестьянами. А в наше время даже шестилетний ребенок понимает, что богатство господствует над людьми исключительно через посредство вещей.

Зачем же г. Дюринг состряпал свое неправильное определение богатства, искажая для этого фактическую связь, какая до сих пор существовала во всех классовых обществах? Для того, чтобы перетащить богатство из сферы экономической в моральную. Господство над вещами вполне хорошее дело, но господство над людьми — от лукавого, и так как г. Дюринг сам себе воспретил объяснять господство над людьми господством над вещами, то он опять может произвести смелый оборот и объяснить первое своим излюбленным насилием. Богатство, как господство над людьми, говорит он, есть «грабеж» и приводит нас вновь к ухудшенному изданию старого-престарого изречения Прудона: «собственность есть воровство».

Таким образом г. Дюринг ставит богатство в связь с обоими основными моментами производства и распределения; богатство как господство над вещами — производственное богатство — это хорошая сторона современного строя, а богатство как господство над людьми—богатство распределения, как оно до сих пор было,— плохая сторона, долой ее! В применении к современным отношениям это значит: капиталистический способ производства вполне хорош и может остаться, но капиталистический способ распределения не годится и должен быть отменен. К такой бессмыслице можно прийти, когда пишешь о политической экономии, не уразумев даже связи между производством и распределением.

После богатства идет вопрос о стоимости, и она определяется «следующим образом: «Стоимость есть то значение, которое имеют хозяйственные предметы и работы в процессе обмена». Это значение соответствует «цене или какому-либо иному названию эквивалента, например, заработной плате». Другими словами: стоимость есть цена. Или,

скорее, чтобы не быть несправедливым к г. Дюрингу и передать нелепость его определения, по возможности, собственными его словами, надо сказать: стоимость — это цены, ибо на странице 19 он говорит: «стоимость и выражающие ее в деньгах цены», следовательно, констатирует сам, что одна и та же стоимость имеет весьма равличные цены, а стало быть, и столь же различные стоимости. Если бы Гегель не умер уже давно, он бы теперь повесился! При всей своей теологике ему не удалось бы создать стоимость, которая имеет столько же стоимостей, сколько и цен. Нужно опять-таки обладать самоуверенностью г. Дюринга, чтобы новое, более глубокое обоснование политической экономии начать с заявления, что между ценой и стоимостью нет иного различия, кроме того, что одна выражается в деньгах, а другая нет.

Но это все еще не дает нам никаких указаний на то, что такое стоимость, а еще меньше, чем она определяется. Г-н Дюринг поэтому должен представить нам более подробные разъяснения. «В совершенно общем виде основной закон сравнения и оценки, на котором основываются стоимость и выражающие ее в деньгах цены, ближайшим образом коренится в области простого производства, независимо от распределения, которое вносит лишь второстепенный элемент в понятие стоимости. Большие или меньшие препятствия, которые различие естественных условий противопоставляет стремлениям,, направленным на производство предметов, и благодаря которым оно принуждает к большей или меньшей затрате хозяйственной силы, также определяют... бдльшую или меньшую стоимость», и «последняя измеряется препятствиями, которые поставлены производству природой и условиями... Объем вложенной нами собственной силы в них (в вещи) является непосредственно решающей причиной существования стоимости вообще и ее определенной величины в частности».

Поскольку все это имеет какой-либо смысл, оно означает: стоимость какого-либо продукта труда определяется необходимым для. его изготовления рабочим временем, а это мы знали уже давно и помимо г. Дюринга. Вместо того, чтобы просто сообщить данный факт, он должен по-оракульски исказить его. Прямо неверно, будто бы объем, в котором кто-либо влагает свою силу в вещи (пользуясь этим высокопарным выражением), является непосредственно решающей причиной стоимости и величины стоимости. Во-первых, не безразлично, в какую вещь вкладывается сила, а во-вторых, как она вкладывается. Если кто-либо изготовит вещь, не имеющую никакой потребительной стоимости для других, то вся его сила не создаст ни одного атома стоимости; а если он упорствует в том, чтобы изготовить ручным способом предмет, который машина изготовляет в 20 раз легче, то 1В/20 вложенной им силы не создадут ни вообще стоимости, ни какой-либо ее величины в частности.

Далее, это значит извратить все дело, если производительный труд, дающий положительные результаты, рассматривать только в чисто отрицательном смысле, как преодоление сопротивления. При таком обороте дела, чтобы надеть, например, рубашку, придется проделать следующее: сначала мы преодолеем сопротивление, оказываемое хлопчатным семенем процессу посева и прозябания, затем сопротивление зрелого хлопка процессам сбора, упаковки и пересылки, затем сопротивление процессам распаковки, чесания и прядения, далее сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани процессу беления и шитья и, наконец, сопротивление готовой рубашки процессу ее надевания на человека.

К чему все эти ребяческие выверты и извращения? Для того, чтобы через посредство этого «сопротивления» итти от «производственной стоимости», этой истинной, но до сих пор лишь идеальной стоимости, к искаженной насилием «стоимости распределительной», исключительно действовавшей до сих пор в истории. «Кроме того сопротивления, которое

оказывает природа, существует еще другое, чисто социальное, препятствие... Между человеком и природой становится тормозящая сила, и последней является опять-таки человек. Одинокий, изолированный человек свободен по отношению к природе. Но положение принимает иной характер, как только мы представим себе другого человека, который с мечом в руке займет все доступы к природе и ее вспомогательным источникам и потребует за вход плату, в той или иной форме. Этот другой... как бы облагает податью первого и является, таким образом, причиной того, что стоимость предмета, который стремятся добыть, оказывается большей, чем было бы без такого политического или общественного препятствия на пути добывания или производства... Крайне многообразны формы этого искусственного повышения значения вещей, которое естественно сопровождается соответственным понижением значения труда... Поэтому было бы иллюзией рассматривать стоимость заранее как эквивалент в собственном смысле слова, т. е. как равнозначащее или как меновое отношение, установленное по принципу равенства данной работы и работы, ее возмещающей... Напротив того, признаком истинной теории стоимости будет то, что представленная в ней более общая причина оценки не совпадает с особой формой стоимости, основывающейся на принудительном распределении. Эта форма меняется вместе с социальным устройством, тогда как собственно экономическая стоимость может быть только производственной стоимостью, измеряемой сообразно природе, и потому изменяется только вместе с чисто производственными препятствиями естественного и технического характера».

Таким образом, проявляющаяся на практике стоимость какой-либо вещи состоит, по мнению г. Дюринга, из двух частей: во-первых, из содержащегося в ней труда, а во-вторых, из вынуждаемой с «мечом в руке» надбавки, имеющей характер обложения. Другими словами, проявляющаяся в настоящее время стоимость — это монопольная цена. Но если, согласно этой теории стоимости, все товары обладают подобной монопольной стоимостью, то возможны только два случая: либо каждый, как покупатель, теряет то, что он выиграл в качестве продавца, и тогда цены повышаются только номинально, реальное же их значение, в процессе обмена товаров, остается без изменения, все остается по-старому, и много прославленная стоимость распределения является простой фикцией; либо же мнимые надбавки обложения представляют собою действительную сумму стоимости, именно ту, которая хотя произведена рабочим классом, но присваивается классом монополистов, и тогда эта сумма стоимости просто состоит из продуктов неоплаченного труда; в этом последнем случае, несмотря на гипотезу о человеке с мечом в руке, на мнимые налогообразные надбавки к цене и на стоимость распределения, мы приходим к теории Маркса о прибавочной стоимости.

Присмотримся, однако, к некоторым примерам пресловутой «распределительной стоимости». На стр. 125 и следующих говорится: «Также и образование цены посредством индивидуальной конкуренции должно считаться формой экономического распределения и взаимного наложения податей... если представить себе, что внезапно запас какого-либо необходимого товара значительно уменьшится, то на стороне продавцов получается непропорционально большая возможность эксплоатации... насколько колоссально может быть повышение, показывают в особенности те исключительные случаи, когда на долгое время отрезан подвоз необходимых предметов» и т. д. Сверх того, прибавляет г. Дюринг, существуют и при нормальном течении событий фактические монополии, допускающие произвольное повышение цены, как, например, железные дороги, общества для снабжения городов водой и осветительным газом и т. д.

Что существуют такие случаи монопольной эксплоатации, это давно известно. Но что созданные ими монопольные цены должны считаться не исключениями или частными случаями, но именно классическими примерами обычного в настоящее время

установления стоимостей, это — новость. Как определяются цены жизненных средств? Ступайте в осажденный город, подвоз к которому отрезан, и поучайтесь! — отвечает г. Дюринг. Как действует конкуренция на установление рыночных цен? Спросите монополию, и она вам разъяснит загадку!

Впрочем, даже и в случаях подобных монополий нельзя открыть человека с мечом в руке, который будто бы стоит за их спиной. Как известно, в осажденных городах человек с мечом, т. е. комендант, если только он выполняет свой долг, обыкновенно очень скоро приканчивает монополию и конфискует запасы монополистов в целях равномерного их распределения. А затем вообще, когда люди с мечом пытаются сфабриковать «стоимость распределительную», их попытки кончаются всегда крахом и денежными потерями. Голландцы своим монополизированием ост-индской торговли привели к гибели свою монополию и торговлю. Два сильнейших правительства, какие только когда-либо существовали, именно северо-американское революционное правительство и французский национальный конвент, пытаясь установить максимальные цены, потерпели полную неудачу. Русское правительство хлопочет уже несколько лет о том, чтобы поднять курс русских бумажных денег, понизившийся вследствие того, что было выпущено в обращение слишком большое количество таких неразменных бумажных рублей; для этого оно беспрерывно, в продолжение нескольких лет, скупало в Лондоне векселя на Россию. В результате такая операция обошлась русскому правительству в 60 миллионов рублей и доставила ему лишь то удовольствие, что в настоящее время русский бумажный рубль ценится ниже двух марок, вместо того чтобы стоять выше трех. Если бы меч обладал приписываемой ему г. Дюрингом экономической магической силой, то почему же ни одно правительство не может устроить так, чтобы надолго навязать плохим деньгам «распределительную стоимость» хороших или ассигнациям навязать стоимость золота? Да и где тот меч, который командует на мировом рынке?

Далее существует еще одна основная форма «распределительной стоимости», обеспечивающая безвозмездное присвоение продуктов чужого труда: это — имущественная рента, т. е. земельная рента и прибыль на капитал. Мы отмечаем это только для того, чтобы указать, что сказанным исчерпывается все сообщаемое г. Дюрингом о пресловутой «распределительной стоимости», хотя, впрочем, и это еще не все. Действительно: «Несмотря на двойственность точки зрения, выступающей в признании стоимости производственной и стоимости распределительной, тем не менее в основе их заключается нечто общее, тот предмет, из которого состоят все стоимости и которым поэтому они могут измеряться. Непосредственной естественной мерой является трата силы, а простейшей единицей — человеческая сила в грубейшем смысле слова. Последняя сводится к времени существования, самоподдержание которого опять-таки представляет преодоление известной суммы препятствий в процессе питания и жизни. Распределительная стоимость или стоимость присвоения проявляется в чистой и исключительной форме там, где господствует сила распоряжения вещами, представляющими собою продукты, не произведенные трудом, или, выражаясь более обычным языком, там, где подобные вещи выменяваются на труд или на предметы, имеющие действительную производственную стоимость. То однородное, что проявляется в каждом выражении стоимости, а следовательно и в составных частях стоимости, присваиваемых путем распределения без эквивалента, состоит в затрате человеческой силы, которая воплощается в каждом товаре».

Что сказать нам по этому поводу? Если все товарные стоимости измеряются воплощенной в товарах затратой человеческой силы, то, в таком случае, что же останется на долю распределительной стоимости и из какого источника черпаются надбавки к цене, обложение податью? Г-н Дюринг, правда, говорит нам, что также и вещи, не

произведенные трудом, или, иначе, неспособные иметь собственную стоимость, могут приобретать известную распределительную стоимость и обмениваться на вещи, произведенные трудом, обладающие стоимостью. Но он в то же время утверждает, что все стоимости, следовательно в том числе и исключительно распределительные стоимости, определяются воплощенной в них затратой труда. При этом, мы, к сожалению, не узнаем, как воплощается затрата труда в вещи, не произведенной трудом. Во всяком случае из всега этого смешения стоимостей, в конце концов, очевидно, что и стоимость распределительная, эта, вымогаемая социальным положением надбавка к цене, это обложение силой меча, — все это оказывается опять-таки ни к чему: стоимости товаров определяются затратой человеческой силы, в просторечии — трудом, который в них воплощен. Словом, г. Дюринг, если не касаться земельной ренты и немногих монопольных цен, повторяет, только беспорядочно и туманно, все то, что уже давно определеннее и яснее установлено столь хулимой теорией стоимостей Рикардо—Маркса.

Но он это говорит и одновременно утверждает противоположное. Маркс, исходя из исследований Рикардо, говорит: стоимость товаров определяется воплощенным в товарах общественно-необходимым общечеловеческим трудом, который, в свою очередь, измеряется своей продолжительностью. Труд есть мерило всех стоимостей, но сам он не имеет никакой стоимости.

Г-н Дюринг, точно так же приняв— но по своему, сбивчиво, путанно — труд как мерило стоимости, продолжает: труд «сводится ко времени существования, самоподдержание которого опять-таки представляет преодоление известной суммы препятствий в процессе питания и жизни». Оставим в стороне покоящееся на страсти к оригинальничанью смешение рабочего времени, о котором здесь и идет речь, с временем существования, которое до сих пор еще никогда не создавало или не измеряло стоимости. Оставим в стороне и ту ложно «социалитарную» видимость, которую должно привнести «самоподдержание» этого «времени существования»; с тех пор, как существует мир, и до тех пор, пока он будет существовать, каждый должен лично сам поддерживать свое существование, т. е. он должен сам потреблять средства, необходимые для поддержания его жизни. Предположим, что г. Дюринг выразился бы точным языком политической экономии; тогда вышеприведенное положение либо ничего не значило бы, либо значило бы следующее: стоимость какого-либо товара определяется воплощенным в нем рабочим временем, а стоимость этого рабочего времени определяется стоимостью жизненных средств, требующихся для содержания рабочего в течение этого времени. А это последнее, при существующих экономических порядках, значило бы, что стоимость известного товара определяется содержащейся в нем заработной платой.

Тут мы, наконец, пришли к тому, что г. Дюринг, собственно, хочет сказать. Стоимость товара определяется, на языке вульгарной экономии, издержками производства, против чего Кэри «выдвинул ту истину, что не издержки производства, но издержки воспроизводства определяют стоимость» («Критическая история», стр. 401). Какой смысл имеют эти издержки производства или воспроизводства, об этом мы поговорим ниже; здесь же мы заметим, что они, как известно, состоят из заработной платы и прибыли на капитал. По мнению г. Дюринга, заработная плата представляет воплощенную в товаре «затрату силы», т. е. производственную стоимость; прибыль же — вынуждаемую капиталистом при помощи меча, находящегося в его руке, подать или надбавку к цене, т. е. распределительную стоимость. И, таким образом, вся полная противоречий путаница дюринговой теории стоимости разрешается, наконец, в чудесную гармоническую жизнь.

Определение стоимости товаров заработной платой, которое у Адама Смита еще смешивается с определением стоимости рабочим временем, со времени Рикардо изгнано

из научной политической экономии и в наши дни влачит существование еще только в вульгарной экономии. Именно: самые плоские сикофанты существующего капиталистического общественного строя проповедуют определение стоимости заработной платой и, в то же время, представляют прибыль капиталиста высшим родом заработной платы, платой за воздержание (за то, что капиталист не промотал своего капитала), премией за риск, платой за ведение дела и т. д. Г-н Дюринг от них отличается только тем, что объявляет прибыль грабительством. Другими словами, свой социализм г. Дюринг основывает непосредственно на теориях вульгарной экономии худшего сорта. Его социализм имеет такое же научное значение, как и эта вульгарная экономия: и то и другое неразрывно связано между собою.

Ясно, однако, следующее: то, что производит рабочий, и то, во что обходится его рабочая сила, — это вещи столь же различные, как то, что производит машина и чего она стоит. Стоимость, которую создает рабочий в течение 12-часового рабочего дня, не имеет ничего общего со стоимостью жизненных средств, которые он потребляет в течение этого рабочего дня и относящихся к нему промежутков отдыха. В этих жизненных средствах может быть воплощено три, четыре или семь часов рабочего времени, смотря по степени развития производительности труда. Если мы примем, что для их производства требуется 7 часов труда, то, по смыслу защищаемой г. Дюрингом вульгарно-экономической теории стоимости, оказывается, что продукт 12-часового труда имеет стоимость 7-часового труда, что 12 часов труда равны 7 часам труда, или что 12 = 7. Возьмем для большей ясности такой пример: если сельский рабочий, безразлично при каких именно общественных отношениях, производит в год количество хлеба, скажем, в 20 гектолитров пшеницы, сам же в течение этого времени потребляет сумму стоимостей, которая выражается всего в 15 гектолитров пшеницы, то, в таком случае, 20 гектолитров пшеницы имеют такую же самую стоимость, как и 15, и это на одном и том же рынке, при прочих неизменных условиях,— иными словами, 20 равняется 15. И это называется экономической наукой!

Все развитие человеческого общества после стадии животной дикости начинается с того дня, когда труд семьи стал создавать больше продуктов, чем было необходимо для ее поддержания, с того дня, когда часть труда могла затрачиваться на производство уже не только жизненных средств, но и средств производства. Избыток продукта труда над издержками содержания труда и, как результат этого, образование и увеличение общественного производственного и резервного фонда были и остаются основой всякого общественного, политического и интеллектуального прогресса. Во всей прежней истории этот фонд был собственностью привилегированного класса, который вместе с этой собственностью получал политическое господство и духовное руководство. Предстоящая социальная революция впервые сделает этот общественный производственный и резервный фонд. т. е. совокупность сырых материалов, орудий производства и жизненных средств, действительно общественным, изъяв его из владения этого привилегированного класса и передав его всему обществу как общее достояние.

Одно из двух: или стоимость товаров определяется издержками содержания рабочих, необходимых для производства этих товаров, т. е. в нынешнем обществе — заработной платой; в таком случае, каждый рабочий получает в своей заработной плате стоимость продукта своего труда, и тогда эксплоатация класса наемных рабочих классом капиталистов немыслима. Предположим, что издержки содержания рабочего выражаются в данном обществе суммой в 3 марки в день. Тогда стоимость его дневного продукта, как это вытекает из вульгарной экономической теории, равняется 3 маркам. Допустим теперь, что капиталист, нанимающий этого рабочего, прибавляет к цене этого продукта прибыль, надбавку в 1 марку, и продает, следовательно, продукт за 4 марки. То же делают и другие капиталисты. Но, в таком случае, рабочий уже не может удовлетворить свое дневное

пропитание 3 марками, а нуждается для этого опять-таки в 4 марках. Так как все прочие условия предположены неизменными, то и выражающаяся в жизненных средствах заработная плата должна остаться неизменной; следовательно, заработная плата, выраженная в деньгах, должна подняться именно с 3 до 4 марок в день. То, что капиталисты отнимают от рабочего класса в форме прибыли, они должны ему возвратить в форме заработной платы. Мы не ушли, таким образом, ни на шаг от того места, где были вначале: если заработная плата определяет стоимость, то невозможна никакая эксплоатация рабочего капиталистом. Но невозможно и образование избытка продуктов, ибо рабочие, по нашему предположению, потребляют как раз столько продуктов, сколько они производят. А так как капиталисты не производят никакой стоимости, то нельзя даже представить себе, чем они могут жить. Если же такой избыток производства над потреблением, такой производственный и резервный фонд, тем не менее, существует и притом находится в руках капиталистов, то не остается другого объяснения, как предположить, что рабочие потребляют для своего самоподдержания только стоимость товаров, а сами товары в натуре сполна остаются в распоряжении капиталистов для дальнейшего потребления.

Или же, имея в виду, что производственный и резервный фонд фактически составляет собственность класса капиталистов и возникает из накопленной прибыли (земельную ренту мы пока оставляем в стороне), — надо допустить, что этот фонд образуется из накопленного избытка продукта труда рабочих над суммой заработной платы, уплачиваемой им классом капиталистов. Но в таком случае стоимость определяется не заработной платой, а количеством труда; следовательно, рабочий класс доставляет классу капиталистов в продукте труда большее количество стоимости, чем какое он получает от него в заработной плате, и в таком случае прибыль на капитал, как и все другие формы присвоения продуктов чужого, неоплаченного, труда, оказывается составной частью открытой Марксом прибавочной стоимости.

Кстати, о том великом открытии, которым Рикардо начинает свой главный труд, говоря, что «стоимость известного товара зависит от необходимого для его производства количества труда, а не от заплаченного за этот труд высшего или низшего вознаграждения», — об этом составившем эпоху открытии г. Дюринг не говорит ни слова в своем «Курсе политической экономии», а в «Критической истории» он отделывается от него следующей оракульской фразой: «Он (Рикардо) не думает, что большее или меньшее отношение, в котором заработная плата может (!) представлять требование на жизненные потребности, должно... принести с собой также неодинаковые отношения стоимостей»! Фраза, о которой читатель может думать, что ему угодно; лучше же всего не думать о ней ничего!

А затем пусть читатель сам выбирает тот сорт стоимости, какой ему наиболее понравится из пяти различных сортов, которыми угостил нас г. Дюринг: во-первых, стоимость производственная, находящаяся в зависимости от природных условий; во-вторых, распределительная стоимость, создаваемая людской испорченностью и отличающаяся от первой тем, что она измеряется затратой силы, в ней не воплощенной; в-третьих, стоимость, которая измеряется рабочим временем; в-четвертых, стоимость, определяемая издержками воспроизводства; и, наконец, в-пятых, стоимость, измеряемая заработной платой. Выбор богатый, путаница полнейшая, и нам остается только воскликнуть вместе с г. Дюрингом: «учение о стоимости есть пробный камень для определения достоинства экономической системы»!

VI. ПРОСТОЙ И СЛОЖНЫЙ ТРУД.

Г-н Дюринг открыл у Маркса грубый экономический промах, допустимый для ученика младшего класса и в то же время заключающий в себе общественно-опасную социалистическую ересь. Теория стоимости Маркса «не более, как обычное... учение о том, что труд есть причина всех стоимостей, а рабочее время — мерило их. Совершенно неясным остается здесь представление о том, как следует мыслить различную стоимость так называемого квалифицированного труда. Правда, и по нашей теории измерять естественные издержки и тем самым абсолютную стоимость хозяйственных предметов можно только затраченным рабочим временем, с тою разницей, однако, что мы принимаем рабочее время каждого индивидуума за равные величины, не упуская при этом из вида, что при квалифицированных работах к индивидуальному рабочему времени одной личности присоединяется работа других личностей... например, при употреблении разных орудий производства. Дело, следовательно, обстоит не так, как туманно представляет себе г. Маркс, будто бы чье-либо рабочее время само по себе стоит больше, чем рабочее время другого, потому что в первом как бы сгущено больше среднего рабочего времени. Всякое рабочее время, без исключения и принципиально, следовательно без необходимости принимать в расчет какой-либо средний уровень,— одинаково и совершенно равноценно, и при работах какой-либо личности, так же как и в каждом готовом продукте, нужно только выяснить, сколько рабочего времени других лиц скрыто в затрате, повидимому, только его собственного рабочего времени. Будет ли то орудие производства, приводимое в действие рукой, либо сама рука, даже голова, которая без посредства рабочего времени других людей не может получить специального свойства и работоспособности, это не имеет ни малейшего значения для строгого применения теории. Господин же Маркс в своих рассуждениях о стоимости не свободен от мелькающего перед ним призрака квалифицированного рабочего времени. Отказаться от него ему помешал унаследованный метод мышления образованных классов, которым должно казаться чудовищным признание рабочего времени тачечника и рабочего времени архитектора экономически вполне равноценным».

То место у Маркса, которое вызвало этот «страшный гнев» г. Дюринга, очень кратко. Маркс исследует, чем определяется стоимость, товаров, и отвечает: содержащимся в них человеческим трудом. «Последний,—продолжает он,—есть затрата простой рабочей силы, которою обладает в своем физическом организме всякий обыкновенный человек без особого развития... Более сложный труд имеет значение лишь как возведенный в степень или скорее умноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству труда простого. Что это приравнение одного труда другому происходит постоянно, показывает опыт. Известный товар может быть продуктом самого сложного труда, но стоимость его приравнивается продукту простого труда, а потому сам он представляет собою лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых разные виды труда приводятся к труду простому, как к их единице, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей и кажутся им поэтому существующими по обычаю».

Здесь у Маркса речь идет ближайшим образом лишь об определении стоимости товаров, т. е. предметов, которые производятся внутри общества, состоящего из частных производителей, производятся этими производителями, за частный счет и вымениваются один на другой. Здесь, следовательно, говорится отнюдь не об «абсолютной стоимости», где бы последняя ни влачила свое существование, но о стоимости, которая существует в определенной общественной форме. Эта стоимость, в этой ее определенной исторической форме, создается и измеряется человеческим трудом, воплощенным в отдельных товарах, а этот человеческий труд оказывается далее затратой простой рабочей силы. Однако не всякий труд есть простая затрата простой человеческой силы: очень многие виды труда включают в себя применение ловкости или познаний, приобретаемых с бОлыпим или

меньшим трудом и с затратой времени и денег. Создают ли эти виды сложного труда в равные периоды времени такую же товарную стоимость, как и труд простой, т. е. одна лишь-затрата рабочей силы? Очевидно, нет. Продукт часа сложного труда представляет товар высшей стоимости, двойной или тройной, по сравнению с продуктом часа простого труда. Стоимость продуктов сложного труда определяется, благодаря такому сравнению, в определенных количествах простого труда, а это приведение сложного труда к простому совершается общественным процессом, за спиной производителей, — процессом, который здесь, при обсуждении теории стоимости, может быть установлен, но еще не объяснен.

Именно этот простой факт, ежедневно совершающийся в современном капиталистическом обществе на наших глазах, и констатирует здесь Маркс. Он настолько неоспорим, что сам г. Дюринг не отважится его оспаривать ни в своем «Курсе», ни в «Истории политической экономии». Изложение Маркса так просто и ясно, что никто наверное, кроме г. Дюринга, не останется при этом «в полной неясности». Благодаря этой «полной неясности», г. Дюринг, увлекаясь своей гипотезой об «естественных издержках» и об «абсолютной стоимости», о которой никогда ничего не говорилось ни в одном курсе политической экономии, — проглядел истинный смысл теории Маркса о товарной стоимости, которая и составляла главным образом предмет изучения для последнего. Что бы г. Дюринг ни понимал под «естественными издержками» и какое значение ни придавал бы своим пяти различным родам стоимости, чтобы обосновать понятие об «абсолютной стоимости», одно можно с уверенностью сказать, что у Маркса не могло быть и речи о всех этих вещах; он всегда говорил только о товарной стоимости, и во всей главе «Капитала» о стоимости нет ни малейшего намека на то, считал ли Маркс и в каком объеме свою теорию о товарной стоимости применимой к другим общественным формам.

«Но,—продолжает г. Дюринг,—дело обстоит вовсе не так, как туманно представляет себе Маркс, будто бы чье-либо рабочее время само по себе стоит больше, чем рабочее время другого лица, потому что в первом случае как бы сгущено больше среднего рабочего времени. Напротив, всякое рабочее время, без исключения и принципиально, следовательно без необходимости принимать в расчет какой-либо средний уровень, — совершенно равноценно». Так полагает г. Дюринг, и поэтому он может считать себя счастливым, что судьба не сделала его фабрикантом и тем самым предохранила от оценки его товаров по этому новому правилу, а следовательно и от необходимости сделаться банкротом. Однако! Неужели мы находимся еще в обществе фабрикантов? Совсем нет. Навязывая нам свои гипотезы об естественных издержках и абсолютной стоимости, г. Дюринг заставляет нас вместе с тем сделать скачок, настоящий salto mortale из настоящего скверного мира, где господствует экс-плоатация, в его собственную хозяйственную коммуну будущего, в сферу небесного равенства и справедливости. Мы должны немного заглянуть, хотя и несколько преждевременно, в этот новый мир.

Без всякого сомнения, по теории г. Дюринга, в его будущей коммуне стоимость хозяйственных предметов может быть измеряема только затраченным рабочим временем, с тем, однако, условием, что рабочее время каждого индивидуума будет заранее считаться равноценным, без исключения и принципиально и, следовательно, без необходимости принимать в расчет какую-либо среднюю норму для измерения и оценки рабочего времени. И вот сравните этот радикальный уравнительный социализм с туманным представлением Маркса о том, будто чье-либо рабочее время само по себе стоит дороже, чем рабочее время другого какого-либо лица, на том основании, что в первом из них как бы сгущено более среднего рабочего времени, чем во втором,—туманное представление, возникшее у г. Маркса благодаря унаследованному от образованных классов способу мышления, которым должно казаться чудовищным признание рабочего времени тачечника и рабочего времени архитектора -экономически вполне равноценным!

Беда только в том, что Маркс в примечании, сделанном к выше приведенной выписке из «Капитала», говорит: «Читатель должен обратить внимание на то, что здесь идет речь не о заработной плате, которую получает работник за рабочий день, но о стоимости товаров, в которых воплощается его рабочий день». Из этих слов можно заключить, что Маркс, как бы предугадывая поход г. Дюринга, направленный против него, сам протестует против применения приведенной выше цитаты из «Капитала» хотя бы даже к объяснению заработной платы, выплачиваемой за сложный труд в нынешнем обществе. И если г. Дюринг, не довольствуясь этим, приписывает приведенной выше цитате из «Капитала» значение основных положений, которые Маркс будто бы хотел применить к распределению жизненных средств в социалистически организованном обществе, то это просто бесстыдная подтасовка, допускаемая разве только в среде разбойников печати.

Нам все-таки необходимо несколько ближе познакомиться с учением г. Дюринга о равноценности. Всякое рабочее время, — говорит он, — совершенно равноценно,—как рабочее время тачечника, так и рабочее время архитектора. Таким образом оказывается, что рабочее время, а следовательно и самый труд, имеет известную стоимость. Но ведь труд есть созидатель всех стоимостей. Только он один и придает стоимость, в экономическом смысле, добываемым продуктам природы. Следовательно, стоимость есть не что иное, как выражение овеществленного в каком-либо предмете общественно-необходимого человеческого труда, и труд сам по себе не может иметь никакой стоимости.

Говорить о стоимости труда и определять ее — это то же самое, что говорить о стоимости самой стоимости или желать определить вес не только физических тел, но и самой тяжести. Г-н Дюринг разделывается с такими людьми, как Сен-Симон, Оуэн и Фурье, называя их социальными алхимиками. Но, фантазируя над стоимостью рабочего времени, т. е. труда, он доказывает, что он сам стоит гораздо ниже, чем подлинные алхимики. И подумать только, с какой развязностью г. Дюринг навязывает Марксу утверждение, будто бы чье-либо рабочее время само по себе стоит больше, чем рабочее время других лиц, и будто бы рабочее время, т. е. труд, имеет стоимость,— тому самому Марксу, который впервые заявил, что труд не может иметь никакой стоимости, и доказал почему именно.

Для социализма, который хочет эмансипировать человеческую рабочую силу от ее роли товара, весьма важное значение имеет то соображение, что труд не имеет стоимости и не может иметь ее. Вместе с этим соображением теряют свое значение все доставшиеся по наследству г. Дюрингу от стихийного рабочего социализма попытки регулировать в будущем распределение средств существования как своего рода высшую заработную плату. Из него, далее, следует тот вывод, что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими мотивами, будет регулироваться интересами производства, а развитию производства наиболее способствует такой способ распределения, который позволяет всем членам общества возможно все-сторонее развить, сохранить и применить свои способности. Унаследованному же г. Дюрингом образу мышления образованных классов должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по профессии, и что человек, который распоряжался в течение получаса как архитектор, будет затем некоторое время толкать тачку, пока не явится опять необходимость в его деятельности как архитектора. Хорош был бы социализм, увековечивающий работу тачечника как специальную профессию.

Если равноценность рабочего времени должна иметь тот смысл, что каждый работник в равные промежутки времени производит равные стоимости и что нет необходимости для определения стоимости принимать в расчет какую-либо среднюю норму, то это, очевидно, неверно. Стоимость продукта одного часа труда двух работников, хотя бы одной и той же

отрасли промышленности, всегда окажется различна, смотря по интенсивности труда и искусству работника; этой беде, которая, впрочем, может казаться таковой только господам а 1а Дюринг, не может помочь никакая хозяйственная коммуна, по крайней мере на нашей планете. Что же остается, следовательно, от всей равноценности всякого труда? Не более, как хвастливая фраза, не имеющая иной экономической основы, кроме неспособности г. Дюринга провести различие между определением стоимости трудом и определением стоимости заработной платой. Он, в сущности, написал указ, основной закон новой хозяйственной коммуны: заработная плата за равный труд должна быть равна. Но ведь старые французские рабочие-коммунисты и Вейтлинг приводили гораздо лучшие доводы в пользу такого равенства заработной платы.

Как же разрешается весь важный вопрос о высшей оплате сложного труда? В обществе частных производителей издержки по обучению квалифицированного рабочего падают на частных лиц или их семейства; поэтому и частным лицам ближайшим образом достается высшая плата за обученную рабочую силу; как прежде обученный раб продавался дороже, так теперь обученный наемный рабочий оплачивается по высшей цене. В обществе, организованном социалистически, эти издержки оплачивает общество, поэтому ему принадлежат и результаты их, т. е. созданные более сложным трудом высшие стоимости. Сам рабочий не может претендовать ни на какой избыток. Из чего, между прочим, следует вывод, что и излюбленное притязание работника на «весь продукт труда» тоже иной раз оказывается не совсем неуязвимым.

VII. КАПИТАЛ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ.

«Под капиталом Маркс не разумеет прежде всего обычного экономического понятия, согласно которому капитал есть произведенное средство производства, но пытается втиснуть в это понятие более частную диалектически-историческую идею, вводящую его в игру метаморфозами понятий и истории. Капитал, по Марксу, образуется из денег; он образует историческую фазу, которая начинается с XVI века, именно с предполагаемых в это время зачатков мирового рынка. Очевидно, при подобном толковании понятий утрачивается острота политико-экономического анализа. В подобных пустых концепциях, которые должны быть наполовину историческими, наполовину логическими, а в действительности представляют только ублюдки исторической и логической фантастики, — исчезает способность рассудка к различению, а вместе с тем и добросовестное применение понятий»... В таком же духе продолжается поход на протяжении целой страницы: «благодаря марксовой характеристике понятия «капитала» может создаться в строгом политико-экономическом учении одна только путаница... легкомыслие, выдаваемое за глубокую логическую истину... шаткость оснований» и т. д.

Итак, по Марксу, капитал якобы образовался в начале XVI века из денег. Это то же самое, как если бы сказать, что металлические деньги, три тысячи слишком лет тому назад, образовались из скота, так как раньше скот, в числе других предметов, исполнял функцию денег. Только г. Дюринг способен к такому грубому и двусмысленному способу выражения. У Маркса при анализе экономических форм, в пределах которых совершается процесс обращения товаров, последней формой оказываются деньги. «Этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. Исторически капитал противопоставляется земельной собственности прежде всего в форме денег, как денежная сила, как торговый капитал или как ростовщический капитал... Эта же история разыгрывается ежедневно на наших глазах. Всякий новый капитал выступает впервые на сцену, т. е. на рынок, — товарный, рабочий или денежный, — всегда в форме денег, — денег, которые, при посредстве известного, определенного процесса, должны превратиться потом в капитал». Итак, здесь опять-таки Маркс констатирует факт. Не способный оспаривать этот факт, г. Дюринг извращает его: капитал, по Марксу, образуется из денег!

Затем Маркс подвергает дальнейшему исследованию те процессы, посредством которых деньги превращаются в капитал, и находит прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют как капитал, представляет собою форму, обратную той, в которой они циркулируют как всеобщий товарный эквивалент. Простой товаровладелец продает, чтобы купить; он продаст то, в чем не нуждается и покупает за вырученные при продаже деньги то, что ему нужно. Между тем, приступающий к делу капиталист покупает с самого начала то, в чем он сам не нуждается; он покупает, чтобы продать и, притом, продать дороже, чтобы сохранить затраченную первоначально на покупку денежную сумму, увеличенную денежным приростом, и этот прирост Маркс называет прибавочной стоимостью.

Откуда происходит эта прибавочная стоимость? Она не может образоваться ни оттого, что покупатель покупает товары ниже их стоимости, ни оттого, что продавец продает их выше стоимости. В обоих случаях прибыли и убытки каждого лица взаимно уравновешивались бы, ибо каждый непременно является покупателем и продавцом. Прибавочная стоимость не может также явиться результатом обмана, так как обман может только обогатить одного за счет другого, но не может увеличить общую сумму, которою оба обладают, следовательно не может увеличить общую сумму обращающихся стоимостей... «Класс капиталистов известной страны не может сам себя обсчитывать».

И тем не менее мы находим, что класс капиталистов каждой страны, взятый в целом, постоянно обогащается на наших глазах продавая дороже, чем купил, присваивая прибавочную стоимость. Таким образом мы приходим к тому же вопросу, с которого начали: откуда получается эта прибавочная стоимость? Этот вопрос необходимо решить и притом решить чисто экономическим путем, исключив всякий обман, всякое вмешательство какого-либо насилия, а именно вопрос: каким образом можно постоянно продавать дороже чем куплено, даже предполагая, что все время равные стоимости, обмениваются на равные?

Разрешение этого вопроса составляет великую историческую заслугу труда Маркса. Оно бросило яркий свет на такие экономические области, в которых до сих пор социалисты, не менее, чем буржуазные экономисты, бродили в глубоких потемках. От него берет начало научный социализм, оно—средоточие круга идей этого учения.

Это решение таково. Увеличение суммы обращающихся денег, которые должны превратиться в капитал, не может произойти само собой из этих денег или образоваться от покупки товаров, ибо деньги в акте покупки только реализуют цену товара, а эта цена, согласно нашему предположению о том, что обмениваются равные стоимости, соответствует стоимости товара. Увеличение стоимости не может возникнуть, по тем же основаниям, также из акта продажи товаров. Значит, такое изменение должно произойти с товаром, который покупается, притом не с его стоимостью, так как он покупается и продается по своей стоимости, а с его потребительной стоимостью как таковою; следовательно, изменение в стоимости должно происходить из потребления самого товара. «Но для того, чтобы извлечь из потребления товара стоимость, нужно, чтобы нашему капита- листу посчастливилось найти на рынке такой товар, потребительная стоимость которого обладала бы специфическим свойством быть источником стоимостей так, чтобы самое потребление товара было воплощением труда, т. е. созданием новой стоимости. И действительно, владелец денег находит на рынке такой специфический товар, — способность к труду, или рабочую силу». Если, как мы видели, труд, как таковой, не может иметь стоимости, то не так обстоит дело с рабочей силой. Последняя получает стоимость, лишь только она, как это фактически имеет место ныне, становится товаром, и эта стоимость определяется, «подобно стоимости всякого другого товара, рабочим временем, необходимым для производства, следовательно и для воспроизводства, этого специфического предмета», т. е. рабочим временем, которое требуется для производства жизненных средств, необходимых работнику для поддержания себя в состоянии пригодности к труду и для продолжения своего рода. Допустим. что эти жизненные средства представляют ежедневно рабочее время в 6 часов. Наш капиталист закупает для ведения предприятия рабочую силу, т. е. нанимает работника, и если он уплатит ему денежную сумму, которая представляет собою 6 часов труда, то тем самым он оплатит ему сполна дневную стоимость рабочей силы. Но рабочий, отработав 6 часов у данного капиталиста, возместит ему только расход, т.е. уплаченную стоимость дневной рабочей силы, и, в таком случае, деньги еще не превратятся в капитал, не произведут никакой прибавочной стоимости. Поэтому покупатель рабочей силы смотрит совершенно иначе на характер заключенной, им сделки. Тот факт, что всего лишь 6-часовой труд необходим для того, чтобы содержать рабочего в течение 24 часов, вовсе не мешает последнему работать 12 часов из этих 24. Стоимость рабочей силы и ее реализация в процессе труда суть величины совершенно различ-ные. Владелец денег заплатил дневную стоимость рабочей силы, и ему поэтому принадлежит и пользование ею в течение всего дня, труд в продолжение одного дня. То обстоятельство, что стоимость, создаваемая употреблением рабочей силы в течение дня, вдвое больше ее собственной дневной стоимости, представляет особенное счастье для покупателя, но по законам обмена товаров не соста-вляет никакой несправедливости по отношению к

продавцу. Итак, рабочий, как мы поняли, получает от владельца капитала ежедневно известное количество продуктов, равное по стоимости 6 часам труда, а сам доставляет последнему ежедневно продукт, равный по стоимости 12 часам труда. Разница в пользу владельца денег — 6 часов неоплаченного прибавочного труда, т.е. неоплаченного прибавочного продукта, в котором воплощен 6-часовой труд. Фокус проделан. Прибавочная стоимость произведена, деньги превратились в капитал.

Доказав, таким образом, как возникает прибавочная стоимость и как она может возникнутъ только при господстве законов, регулирующих обмен товаров, Маркс разоблачил механизм современного капиталистического способа производства и опирающийся на него способ присвоения и тем самым разоблачил основной элемент, который находится в центре всего современного общественного строя.

Впрочем, капитализм требует одной существенной предпосылки: «для превращения денег в капитал владелец денег должен найти на товарном рынке свободного работника, свободного в двояком смысле, во-первых, в том смысле, что он, как свободная личность, распоряжается своей рабочей силой как товаром, а во-вторых, в том, что у него нет для продажи другого товара, что он человек вольный и незанятый, свободный от всех предметов, необходимых для приведения в действие рабочей силы». Но это подразделение общества на владельцев денег или товаров, с одной стороны, и на владельцев одной только рабочей силы—с другой, не есть отношение естественное и не является таким, которое было бы обще всем историческим периодам, «оно само, очевидно, есть результат прошлого исторического развития, продукт... упадка целого ряда более древних формаций общественного производства».

Впервые свободный рабочий встречается в массовом количестве в конце XV и начале XVI столетия, вследствие разложения феодального способа производства. Этим обстоятельством, вместе с начавшимся в ту же эпоху созданием мирового рынка и мировой торговли, была дана основа, на которой масса наличного движимого богатства все более и более должна была превращаться в капитал, и капиталистический способ производства, направленный к созданию прибавочной стоимости, должен был все более и более становиться исключительно господствующим.

Таковы «пустые концепции» Маркса, эти «ублюдки исторической и логической фантастики», в которых «исчезает способность рассудка к различению, а вместе с тем и добросовестное применение понятий». Противопоставим же этим «плодам легкомыслия» те «глубоко логические истины» и «последнюю строжайшую научность, в смысле точных знаний», которые нам доставляет г. Дюринг.

Итак, под капиталом Маркс разумеет не обычное экономическое понятие, согласно которому «капитал есть произведенное средство производства»; напротив того, он утверждает, что известная сумма стоимостей лишь тогда превращается в капитал, когда она увеличивается в стоимости посредством создания прибавочной стоимости. А что говорит г. Дюринг? «Капитал есть основа экономических сил, служащих для ведения производства и для образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы». Как оракульски и неряшливо ни выражено это, несомненно одно: основа экономических сил может вести производство целую вечность, но она, по собственным словам г.Дюринга, не станет капиталом, пока не образует «долей участия в плодах всеобщей рабочей силы», т. е. прибавочной стоимости или, по крайней мере, прибавочного продукта. Следовательно, г. Дюринг не только сам совершает тот грех, который он ставит в упрек Марксу, грех игнорирования обычного экономического понятия «капитал», но он, сверх того, совершает «плохо прикрытый» высокопарными фразами неловкий плагиат у Маркса.

На странице 262 это развивается подробнее: «Капитал в соци-альном смысле (а капитал не в социальном смысле г. Дюрингу еще предстоит открыть) именно специфически отличается от простого средства производства; ибо тогда как последнее имеет лишь технический характер и необходимо при всяких обстоятельствах, первый характеризуется своей общественной силой присвоения и образования долей участия в плодах всеобщего труда. Социальный капитал, впрочем, является большею частью не чем иным, как техническим средством производства в его социальной функции; но именно эта-то функция и должна исчезнуть». Если мы примем во внимание, что именно Маркс впервые обрисовал ту «социальную функцию», при помощи которой известная сумма стоимостей только и становится капиталом, то, во всяком случае, «для каждого внимательного наблюдателя должно скоро выясниться, что марксова характеристика понятия капитала может породить путаницу», но отнюдь не в строго политико-экономическом учении, как думает г. Дюринг, а единственно в голове самого Дюринга, который в «Критической истории» уже забыл, как много он пользовался этим понятием капитала в своем «Курсе».

Однако г. Дюринг не довольствуется тем, что заимствовал свое" определение капитала, хотя и в «очищенной» форме, у Маркса. Он вынужден последовать за ним и на путь «игры метаморфозами понятий и истории», притом хорошо зная. что из этого ничего не выйдет, кроме «пустых концепций», «плодов легкомыслия», «шаткости оснований» и т. д. Откуда происходит эта «социальная функция»» капитала, которая позволяет ему присваивать плоды чужого труда и которою он только и отличается от простого средства производства? Она основывается, говорит г. Дюринг, «не на природе средств производства и их технической необходимости». Следовательно, она возникла исторически, и г. Дюринг на странице 252 повторяет нам только то, что мы уже слышали десять раз, объясняя возникновение капитала посредством давно известного приключения с двумя легендарными субъектами, из которых в начале истории один превратил свое средство производства в капитал, силой покорив другого. Но, не довольствуясь тем, что он признает историческое происхождение социальной функции, благодаря которой известная сумма стоимостей только и становится капиталом, г. Дюринг про- рочит ей также и исторический конец: «именно она-то и должна исчезнуть».

Явление, исторически возникающее и вновь исчезающее в истории, принято, говоря обычным языком, называть, «исторической фазой». Таким образом, капитал является исторической фазой не только у Маркса, но и у г. Дюринга, и последний, нападая на Маркса, придерживается в данном случае иезуитского правила: если два человека делают одно и то же, то это еще вовсе не то же самое. Если Маркс говорит, что существование капитала представляет историческую фазу, то это пустая концепция, ублюдок исторической и логической фантастики, в которой исчезает способность различения, а вместе с тем и добросовестное применение понятий. Если же г. Дюринг также говорит, что существование капитала является исторической фазой, то это лишь доказательство остроты народнохозяйственного анализа и последней строжайшей научности, в смысле точных дисциплин.

Чем же отличается дюрингово представление о капитале от марксова?

Капитал, говорит Маркс, «не изобрел прибавочного труда. Повсюду, где одна часть общества владеет монополией на средства производства, рабочий, свободный или несвободный, должен к рабочему времени, необходимому для своего поддержания, прибавить лишнее рабочее время для того, чтобы произвести средства к жизни для собственника средств производства». Прибавочный труд, труд, длящийся сверх необходимого для поддержания жизни работника времени, и присвоение продукта этого прибавочного труда другими, т. е. эксплоатация труда, таким образом, общи всем до сих

пор существовавшим формам общества, поскольку последние движутся в классовых противоречиях. Но только в том случае, когда продукт этого прибавочного труда принимает форму прибавочной стоимости, когда собственник средств производства находит, как объект для эксплоатации, свободного работника — свободного от социальных уз и свободного от собственности — и эксплоатирует его в целях производства товаров, только тогда, по Марксу, средство производства принимает специфический характер капитала. Это произошло в значительных размерах только с конца XV и начала XVI столетий.

Напротив того, г. Дюринг объявляет капиталом каждую сумму средств производства, которая образует «долю участия в плодах всеобщей рабочей силы», следовательно всякий прибавочный труд, безразлично в какой бы форме он ни проявлялся. Другими словами, г. Дюринг заимствует у Маркса открытый им прибавочный труд, чтобы, при его помощи, замолчать не входящую в данную минуту в его расчеты прибавочную стоимость, открытую также Марксом. По г. Дюрингу, следовательно, не только движимое и недвижимое богатство коринфских и афинских граждан, хозяйничавших при помощи рабов, но и богатство римских крупных землевладельцев эпохи империи и, не менее того, богатство феодальных баронов средневековья, поскольку оно каким-либо образом служило производству, — все это, без различия, представляло собою капитал.

Таким сбразом, сам г. Дюринг разумеет под капиталом даже не обычное понятие, согласно которому капитал есть «произведенное средство производства», но скорее противоположное ему, которое включает в себя даже непроизведенные средства производства, землю и ее естественные вспомогательные источники. Между тем представление, по которому капитал есть просто «произведенное средство производства», обычно опять-таки лишь в вульгарной экономии. Вне этой столь дорогой г. Дюрингу вульгарной экономии «произведенное средство производства», или известная сумма стоимостей вообще, становится капиталом только благодаря тому, что она приносит прибыль или процент, т. е. прибавочный продукт неоплаченного труда, в форме прибавочной стоимости, причем эта прибавочная стоимость присваивается именно в этих двух определенных частных формах. При этом не имеет никакого значения то обстоятельство, что вся буржуазная экономия усвоила себе представление, будто бы свойство давать прибыль или процент само по себе принадлежит всякой сумме стоимостей, которая, при нормальных условиях, затрачена в производстве или обмене. Капитал и прибыль или капитал и процент не отделимы в классической экономии друг от друга, состоят между собой в такой связи, как причина и следствие, отец и сын, вчера и сегодня. Но слово «капитал», в его современном экономическом значении, появилось впервые около того времени, когда он сам возник как особое явление, когда движимое богатство стало приобретать все более и более функцию капитала, поскольку оно направлялось к присвоению прибавочного труда свободных наемных рабочих, привлекаемых к производству товаров; причем слово это вводится в употребление первой исторически-капиталистической нацией — итальянцами XV и XVI веков. И если Маркс первый проанализировал до конца свойственный современному капиталу способ присвоения, если он привел понятие капитала в согласие с историческими фактами, из которых оно было, в конечном счете, выведено и которым оно обязано своим существованием; если Маркс тем самым освободил это экономическое понятие от неясных и шатких представлений, которые наслоились на нем и в классической буржуазной политической экономии, и у прежних социалистов, то это значит, что именно Маркс применил ту «последнюю и строжайшую научность», которая постоянно на устах г. Дюринга и которой мы, к прискорбию, совсем не находим в его сочинениях.

Действительно, у г. Дюринга все это дело принимает иной вид. Он не довольствуется тем, что сначала изображение капитала, как исторической фазы, объявил «ублюдком исторической и логической фантастики», а затем сам представил его как историческую фазу. Он огулом объявляет капиталом все экономические средства, все средства производства, которые присваивают «доли в плодах всеобщей рабочей силы», следовательно также и земельную собственность во всех классовых обществах. Это, однако, нисколько не мешает ему в дальнейшем изложении земельную собственность и земельную ренту совершенно традиционным образом отделить от капитала и прибыли и называть капиталом лишь те средства производства, которые дают прибыль или процент, как это можно подробно прочесть на странице 116 и следующих его «Курса». С таким же основанием г. Дюринг мог бы понимать под словом «локомотив» лошадей, волов, ослов и собак, на том основании, что и при их помощи может двигаться экипаж, и поставить в упрек современным инженерам, что они, ограничивая понятие «локомотив» применением только к современным паровозам, делают его исторической фазой, создают пустые концепции, ублюдки исторической и логической фантастики и т. д., но затем, конечно, не помешало бы г. Дюрингу заявить, что все-таки лошади, ослы, волы и собаки не могут быть названы локомотивами, так как это название применимо только к паровозам. А потому мы вновь вынуждены подтвердить, что именно при определении Дюрингом понятия «капитал» пропадает всякая острота народно-хозяйственного анализа и исчезает всякая способность различения вместе со всяким добросовестным применением понятий и что пустые концепции, путаница, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, и шаткость оснований, — все это как раз составляет достояние самого г. Дюринга.

Однако это еще ничего не значит. За г. Дюрингом все же остается заслуга открытия того главного полюса, около которого движется вся существовавшая до сих пор экономика, вся политика и юриспруденция, другими словами, вся история.

Вот это открытие:

«Насилие и труд — вот два главных фактора, которые участвуют в образовании социальных связей».

В одном этом положении заключается конституция существующего до сих пор экономического строя. Она может быть выражена кратко и ясно в двух пунктах:

Параграф I. Труд производит.

Параграф II. Насилие распределяет.

Этим, «выражаясь человеческим и немецким языком», исчерпывается вся экономическая мудрость г. Дюринга.

VIII. КАПИТАЛ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (ОКОНЧАНИЕ)

«По мнению г. Маркса, заработная плата представляет только оплату рабочего времени, в течение которого работник занят производством лишь для того, чтобы иметь возможность поддержать свое собственное существование. Для этого достаточно сравнительно небольшого числа часов; вся остальная часть зачастую сильно растянутого рабочего дня доставляет избыток, в котором содержится так называемая нашим автором «прибавочная стоимость» или, говоря обычным языком, прибыль на капитал. За вычетом рабочего времени, уже заключающегося на какой-либо ступени производства в средствах труда и в

сырых материалах, остальной избыток рабочего дня сосгавляет долю капиталистического предпринимателя. Поэтому удлинение рабочего дня есть чисто эксплоататорская прибыль в пользу капиталиста».

Итак, по г. Дюрингу выходит, что прибавочная стоимость по Марксу есть не более, как то, что называют на обычном языке барышом капиталиста, или прибылью. Послушаем самого Маркса. На странице 195 «Капитала» прибавочная стоимость объясняется заключенными непосредственно вслед за этим словом в скобки словами: «процент, прибыль, рента». На странице 210 Маркс приводит пример, в котором показано, как сумма прибавочной стоимости в 71 шиллинг проявляется в различных формах, созданных распределением: десятина, местные и государственные налоги —21 шилл., земельная рента — 28 шилл., прибыль арендатора и процент — 22 шилл., итого общая сумма прибавочной стоимости — 71 шилл. На странице 542 Маркс объявляет главным пробелом у Рикардо, что последний «не представляет прибавочной стоимости в чистом виде, т. е. независимо от ее особых форм, как прибыль, земельная рента и т. д.», и что он поэтому непосредственно смешивает законы, управляющие нормой прибавочной стоимости, с законами, управляющими нормой прибыли, по поводу чего Маркс замечает: «Впоследствии, в третьем томе этого сочинения, я докажу, что та же самая норма прибавочной стоимости может выражаться в самых различных нормах прибыли, и различные нормы прибавочной стоимости, при определенных условиях, выражаются в одной и той же норме прибыли». На странице 587 говорится: «Капиталист, производящий прибавочную стоимость, т. е. выкачивающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фиксирующий его в товарах, является, правда, первым присвоителем, но отнюдь не последним собственником этой прибавочной стоимости. Ему затем приходится разделить ее с капиталистами, исполняющими другие функции в общем процессе общественного производства, с землевладельцами и т. д. Прибавочная стоимость поэтому распадается на различные части; ее доли достаются лицам различных категорий и приобретают разные самостоятельные по отношению одна к другой формы, как-то: прибыль, процент, торговый барыш, земельная рента и т. д. Эти превращенные формы прибавочной стоимости могут быть рассмотрены только в третьем томе». То же самое говорит он во многих других местах.

Трудно выразиться точнее. При каждом удобном случае Маркс обращает внимание на то, что его прибавочную стоимость нельзя смешивать с прибылью на капитал, так как последняя является только частной формой и часто даже только одной долей прибавочной стоимости. Если же г. Дюринг, тем не менее, утверждает, будто бы прибавочная стоимость, по Марксу, есть, «говоря обычным языком, прибыль на капитал», и если принять во внимание, что вся книга Маркса вертится вокруг прибавочной стоимости, то возможно только одно из двух: либо Дюринг ничего не понимает, и тогда требуется беспримерное бесстыдство, чтобы ругать книгу, главного содержания которой не знаешь, или же он понимает, в чем дело, и в таком случае он намеренно извращает ее смысл.

Далее: «Ядовитая ненависть господина Маркса по отношению к этой, покоящейся на эксплоатации, системе хозяйства вполне понятна. Впрочем, и более мощный гнев и еще более безусловное признание эксплоататорского характера хозяйственной формы, основанной па заемном труде, возможны, но без принятия того теоретического подхода, который выражается в учении Маркса о прибавочной стоимости».

Итак, употребленый с благим намерением, но ошибочный теоретический подход Маркса вызывает в последнем ядовитую нена-висть по отношению к покоящейся на эксплоатации системе хозяйства; нравственное само по себе чувство приобретает, благодаря ложному «теоретическому подходу», безнравственный характер, проявляясь в виде неблагородной

ненависти и низменной ядовитости. Напротив того, строжайшая научность г. Дюринга выражается в нравственном чувстве соответственно благородного характера, в гневе, который по форме нравственней и к тому же превосходит количественно ядовитую ненависть и представляется поэтому гневом более мощным. Оставив Дюринга наслаждаться самим собой, постараемся, между тем, выяснить, каков источник его мощного гнева.

«Возникает,—говорит он,— вопрос, каким образом конкурирующие предприниматели оказываются в состоянии постоянно продавать весь продукт труда, а вместе с тем и прибавочный продукт, по цене, превышающей в значительной мере естественные издержки производства, как это показывает существование избыточного рабочего времени? Ответа на этот вопрос мы не находим в доктрине Маркса по той, собственно, простой причине, что в ней не могла найти места даже постановка этого вопроса. Паразитический характер производства, основанного на наемном труде, не затронут серьезно, и социальное устройство, с его эксплоататорскими позициями, вовсе не признается главной основой белого невольничества. Напротив того, все политически-социальное, по Марксу, всегда должно объясняться экономически».

Между тем, из вышеприведенных мест мы убедились, что Маркс вовсе не утверждает, будто бы прибавочный продукт достается сполна капиталисту, который является его первым присвоителем, и продается всегда, в среднем, по полной своей стоимости, как утверждает г. Дюринг. Маркс говорит буквально, что и торговая прибыль образует часть прибавочной стоимости, а это при наличных предпосылках возможно лишь в том случае, если фабрикант продает свой продукт ниже его стоимости и тем уделяет торговцу долю в добыче. Этот вопрос не мог быть даже поставлен Марксом, во всяком случае, в том виде, как он ставится г. Дюрингом. Рационально поставленный, этот вопрос заключается в том, каким образом прибавочная стоимость превращается в свои частные формы: предпринимательскую прибыль, процент, торговую прибыль, земельную-ренту и т. д. А этот вопрос Маркс обещает разрешить в третьем томе. Если же г. Дюринг не мог подождать появления второго тома «Капитала», то он должен был, пока что, несколько внимательнее перечитать первый том. Тогда он смог бы, кроме приведенных мест, прочесть, например, на странице 323, что, по Марксу, имманентные законы капиталистического производства, проявляясь во внешнем движении капиталов, превращаются в принудительные законы конкуренции и в этой форме представляются сознанию индивидуального капиталиста как побудительные мотивы; что, таким образом, научный анализ конкуренции возможен лишь постольку, по- скольку понята внутренняя природа капитала; совершенно так, как видимое движение небесных тел понятно лишь тому, кто знает их действительное, но чувственно не воспринимаемое движение. Затем Маркс на одном примере показывает, каким образом известный закон, именно закон стоимости, проявляется в определенном случае в рамках конкуренции и обнаруживает свою побудительную силу. Г-н Дюринг уже из этого мог заключить, что при распределении прибавочной стоимости главную роль играет конкуренция; при некоторой же вдумчивости, этих приведенных в первом томе указаний совершенно достаточно, чтобы понять, по крайней мере в общих чертах, превращение прибавочной стоимости в ее частные формы.

Но для г. Дюринга именно конкуренция представляется абсолютным препятствием к уразумению прибавочной стоимости. Он не может понять, каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно продавать весь продукт труда, в том числе и прибавочный продукт, по цене, значительно превышающей естественные издержки производства. Здесь мы опять-таки имеем дело с обычной «строгостью» в употреблении терминов, которая на самом деле является неряшливостью. Для

производства прибавочного продукта, по теории Маркса, совсем не требуется таких издержек производства; он представляет собой ту часть продукта, которая ничего не стоит капиталисту. Если бы, следовательно, конкурирующие предприниматели захотели реализовать прибавочный продукт по его собственным издержкам производства, то они должны были бы просто подарить его. Однако не будем останавливаться на подобных «микрологических частностях». Разве на самом деле конкурирующие предприниматели не реализуют ежедневно продукт труда по цене, превышающей естественные издержки его производства? По г. Дюрингу, естественные издержки производства заключаются в «затрате труда или силы, а последняя, в свою очередь, может измеряться, в окончательном счете, затратой питания»; следовательно, в современном обществе естественные издержки производства состоят из расходов, действительно затраченных на сырой материал, на средства производства и на заработную плату; прибыль же соответствует «обложению», надбавке, вынуждаемой с мечом в руке. Между тем известно, что в обществе, в котором мы живем, конкурирующие предприниматели не реализуют продуктов по естественным издержкам их производства, но присчитывают и обыкновенно получают мнимую «надбавку», прибыль. Таким образом вопрос, который, как думает г. Дюринг, ему нужно было только поставить, чтобы опрокинуть все здание Маркса, подобно тому как некогда Иисус Навин разрушил стены Иерихона, — этот вопрос существует также и для экономической теории г. Дюринга. Посмотрим же, как он отвечает на него.

«Собственность на капитал, — говорит он, — не имеет никакого практического смысла и не может быть реализована, если в нее не вложено одновременно косвенное насилие над человеческим материалом. Результатом этого насилия является прибыль на капитал, и величина последней зависит поэтому от объема и интенсивности этого применения господства... Прибыль на капитал есть политически-социальный институт, действующий более могущественно, чем конкуренция. Предприниматели, в погоне за прибылью, действуют как сословие, и каждый в отдельности утверждает за собой свою позицию. Известная высота прибыли на капитал является необходимостью при господствующем способе хозяйства».

К сожалению, мы и теперь все еще не знаем, каким образом конкурирующие предприниматели оказываются в состоянии реализовать продукты труда постоянно выше естественных издержек производства. Г-н Дюринг не может же ценить свою публику так низко, чтобы водить ее за нос фразой, в которой голословно утверждается, что прибыль на капитал выше конкуренции, подобно тому как в былое время прусский король стоял выше законов. Махинации, посредством которых король прусский обеспечивал себе такое положение, нам известны; махинации же, благодаря которым прибыль становится более могущественной, чем конкуренция, — казалось бы, нам должен был объяснить г. Дюринг, но он упорно замалчивает этот вопрос. Точно так же он ничего не разъясняет, когда говорит, что предприниматели, в погоне за прибылью, действуют как сословие и при этом каждый отдельный предприниматель утверждает за собою свою позицию. Мы ведь не должны верить ему на слово, будто бы известному количеству людей нужно только выступить как сословию, чтобы каждый из них в отдельности утвердил за собой свою позицию. Цеховые мастера средневековья и французские дворяне в 1789 г. выступали, как известно, очень решительно как сословие и тем не менее потерпели поражение. Прусская армия действовала при Иене тоже как сословие, но вместо того чтобы утвердить за собой свои позиции, она должна была, напротив, удирать во все лопатки, а потом даже по частям сдаться на капитуляцию.

Так же мало может нас удовлетворить и уверение в том, что, при данном господствующем способе хозяйства, известная высота прибыли является необходимостью; ведь требуется именно доказать, почему это так. Ни на шаг не приближает нас к цели и заявление г.

Дюринга, что «господство капитала выросло в связи с земельным господством. Часть крепостных сельских рабочих, перейдя в города, превратилась там в ремесленных рабочих, а затем и в фабричных рабочих. После земельной ренты образовалась прибыль на капитал, как вторая форма ренты владения». Если даже оставить в стороне историческую неверность в изложении г. Дюринга, оно все-таки представляется лишь простым утверждением, подкрепляемым одними клятвами в истинности того, что он именно должен был разъяснить и доказать. Мы, следовательно, не можем прийти ни к какому иному заключению, кроме того, что г. Дюринг не способен ответить на поставленный им же самим вопрос—каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно реализовать продукт труда выше его естественных издержек производства; следовательно, он не способен объяснить возникновение прибыли. Ему не остается ничего другого, как просто декретировать: прибыль на капитал есть результат насилия, что, впрочем, согласуется вполне с изложенным выше параграфом II конституции общества, принадлежащей перу Дюринга: насилие распределяет. Это, конечно, сказано очень красиво, но теперь-то и «возникает вопрос»: насилие распределяет,— а что именно? Ведь должно же быть что-либо, что подлежит распределению, иначе даже самая могучая сила не может ничего распределить, при всем своем желании. Прибыль, которую кладут в свой карман конкурирующие предприниматели, есть нечто весьма ощутительное и солидное. Насилие может отнять ее, но не может создать. И если г. Дюринг упорно отказывается от разъяснения того, как насилие отнимает предпринимательскую прибыль, то на вопрос, откуда она берется, из какого источника, он отвечает уже гробовым молчанием. Где ничего нет, там и король, как и всякая другая сила, теряет свои права. Из ничего невозможно что-либо создать, а тем более прибылъ. И если собственность на капитал не имеет никакого практического смысла и не может быть реализована, поскольку в нее в то же время не вложено косвенного насилия над человеческим материалом, то снова спрашивается, во-первых, как эта собственность на капитал достигла такой силы, —вопрос, совсем не разрешенный приведенными выше историческими указаниями; во-вторых, как эта достигнутая сила способствует получению прибыли на капитал; и, в-третьих, из какого источника берется эта прибыль.

Мы можем рассматривать политическую экономию Дюринга с какой угодно стороны, и все-таки мы ни на шаг не подвинемся вперед. Для всех не нравящихся ему явлений, каковы прибыль, земельная рента, голодная заработная плата, угнетение рабочего, он имеет только одно слово для объяснения: насилие и опять насилие, и «более мощный гнев» г. Дюринга по этому поводу превращается в гнев против этого же «насилия».

Мы видели, во-первых, что эта ссылка на насилие представляет жалкую увертку, удаление из экономической области в политическую, которое не в состоянии объяснить ни одного экономического факта; а во-вторых, что она не сопровождается объяснением возникновения самого насилия, и это делается намеренно, так как иначе пришлось бы прийти к заключению, что всякая общественная власть и всякая политическая сила коренятся в экономических условиях, в исторически данном способе производства и обмена того или другого общества.

Попытаемся, однако, не сможем ли мы исторгнуть у неумолимого «более глубокого основоположника» политической экономии еще несколько разъяснений по поводу прибыли. Быть может, нам это удастся, если мы познакомимся ближе с его изложением вопроса о заработной плате. Там, на странице 158, говорится:

«Заработная плата есть наемная плата для поддержания рабочей силы и должна приниматься в соображение прежде всего только как основание для земельной ренты и

прибыли на капитал. Чтобы совершенно выяснить себе возникающие при этом отношения, следует представить себе земельную ренту, а затем и прибыль на капитал, исторически, сперва без заработной платы, т. е. на основе рабства или крепостничества... Приходится ли содержать раба, или крепостного, или же наемного рабочего,—это обусловливает различие только в способах употребления издержек производства. Во всяком случае, добытый использованием рабочей силы чистый продукт составляет доход хозяина... » «Таким образом, очевидно, что... именно та главная противоположность, в силу которой на одной стороне появляется какой-либо вид ренты владения, а на другой — наемный труд неимущих, может быть понята только в том случае, если принимаются во внимание совместно эти два фактора». А рента владения, как мы узнаем на странице 188, есть общее выражение для земельной ренты и прибыли на капитал. Далее, на странице 174, говорится: «Сущность прибыли на капитал заключается в присвоении большей части продукта рабочей силы. Нельзя себе представить прибыль без коррелата—труда, прямо или косвенно, в той или другой форме». И на той же странице 174 сказано, что заработная плата «при всяких обстоятельствах представляет не более, как наемную плату, посредством которой в общем должно быть обеспечено содержание рабочих и возможность продолжения рода». И, наконец, на странице 195: «То, что приходится на ренту владения, составляет потерю для заработной платы, и, наоборот, то, что достается труду из общей производительной способности, должно быть отнято от доходов владения (!)».

Г-н Дюринг поражает нас все больше и больше. В теории стоимости и в последующих главах, вплоть до учения о конкуренции включительно, следовательно с 1 до 155 страницы, товарные цены или стоимости распадаются, во-первых, на естественные издержки производства, или производственную стоимость, т. е. расходы на сырье, на орудия труда и на заработную плату, и, во-вторых, на надбавку, или распределительную стоимость, на вынужденный с мечом в руке налог в пользу класса монополистов. Эта надбавка, как мы видели, в действительности ничего не могла изменить в системе распределения богатств, так как, при ее существовании, то, что отнимается одной рукой, приходится возвращать обратно другой. Сверх того, поскольку г. Дюринг осведомляет нас о ее происхождении и содержании, она оказывается возникшей из ничего, а потому и состоящей из ничего. В двух следующих главах, трактующих о разных родах доходов, т.е. со страницы 156 до 217, уже ничего не говорится о надбавке. Вместо того стоимость каждого продукта труда, следовательно каждого товара, подразделяется на следующие две части: во-первых, на издержки производства, под которыми подразумевается также и выплаченная заработная плата, и, во-вторых,—на «достигаемый использованием рабочей силы чистый продукт», образующий доход хозяина. Этот чистый продукт имеет вполне определенную физиономию, которую никакой татуировкой или искусным размалевыванием нельзя прикрыть. «Чтобы совершенно выяснить возникающие здесь отношения», пусть читатель сопоставит только что приведенные и подчеркнутые места из сочинения г.Дюринга с прежде приведенными цитатами из Маркса о прибавочном труде, прибавочном продукте и прибавочной стоимости, и он найдет, что г. Дюринг в этом случае прямо списывает слова из «Капитала», правда на свой манер.

Прибавочный труд в какой-либо форме, будь то рабство, крепостничество или наемный труд, г. Дюринг признает источником доходов всех господствовавших до сих пор классов; это взято из много раз цитированного места «Капитала», страница 277: «Капитал не изобрел прибавочного труда» и т. д. А «чистый продукт», который образует «доход хозяина», — чтО это такое, как не избыток продукта труда над заработной платой, которая и у г. Дюринга, несмотря на свое совершенно излишнее облачение в одежду «наемной платы», должна обеспечить, в общем, поддержание жизни работника и возможность продолжения его рода? И в самом деле, как может происходить присвоение

«большей части продукта рабочей силы», если не тем путем, что капиталист, как это представлено у Маркса, выжимает из работника больше труда, чем сколько необходимо для воспроизводства потребленных последним жизненных средств, т. е. тем путем, что капиталист заставляет работника работать больше, чем требуется для того, чтобы возместить стоимость заплаченной работнику заработной платы?

Следовательно, удлинение рабочего дня за пределы времени, необходимого для воспроизводства жизненных средств работника, т.е. именно прибавочный труд, о котором говорит Маркс,—оно, а не что-нибудь другое, и фигурирует у г. Дюринга как продукт, являющийся результатом «использования рабочей силы»; точно так же «чистый доход» «хозяина», о котором говорит г. Дюринг, можно ли его представить иначе, как не в виде марксова прибавочного продукта и прибавочной стоимости? И чем иным, кроме неточности выражения, отличается «владельческая рента» Дюринга от марксовой прибавочной стоимости? Впрочем, самый термин «владельческая рента» г. Дюринг заимствовал у Родбертуса, который уже обозначал общим термином «рента» собственно земельную ренту и ренту с капитала, или прибыль на капитал, так что г. Дюрингу осталось только прибавить «владение» . А чтобы уже не осталось никакого сомнения в наличности плагиата, г. Дюринг своеобразно резюмирует развитые Марксом в 15-й главе (страница 539 и следующие «Капитала») законы, касающиеся изменения величины цены рабочей силы и прибавочной стоимости, говоря, что то, что достается владельческой ренте, должно пропасть для заработной платы и наоборот, и сводит, таким образом, весьма содержательные частные законы Маркса к бессодержательной тавтологии, ибо само собою-разумеется, что одна часть данной величины, распадающейся на две части, не может возрасти без того, чтобы другая не уменьшилась. И г. Дюрингу удалось совершить присвоение идей Маркса в такой форме, при которой совершенно утратилась «последняя и строжайшая научность в смысле точных наук», каковая, во всяком случае, заключается в ходе рассуждения у Маркса.

Таким образом, мы вынуждены прийти к заключению, что страшный шум. поднятый г. Дюрингом в «Критической истории» по поводу «Капитала», и особенно вихрь фраз в связи с пресловутым вопросом, который возникает при рассмотрении прибавочной стоимости и который он лучше не ставил бы, раз сам не мог на него ответить,— что-все это только военная хитрость, ловкий маневр с целью прикрыть грубый плагиат, совершенный в «Курсе» по отношению к Марксу. Г-н Дюринг имел в самом деле все основания предостерегать своих читателей от знакомства с «тем клубком, который г. Маркс назвал «Капиталом», от ублюдков исторической и логической фантастики, от гегелевских путаных туманных представлений и уверток» и т. д.. Венеру, от которой предостерегает этот верный Эккарт немецкое юношество, он сам втихомолку увел к себе из владений Маркса. Поздравляем его с этим, добытым благодаря использованию марксовой рабочей силы, чистым доводом и с тем своеобразным освещением, которое его аннексия учения Маркса о прибавочной стоимости под именем владельческой ренты набрасывает на мотивы его лживого и настойчивого (оно повторяется в двух изданиях) утверждения, будто бы Маркс под прибавочной стоимостью понимает только прибыль или доход на капитал.

В заключение мы должны охарактеризовать заслуги г. Дюринга его же словами: «По мнению г-на»... Дюринга, «заработная плата представляет только оплату рабочего времени, в течение которого работник занят производством лишь для того, чтобы иметь возможность поддержать свое собственное существование. Для этого достаточно лишь сравнительно небольшого числа часов; вся остальная часть зачастую сильно растянутого рабочего дня доставляет избыток, в котором содержится так называемая нашим автором»... рента владения. «За вычетом рабочего времени, уже заключающегося, на

какой-либо ступени производства, в средствах труда и сырых материалах, остальной избыток рабочего дня составляет долю капиталистического предпринимателя. Поэтому удлинение рабочего дня есть чисто эксплоататорская прибыль в пользу капиталиста». «Ядовитая ненависть», с которой г. Дюринг культивирует «этот способ изображения эксплоататорства», вполне понятна... Зато менее понятно, каким образом, совершивши плагиат, он отыщет в своей душе место «более мощному гневу».

IX. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ ХОЗЯЙСТВА. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА.

До сих пор при всем желании мы не могли открыть, каким образом г. Дюринг пришел к тому, чтобы в области экономии «выступидь с притязанием на новую, не просто удовлетворительную для своей эпохи, но и решающую для данной эпохи систему». Но, быть может, то, чего мы не могли усмотреть в теории насилия, в учении о стоимости и капитале, окажется прямо очевидным при рассмотрении выставленных г. Дюрингом «естественных законов народного хозяйства». Ибо, как он выражается с обычной оригинальностью и остроумием, «триумф высшей научности состоит в том, чтобы от простых описаний и разделений как бы неподвижного материала достигнуть живых взглядов, освещающих творчество. Познание законов является поэтому наиболее совершенным, ибо оно нам показывает, как одно явление обусловливается другим».

Оказывается, что как раз первый естественный закон, управляющий всякого рода хозяйством, открыт именно г. Дюрингом. Адам Смит «не только не поставил на первый план главнейший фактор всякого хозяйственного развития, но даже специально его не формулировал, и, таким образом, та сила, которая наложила свой отпечаток на современное европейское развитие, была невольно низведена им на подчиненную роль». Этот «основной закон, который должен быть поставлен во главу угла, есть закон технического оборудования, можно даже сказать вооружения, естественно данной хозяйственной силы человека». Этот, открытый г. Дюрингом, «фундаментальный закон» гласит:

Закон № 1. «Производительность хозяйственных средств, естественных источников и человеческой силы, повышается благодаря открытиям и изобретениям».

Мы в изумлении! Г-н Дюринг поступает с нами так, как известный шутник у Мольера с новоиспеченным дворянином, которому он сообщает ту новость, что он всю свою жизнь говорил, сам того не зная, прозой. Что изобретения и открытия в некоторых случаях увеличивают производительную силу труда (хотя во многих случаях этого и не бывает, как доказывает колоссальная архивная макулатура всех ведомств, заведующих выдачей патентов),— это мы уже знаем давно; но что эта старая-престарая шаблонная истина представляет фундаментальный закон всей экономики,— таким откровением мы обязаны г. Дюрингу. Если триумф «высшей научности» в экономии, как и в философии, заключается только в том, чтобы дать громкое научное имя любому общему месту, провозгласить его естественным или даже фундаментальным законом, то действительно «более глубокие основоположения и преобразования науки» становятся возможными для всякого, даже для редакции берлинской «Фольксцейтунг». Мы вынуждены были бы в таком случае «со всей строгостью» применить к самому г. Дюрингу следующий его приговор о Платоне: «Если же нечто подобное должно быть политико-экономическою мудростью, то автор» критических основоположений овладеет ею сообща со всяким, кто вообще имеет случай что-либо подумать» или даже просто что-либо сказать «о чем-либо вполне очевидном». Если, например, мы говорим: «животные жрут», то мы в своем неведении изрекаем великую вещь; ибо нам стоит лишь сказать, что это —

фундаментальный закон всякой животной жизни, и этими словами мы уже совершаем переворот в зоологии.

Закон № 2. Разделение труда: «Специализация и разделение работ повышает производительность труда». Поскольку это справедливо, это еще со времен Адама Смита стало общим местом; в какой же именно степени можно признать это справедливым, мы увидим в третьем отделе.

Закон № 3. «Расстояние и транспорт суть главные причины, которыми стесняется и облегчается совместная деятельность производительных сил».

Закон № 4. «Промышленное государство имеет несравненно большую емкость населения, чем земледельческое государство».

Закон № 5. «В экономии ничто не совершается без посредства материального интереса».

Таковы «естественные законы», на которых г. Дюринг основывает свою новую экономическую науку. Он остается верен своему, уже примененному в философии, методу и в основание своей экономической науки закладывает краеугольные камни, в виде двух-трех истин безнадежно-обыденного характера, приклеивая к ним ярлык аксиом, не требующих доказательств, и объявляя их фундаментальными и естественными экономическими законами. Затем, под предлогом необходимости развить содержание этих законов, не имеющих никакого содержания, г. Дюринг растекается в безбрежной экономической болтовне о разных вопросах, названия которых упоминаются в приведенных мнимых законах, т. е. об изобретениях, разделении труда, средствах транспорта, населении, интересах, конкуренции и т. п.,—болтовне, плоская обыденность которой приправляется оракульскими словоизвержениями и ошибочными рассуждениями или ковырянием, с важным видом, во всевозможных казуистических тонкостях. Болтовня эта приводит нас, наконец, к вопросам о земельной ренте, о прибыли на капитал и о заработной плате; но так как в предшествующем изложении мы уже касались последних двух предметов, то здесь, в заключение, мы намерены лишь вкратце исследовать воззрение Дюринга на земельную ренту.

При этом мы оставляем без всякого внимания те пункты, которые г. Дюринг просто списывает у своего предшественника Кэри; мы имеем дело не с Кэри и не намерены вовсе защищать гипотезу Рикардо от извращений и нелепостей названного экономиста. Мы имеем дело только с г. Дюрингом, а этот последний определяет земельную ренту как «такой доход, который получается собственником, как таковым, от земли». Экономическое понятие земельной ренты, которое г. Дюринг должен разъяснить, он попросту переводит на юридический язык, и таким образом экономический вопрос остается незатронутым. Ввиду этого наш глубокий основоположник должен, волей-неволей, снизойти до более конкретных объяснений. Он сравнивает сдачу в аренду какого-нибудь полевого участка фермеру с ссудой определенного капитала предпринимателю, но скоро находит, что это сравнение, как и многие иные, хромает.

Ведь, говорит он, «если бы придерживаться этой аналогии, то прибыль, остающаяся у фермера за выплатой земельной ренты, должна была бы соответствовать тому остатку прибыли на капитал, который остается предпринимателю, ведущему дело с помощью капитала, за вычетом процентов. Однако не вошло е обычай смотреть на прибыль фермера как на главный доход, а на земельную ренту как на остаток... Различие в понимании этого вопроса доказывается тем фактом, что в учении о земельной ренте не выделяют особа случая самостоятельного хозяйства и не придают никакого особенного значения

количественной разнице между рентой в форме арендной платы и рентой, достающейся землевладельцу, ведущему самостоятельное хозяйство. По крайней мере, не считалось необходимым разлагать мысленно ренту, вытекающую из самостоятельного хозяйствования, так, чтобы одна часть представляла как бы процент с земельного участка, а другая — прибыль за ведение дела. Если оставить в стороне собственный капитал, применяемый фермером, то его специальная прибыль, кажется, большею частью считается видом заработной платы. Однако рискованно пытаться утверждать об этом что-либо, так как этот вопрос даже не поставлен определенно в этом смысле. Повсюду, где мы имеем дело с более крупными хозяйствами, легко заметить, что не приходится представлять специфическую прибыль фермера в виде заработной платы. Именно эта прибыль сама основывается на ее противоположности по отношению к сельской рабочей силе, эксплоатация которой одна только делает возможным этого рода доход. Очевидно, в руках фермера остается часть ренты, благодаря которой сокращается полная рента, которая могла бы быть добыта при ведении хозяйства самим собственником».

Теория земельной ренты есть специфически английский отдел политической экономии, и это понятно, так как только в Англии существовал такой способ производства, при котором рента в действительности отделилась от прибыли и процента. В Англии, как известно, господствует крупное землевладение и крупное сельское хозяйство. Землевладельцы сдают свои земли в виде крупных, часто очень крупных, имений фермерам, которые обладают достаточным капиталом для обработки их, и не сами работают, подобно нашим крестьянам, но, как настоящие капиталистические предприниматели, применяют труд батраков и поденщиков. Здесь, следовательно, мы имеем все три класса буржуазного общества и свойственный каждому из них вид дохода: землевладельца, получающего земельную ренту, капиталиста, получающего прибыль, и рабочего, получающего заработную плату. Никогда ни одному из английских экономистов не приходило в голову, как это кажется г. Дюрингу, видеть в прибыли фермера вид заработной платы; и никогда и никто из них не считал рискованным утверждать, что прибыль фермера есть то, чем она является бесспорно и очевидно, именно прибылью на капитал. Наконец, прямо смешно заявление, что даже и не поставлен определенно вопрос о том, что такое, собственно, представляет собой прибыль фермера. В Англии этот вопрос не приходится и ставить, так как ответ уже давно выяснен на самих фактах, и со времени Адама Смита никогда по этому поводу не возникало сомнений.

Случай самостоятельного хозяйствования, как выражается г. Дюринг, или же ведение хозяйств через управляющих за счет землевладельцев, как в действительности большею частью бывает в Германии,— этот случай ничего не меняет в существе дела. Если землевладелец затрачивает свой капитал и ведет хозяйство за собственный счет, то он, сверх земельной ренты, кладет в карман еще и прибыль на капитал, как это, само собой разумеется, и не может быть иначе при современном способе производства. И если г. Дюринг утверждает, что доселе не признавали необходимым мысленно разлагать ренту (следовало бы сказать—доход), которая возникает из самостоятельного хозяйствования, то это просто неверно и в лучшем случае доказывает опять-таки его собственное невежество. Например:

«Доход, добываемый трудом, называется рабочею платой; доход, получаемый при употреблении кем-либо капитала, называется прибылью... и, наконец, доход, получаемый исключительно с земли, называется рентою и принадлежит землевладельцу. Если эти различные доходы достаются разным лицам, то их легко различить; но если они сосредоточиваются в одном лице, то в обыденной речи их часто смешивают. Землевладелец, сам обрабатывающий часть своей земли, получает, за вычетом расходов на обработку, ренту землевладельца и прибыль арендатора; но сплошь да рядом

случается, что он на обычном языке весь свой доход называет прибылью и смешивает, таким образом, прибыль с земельною рентою. Большинство наших североамериканских и вест-индских плантаторов находится в таком положении; многие из них сами обрабатывают свою землю, и мы редко слышим о ренте какой-либо плантации, а чаще всего о прибыли... Садовник, обрабатывающий собственноручно свой сад, сосредоточивает в своем лице землевладельца, арендатора и работника. Его продукт должен был бы ему выплатить ренту первого, прибыль второго и вознаграждение третьего; но обыкновенно все это считается трудовой платой, и рента и прибыль смешиваются таким образом с вознаграждением за труд».

Эти соображения находятся в 6-й главе I книги Адама Смита. Случай самостоятельного хозяйствования исследован, таким образом, уже сто лет назад, а потому сомнения и колебания, причиняющие г. Дюрингу так много хлопот, являются единственно результатом его неосведомленности.

В конце концов, его выводит из затруднения смелая уловка, а именно: доход арендатора, говорит он, основывается на эксплоатации «сельской рабочей силы», и поэтому он является очевидно «частью ренты», сокращающей «полную ренту», долженствовавшую, в сущности, попасть целиком в карман землевладельца. Благодаря этому, мы узнаем две вещи: во-первых, что арендатор «уменьшает» ренту землевладельца, и таким образом выходит, если согласиться с г. Дюрингом, что, наперекор общепринятому до сих пор взгляду, не арендатор платит ренту землевладельцу, а наоборот, землевладелец выплачивает таковую арендатору — действительно, «совершенно своеобразный взгляд». Во-вторых, мы узнаем, наконец, что г. Дюринг подразумевает под земельной рентой, а именно — весь прибавочный продукт, добываемый эксплоатацией сельского труда в земледелии. Но так как этот прибавочный продукт в существующей политической экономии — за исключением нескольких вульгарных экономистов — распадается на земельную ренту и прибыль с капитала, то нам остается констатировать, что г. Дюринг и относительно земельной ренты «не разделяет общепринятого понимания».

Итак, земельная рента и прибыль от капитала, согласно г. Дюрингу, различаются между собою только тем, что первая возникает в земледелии, а вторая—в промышленности или торговле. К этому, стоящему ниже всякой критики и сбивчивому способу представления приходит неизбежно г. Дюринг. Мы видели, что он исходил из «истинного исторического понимания», по смыслу которого господство над землей основывается исключительно на господстве над людьми. Следовательно, в тех случаях, когда земля обрабатывается при помощи того или иного вида принудительного труда, остается излишек в продуктах для землевладельца, и этот излишек образует собою ренту, подобно тому как излишек продукта наемных рабочих в промышленности составляет прибыль на капитал. «Таким образом ясно, что земельная рента, везде и во всякое время, существует в значительных размерах там, где обработка земли производится помощью какой-либо формы принудительного труда». При таком представлении о ренте, как о совокупном прибавочном продукте, получаемом от земледелия, г. Дюрингу становятся поперек дороги, с одной стороны, прибыль английских арендаторов, а с другой, признанное всей классической экономией деление этого прибавочного продукта на земельную ренту и прибыль арендатора, т. е. настоящее и точное определение ренты. Что же делает г. Дюринг? Он прикидывается, будто бы ни словечка не знает о делении земельного прибавочного продукта на прибыль арендатора и земельную ренту, т. е. о теории ренты классической экономии, будто бы вопрос, что такое в сущности арендная прибыль, еще вовсе не ставился в политической экономии в таком определенном смысле и будто бы дело идет о каком-то неисследованном предмете, о котором, кроме чего-то кажущегося и сомнительного ничего не известно. И вот он, спасаясь от роковой Англии, где

прибавочный продукт в земледелии, без всякого содействия со стороны какой-либо теоретической школы, безжалостно дробится на свои составные части, т. е. на земельную ренту и прибыль от капитала,— бросается в излюбленную им область действия прусского земского права, где самостоятельное хозяйствование процветает в наипатриархальнейшем виде, где «землевладелец под рентою подразумевает доходы с своего имения», где взгляды гг. юнкеров на ренту выступают с претензией на руководительство наукой и где, следовательно, г. Дюринг еще может надеяться как-нибудь проскользнуть со своей путаницей понятий о ренте и прибыли и даже найти поклонников его новейшего открытия, что не арендатор выплачивает земельную ренту собственнику, а напротив, собственник — арендатору.

X. ИЗ «КРИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ».

В заключение, бросим еще взгляд на «Критическую историю политической экономии», на это «предприятие» г. Дюринга, не имеющее, по его словам, «предшественников». Может быть, здесь, наконец, мы встретимся с неоднократно обещанной окончательной и строжайшей научностью.

Г-н Дюринг придает огромное значение открытию, что «учение о хозяйстве» — это «вполне современное явление» (стр. 12).

Напомним, что Маркс в «Капитале», между прочим, говорит так: «политическая экономия..., собственно, как наука, появилась впервые в период мануфактуры», а в «Критике политической экономии», на странице 29: «классическая политическая экономия началась в Англии с Петти, во Франции с Буагильбера и завершилась в Англии — Рикардо, а во Франции — Сисмонди».

Г-н Дюринг следует указанному Марксом пути, но только у него высшая ступень политической экономии начинается лишь с жалких образцов, созданных буржуазной наукой по окончании ее классического периода. И он торжествующе, в сознании своей полной правоты, восклицает в заключении своего вступления: «Это предприятие, по своим внешним выдающимся особенностям и по новизне значительной части своего содержания, не имеет вовсе предшественников, но еще в большей степени оно замечательно теми особенностями, которые я сумел придать его внутренним критическим взглядам и его общей точке зрения» (стр. 9). В сущности он мог бы и с внешней и с внутренней стороны назвать свое «предприятие» (промышленное выражение употреблено здесь удачно): «Единственный и его достояние».

Так как политическая экономия, с тех пор как сделалась достоянием истории, представляет собою в сущности не что иное, как научное рассмотрение экономических отношений периода капиталистического производства, то отдельные положения и теоремы этой науки могут встречаться у древне-греческих писателей лишь постольку, поскольку известные явления, вроде производства товаров, торговли, денег, капитала, приносящего проценты и т. д., оказываются общими для древнего мира и современного общества. Греки в своих случайных экскурсах в эту область науки обнаруживают такую же гениальность и оригинальность, как и во всех других областях. Поэтому их взгляды образуют исторически-теоретические исходные пункты современной науки. Теперь послушаем всемирно-исторического г. Дюринга.

«Что касается научной теории хозяйства древности, то, собственно (!), в ней нет ничего положительного, о чем бы стоило говорить» а невежественные средние века подают к тому (к тому, чтобы ничего не говорить!) еще гораздо менее повода. Но так как

выставляемая тщательно напоказ видимость учености... исказила чистый характер современной науки, то для принятия к сведению должны быть приведены некоторые примеры». И г. Дюринг приводит примеры критики, которая действительно далека от «видимости учености».

Положение Аристотеля, состоящее в том, «что всякое благо имеет двоякое употребление — одно, свойственное самой вещи, как таковой, другое же не свойственное ей; так, например, сандалия может служить обувью и, в то же время, может быть обмененной на что-либо другое: и в том и в другом случае сандалия служит предметом для удовлетворения потребностей, так как, если кто-либо и променяет ее на что-нибудь необходимое ему, на деньги или пищу, все же употребит в дело сандалию, как сандалию, хотя и не соответственно ее настоящему назначению, ибо сандалия вовсе не предназначена для обмена»,— это положение, по мнению г. Дюринга, «не только выражено тривиальным и школьным образом», но те, которые в нем «находят установление различия между потребительной стоимостью и меновой стоимостью», «юмористически» забывают, что в «самоновейшее время» и в «наиболее передовой системе» — разумеется, системе г. Дюринга — с потребительной и меновой стоимостью раз навсегда покончено.

«В сочинениях Платона о государстве... стремились также отыскать современную идею о разделении народно-хозяйственного труда». Это, вероятно, относится к главе XII, 5, стр. 369 третьего издания «Капитала», где, однако, наоборот, взгляд классической древности на разделение труда излагается как резко противоположный современным воззрениям. Г-н Дюринг презрительно пожимает плечами по поводу гениального для того времени изложения Платоном вопроса о разделении труда, как о естественной основе города (который у греков отождествлялся с государством); и только потому, что он не упомянул (но зато упомянул об этом грек Ксенофонт, г. Дюринг!) о «границах, которые наличный объем рынка полагает для дальнейшего расчленения профессий и технического разделения специальных операций..., лишь благодаря представлению об этих границах идея о разделении труда, которая до того не заслуживает даже названия научной, становится значительной экономической истиной».

Столь презираемый господином Дюрингом «профессор» Рошер, действительно, провел эту границу, благодаря которой делается будто бы впервые «научной» идея разделения труда, и поэтому он прямо произвел Адама Смита в авторы закона разделения труда. В обществе, где производство товаров является господствующим способом производства, «рынок» — пользуясь хоть раз способом выражения господина Дюринга — является хорошо известной «деловым людям» «границей». Но недостаточно одного «знания и инстинкта рутины», чтоб понять, что не рынок создал капиталистическое разделение труда, но, наоборот, разложение прежних общественных связей и вытекающее из этого разделение труда создали рынок (см. «Капитал», I, гл. XXIV, 5: «Создание внутреннего рынка для промышленного капитала»).

«Роль денег во все времена заключалась, главным образом, в стимулировании хозяйственных (!) мыслей. Но что мог знать об этой роли «некий» Аристотель? Очевидно, лишь то, что обмен посредством денег последовал за первоначальным натуральным обменом».

Но если «некий» Аристотель позволяет себе открыть обе различные формы обращения денег, — ту, в которой они выступают в качестве простого средства обращения, и другую, в которой они являются денежным капиталом, — то этим он, по мнению господина Дюринга, выражает «только моральную антипатию». Если же «некий» Аристотель

осмеливается приступить к анализу денег в их «роли» мерила стоимости и на деле правильно ставит эту, столь-основную для учения о деньгах, проблему, то «некий» Дюринг предпочитает лучше—по вполне основательным тайным соображениям—промолчать о такой неслыханной дерзости.

Подведем итог: в зеркале дюрингова «принятия к сведению» древняя Греция, действительно, имела «только совершенно обыденные идеи» (стр. 25), если вообще подобные «наивности» (стр. 29) имеют что-нибудь общее с какими бы то ни было идеями, обыкновенными или необыкновенными.

Главу книги господина Дюринга о меркантилизме лучше прочесть в «подлиннике», т. е. у Ф. Листа в «Национальной системе», гл. 29: «Индустриальная система, носящая в школьной науке ложное наименование меркантилизма». Насколько тщательно умеет господин Дюринг избегать и здесь всякой «видимости учености», показывает, между прочим, следующее:

Лист, в главе 28, об «итальянских политико-экономах» говорит:

«Италия шла впереди всех современных народов как в практике, так и в теории политической экономии», и при этом упоминает как «первое, написанное в Италии сочинение по вопросам политической экономии, произведение Антонио Серры из Неаполя о средствах обеспечить государствам избыток в золоте и серебре» (1613 г). Господин Дюринг безмятежно принимает это и поэтому имеет возможность рассматривать «Breve trattato» Серры «как своего рода надпись у входа в новейшую предъисторию политической экономии». К этой «беллетристической болтовне» и сводится все его рассмотрение «Breve trattato». К несчастью, в действительности дело происходило иначе, и в 1609 г., т. е. за четыре года до «Breve trattato», появилось «A Discourse of Trade etc.» Томаса Мэна. Специфическое значение этого сочинения заключается в том, что уже в первом издании оно направлено против первоначальной монетарной системы, находившей себе тогда в Англии защиту как государственная практика, и что, следовательно, оно представляет сознательное отмежевание меркантилизма от породившей его системы. Это сочинение уже в первоначальном своем виде выдержало несколько изданий и оказало прямое влияние на законодательство. В совершенно переработанном автором издании 1664 года, вышедшем после его смерти под названием: «Englands Treasure etc.», оно осталось еще на целых сто лет евангелием меркантилизма. Следовательно, если у меркантилизма имеется какое-нибудь создающее эпоху произведение, «как своего рода надпись у входа», то это и есть указываемое произведение, но именно поэтому оно совершенно не существует для дюринговой «тщательно соблюдающей иерархию заслуг историографии».

Об основателе современной политической экономии, Петти, господин Дюринг сообщает нам, что он обладал «изрядной долей легковесного мышления», затем «отсутствием чуткости к внутренним и более тонким различиям понятий», «разносторонностью, которая много знает, но легко переходит от одного вопроса к другому, нигде не пуская более глубоких корней»; он «рассуждает в политико-экономическом отношении еще очень грубо» и «приходит к наивным выводам, контраст которых... может подчас развлечь и более серьезного мыслителя». Какое милостивое снисхождение со стороны «более серьезного мыслителя», господина Дюринга, соизволившего вообще «принять к сведению» «некоего Петти»! Но как же он все-таки принимает его к сведению?

О положениях Петти, касающихся «труда и рабочего времени, как мерила стоимости, о чем у него имеются незначительные следы», упоминается только в этих словах.

Незначительные следы! В своем «Treatise on Taxes and Contributions» (1-е изд. 1662 г.) Петти дает совершенно ясный и правильный анализ величины стоимости товаров. Конкретизируя его на примере равенства стоимости у благородных металлов и зерна, стоящих одинакового количества труда, он говорит первое и последнее «теоретическое» слово о стоимости благородных металлов. Но он с не меньшей определенностью говорит вообще о том, что стоимость товаров измеряется равным трудим (equal labor). Он применяет свое открытие к решению различных, иногда очень сложных, проблем; в отдельных случаях даже в тех своих работах, где не приводится главная теорема, он выводит из нее важные следствия. Но он в первом же своем сочинении говорит следующее:

«Я утверждаю, что это» (т. е. оценка равным трудом) «является основой выравнивания и взвешивания стоимостей; но на практике, в приложениях ее, имеется — должен сознаться — много запутанного и сложного». Следовательно, Петти вполне сознает значение своего открытия, а также и трудность применения его в конкретных случаях. Поэтому для некоторых частных случаев он выбирает иной путь. А именно: он утверждает, что должно существовать некоторое естественное равенство (a natural par) между землей и трудом, так что можно выражать стоимость безразлично «в каждом из обоих, а еще лучше — в обоих». Даже ошибка его запечатлена гениальностью.

К теории стоимости Петти господин Дюринг делает следующее глубоко продуманное замечание: «Если бы он глубже продумал это, то в других местах не могли бы встречаться следы противоположного воззрения, о которых упоминалось уже раньше»,—вернее, о чем «раньше» совершенно не упоминалось, кроме слов о том, что «следы» «незначительны». Для господина Дюринга весьма характерна эта манера «раньше» намекнуть на что-нибудь в ничего не значащей фразе, чтобы «позже» заставить думать читателя, будто ему уже «раньше» сообщали суть дела, мимо которой наш автор прошмыгивает в действительности и раньше и позже.

Но вот у Адама Смита мы встречаем не только «следы» «противоположных воззрений», а два или даже три, а еще точнее даже четыре диаметрально противоположных понимания стоимости, весьма мирно уживающихся друг с другом. Однако то, что представляется естественным у основоположника политической экономии, который по необходимости нащупывает, экспериментирует, борется с только формирующимся идейным хаосом, то не может не казаться странным у автора, подводящего итоги более чем полуторастолетней работы, результаты которой перестали быть достоянием книжной мудрости и отчасти вошли в общий оборот мысли. А переходя от большого к малому, как мы видели, сам господин Дюринг тоже дает на выбор целых пять различных видов стоимости, а значит, и столько же противоположных воззрений. Конечно, «если бы он глубже продумал это», то он не потратил бы столько усилий, чтобы преподнести своим читателям, вместо прозрачно-ясной концепции Петти, весь хаос и путаницу своих взглядов.

Совершенно законченной, как бы вылитой из одного куска, работой Петти является его «Quantulumcunque concerning Money», вышедшее в 1682 году, десять лет после его «Anatomy of Ireland» (эта последняя появилась «впервые» в 1672 г., а не в 1691 г., как уверяет господин Дюринг, списывающий это из «наиболее ходких компилятивных руководств»). Здесь совершенно исчезли последние следы меркантилистских воззрений, встречающиеся в других его сочинениях. Это—по содержанию и форме—настоящий шедевр, и поэтому, конечно, даже и название его не упоминается у господина Дюринга. Разумеется, вполне в порядке вещей то, что у такой посредственности, как господин Дюринг, с его надутым чванством школьного учителя, может вызывать лишь недовольное ворчание и брюзжание этот гениальнейший и оригинальнейший экономист, у которого

его теоретические проблески мысли не маршируют в шеренге, в виде готовых «аксиом», а как бы вырываются поодиночке из углубленного изучения «сырого» практического материала, например налоговых вопросов.

Не лучше собственно экономических работ Петти господин Дюринг третирует его обоснование «политической арифметики», т. е. попросту статистики. Господин Дюринг презрительно пожимает плечами по поводу странностей примененных Петти методов. Если вспомнить причудливые методы, которыми пользовался в этой области еще Лавуазье сто лет спустя, если принять во внимание, как далека еще современная статистика от поставленной ей Петти в крупных чертах цели, то такое самодовольное щеголянье своим всезнайством двести лет post festum предстанет во всей своей неприкрашенной глупости.

Самые значительные идеи Петти, которых и следа нет в «предприятии» господина Дюринга, представляют, по его утверждению, только отрывочные замечания, случайные мысли и высказывания; только в наше время, вырвав из связи отдельные цитаты, можно будто бы приписать этим замечаниям не принадлежащее им самим по себе значение; они, следовательно, не играют никакой роли в действительной истории политической экономии, а только в современных книгах, находящихся ниже уровня «основательной» критики и «изложения истории в высоком стиле» господина Дюринга. Повидимому, затевая свое «предприятие», он имел в виду каких-то до наивности доверчивых читателей, которым в голову не придет проверить его утверждения. Мы к этому вернемся еще вскоре (когда пойдет речь о Локке и Норзе), а пока мы взглянем мимоходом на Буагильбера и Лоу.

Что касается первого, то мы здесь укажем на единственную принадлежащую господину Дюрингу находку. Он открыл незамеченную раньше связь между Буагильбером и Лоу. Именно Буагильбер утверждает, что благородные металлы могут быть заменены кредитными деньгами (un morceau de papier) в нормальных денежных функциях, исполняемых ими в товарном производстве. Лоу же воображает, будто произвольное «увеличение числа» этих «кусочков бумаги» увеличивает народное богатство. Отсюда господин Дюринг умозаключает, что «ход мысли» Буагильбера «заключал в себе уже новую фазу меркантилизма», иными словами, заключал в себе уже взгляды Лоу. Это доказывается следующим образом: «Оставалось только приписать «простым кусочкам бумаги» ту самую роль, которую должны были играть благородные металлы, и таким путем тотчас же совершалось превращение меркантилизма». Таким путем можно тотчас же совершить превращение дяди в тетку. Правда, господин Дюринг смягчает свое утверждение: «Разумеется, Буагильбер не имел этого намерения». Но, чорт побери, как он мог иметь намерение заменить свое рационалистическое понимание денежной роли благородных металлов меркантилистским суеверием на том основании, что, согласно ему, благородные металлы заменимы в этой роли бумажными деньгами? «Но,— продолжает господин Дюринг в том же тоне серьезного комизма,—надо согласиться, что у нашего автора попадаются местами действительно удачные замечания».

Относительно Лоу у господина Дюринга попадается только одно «действительно удачное замечание»: «И Лоу, разумеется, не мог никогда окончательно истребить последнюю основу» (именно «базис благородных металлов»), «но он продолжал без конца выпускать ассигнации, пока система не лопнула». В действительности целью выпуска бумажных приманок, простых денежных знаков, было не «истребление» базиса благородных металлов, а извлечение его из карманов публики в пустые кассы государства.

Но вернемся к Петти и к той ничтожной роли, которую приписывает ему господин Дюринг в истории политической экономии. Послушаем сперва, что он рассказывает о ближайших преемниках Петти, Локке и Норзе. В одном и том же 1691 году появились «Considerations on Lowering of Interest and Raising of Money» Локка и «Discourse upon Trade» Норза.

«Рассуждения (Локка) о проценте и монете не выходят из рамок размышлений, обычных в эпоху меркантилизма и считавшихся с фактами государственной жизни». Читателю этого «сообщения» должно теперь быть совершенно понятно, почему «Lowering of Interest» Локка оказало во второй половине XVIII века такое огромное, и притом разностороннее, влияние на политическую экономию во Франции и Италии.

«О свободе размера процентной ставки не один купец думал таким же образом» (как Локк) «и в ходе событий привыкли считать недействительными ограничения процента. В такое время, когда Дедли Нррз мог свободно писать свой «Discourse upon Trade» в духе свободы торговли, в воздухе уже как бы должно было носиться многое такое, благодаря чему теоретическая оппозиция против ограничений процента не казалась чем-то неслыханным» (стр. 64).

Итак, Локку оставалось только подумать над мыслями того или иного современного ему «купца» или же подхватить многое, «как бы уже носившееся в воздухе» в его время, чтобы начать теоретизировать о свободе процента н не сказать ничего «неслыханного». Но, в действительности, еще Петти в 1662 году в своем «Treatise on Taxes and Contributions» противопоставлял процент, как денежную ренту, называемую нами ростовщичеством (rent of money which we call usury), земельной ренте и ренте с домов (rent of land and houses), а помещиков, требовавших законодательных мер для понижения не земельной, а денежной ренты, убеждал в тщетности и бесполезности составления положительных гражданских законов, противоречащих закону природы (the vanity and fruitlessness of making civil positive law against the law of nature). Поэтому в своем «Quantu-lumcunque»(1682г.) он называет государственное регулирование процента столь же нелепой затеей, как и регулирование вывоза благородных металлов или вексельного курса. В том же сочинении он излагает незыблемые соображения о raising of money (например, попытку назвать 1/2 шиллинга 1 шиллингом, начеканив из унции серебра двойное количество шиллингов).

В последнем пункте Локк и Норз ограничиваются почти копированием его. Что же касается вопроса о проценте, то Локк присоединяется к рассуждениям Петти о параллели между процентом с капитала и земельной рентой, а Норз, идя дальше, противопоставляет процент, как ренту на капитал (rent of stock), земельной ренте (rent af land) и капиталистов (стоклордов) противопоставляет крупным землевладельцам (лэндлордам). Но зато Локк принимает требуемую Петти свободу процента с ограничениями, Норз же — целиком.

Господин Дюринг превосходит самого себя, когда сам он, закоснелый меркантилист в «более субтильном» смысле, отделывается от «Discourses upon Trade» Дедли Норза замечанием, что они написаны «в духе теории свободы торговли». Это все равно, что сказать о Гарвее, что он писал «в духе» теории кровообращения. Сочинение Норза—не говоря о его прочих достоинствах—представляет собою классическое, строго последовательное изложение учения о свободе торговли как внешней, так и внутренней, и в 1691 г. оно, разумеется,. было «чем-то неслыханным» !

Кроме того, господин Дюринг сообщает, что Норз был «торговцем», к тому же скверным человеком, и что его сочинение «не встретило никакого одобрения». Удивительное ли

дело, что в момент окончательной победы в Англии системы таможенного протекционизма подобное сочинение не встретило «одобрения» у задававшей тогда тон сволочи! Но это нисколько не помешало тому, что оно сейчас же начало оказывать теоретическое влияние, которое можно отметить в целом ряде появившихся непосредственно после него в Англии, отчасти еще в XVII веке, экономических сочинений.

Локк и Норз показывают нам, как за первыми смелыми выступлениями Петти почти во всех областях политической экономии последовали дальнейшие шаги — в отдельных направлениях — его английских преемников. Даже самый поверхностный наблюдатель не может не заметить следов этого процесса за период 1691—1752 гг., ибо все более значительные экономические работы этой эпохи примыкают — положительным или отрицательным образом — к Петти. Поэтому период этот, давший массу оригинальных голов, является самым важным для изучения постепенного зарождения политической экономии. «Изложение истории в высоком стиле», вменяющее Марксу в непростительную вину то, что он в «Капитале» придает такое значение Петти и писателям того периода, попросту вычеркивает их из летописи истории. От Локка, Норза, Буагильбера и Лоу оно перескакивает прямо к физиократам, и затем у входа в действительный храм политической экономии появляется Давид Юм.

С позволения господина Дюринга, мы восстановим хронологический порядок, поместив Юма перед физиократами.

Экономические «Опыты» Юма появились в 1752 г. В связанных между собой опытах: «Of Money», «Of the Balance of Trade», «Of Commerce» Юм следует по пятам — часто также в чудачествах — за сочинением Якова Вандерлинта: «Money answers all things», Лондон 1734 г. С сочинениями этого Вандерлинта, оставшимися совершенно неизвестными господину Дюрингу, считались еще в английской экономической литературе конца XVIII века, т. е. в после-смитовскую эпоху.

Подобно Вандерлинту, Юм рассматривает деньги как простой знак стоимости; он переписывает почти дословно из Вандерлинта (и это важно, так как теорию знаков стоимости он мог заимствовать из многих других сочинений), почему торговый баланс не может быть постоянно в пользу или против одной какой-либо страны; он учит, подобно Вандерлинту, о равновесии балансов, устанавливающемся естественным путем, сообразно различной экономической ситуации отдельных стран; он проповедует, подобно Вандерлинту, только менее смело и последовательно, свободу торговли; он указывает вместе с Вандерлинтом, но только более поверхностно, на потребности, как на стимулы производства; он следует за Вандерлинтом, когда ошибочно приписывает банковским деньгам и всем официальным ценным бумагам влияние на товарные цены; он вместе с Вандерлинтом отвергает кредитные деньги; подобно Вандердинту, он ставит в зависимость цены товаров от цены труда, т. е. от заработной платы; он списывает у него даже нелепое утверждение, будто накопление сокровищ понижает товарные цены и т. д. и т. д.

Господин Дюринг уже давно бормотал на оракульский манер о непонимании другими юмовской теории денег и, в частности, угрожающе кивал в сторону Маркса, который к тому же указал в «Капитале», с нарушением полицейских правил, на тайную связь Юма с Вандерлинтом и с Дж. Масси, о котором речь ниже.

Что касается этого непонимания, то дело в следующем. О подлинной теории денег Юма, согласно которой деньги — это просто знак стоимости и, значит, товарные цены, при

прочих равных условиях, падают по мере увеличения обращающейся денежной массы и повышаются пропорционально уменьшению ее,— об этой теории господин Дюринг, при всех своих лучших намерениях, способен только — правда, на свой собственный, ясный как день, манер — повторять лишь ошибочные утверждения своих предшественников. Юм же, выставив эту теорию, возражает сам себе (и это сделал уже, исходя из тех же самых предпосылок, Монтескье), что ведь «известно», что со времени открытия американских рудников «промышленность выросла у всех европейских народов, за исключением владельцев этих рудников», и что, «помимо других причин, виной этого — увеличение количества золота и серебра». Он объясняет это явление тем, что «хотя высокая цена товаров есть необходимое следствие увеличения количества золота и серебра, но она вытекает не непосредственно из этого увеличения, а некоторое время спустя, пока деньги не войдут во всеобщее употребление и не окажут своего действия во всех слоях народа». В этот промежуточный период они оказывают благодетельное влияние на промышленность и торговлю. В конце этого рассуждения Юм объясняет нам,—хотя значительно одностороннее, чем многие его предшественники и современники, — также причину этого: «Легко проследить за движением денег через все общество, и тогда мы найдем, что они должны подстегнуть прилежание всякого, прежде чем они поднимут цену труда».

Иными словами: Юм описывает здесь действие революции в стоимости благородных металлов, именно обесценения их, или, что сводится к тому же самому, действие революции, происшедшей с мерилом стоимости благородных металлов. Он правильно указывает, что это обесценение, при происходящем постепенно выравнивании товарных цен, лишь в последнем счете «поднимает цену труда», т. е. попросту заработную плату,— что, следовательно, оно увеличивает прибыль купцов и промышленников — и, таким образом, «подстегивает прилежание» их за счет рабочих (что он находит, однако, совершенно в порядке вещей). Но настоящего научного вопроса, влияет ли и как влияет усиленный приток благородных металлов, при неизменной стоимости их, на товарные цены, — этого вопроса он себе не ставит и смешивает всякое «увеличение количества благородных металлов» с их обесценением. Словом, Юм поступает точно так, как это ему приписывает Маркс («Zur Kritik», стр. 141). Мы еще вернемся вкратце к этому пункту, а раньше обратимся к «Опыту» Юма об «Interest».

Замечание Юма, направленное прямо против Локка, о том, что процент регулируется не массой наличных денег, а нормой прибыли, и все прочие его рассуждения о причинах, вызывающих тот или иной уровень процента, — все это, выраженное гораздо более точно, но менее остроумно, находится в сочинении, появившемся в 1750 г., за два года до «Опыта» Юма: «Опыт об определяющих причинах естественной высоты процента, где рассматриваются взгляды сэра В. Петти и м-ра Локка по этому предмету» («An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that head, are considered»). Автором его является Дж. Масси, разносторонний писатель, которого, как видно из современной английской литературы, много читали. Объяснение Адамом Смитом высоты процента ближе к Масси, чем к Юму. Оба — Масси и Юм — ничего не знают и не говорят о природе «прибыли», которая играет у обоих одну и ту же роль.

«Вообще,— разглагольствует господин Дюринг,— к оценке Юма подходили с предвзятым мнением, приписывая ему идеи, которых он вовсе не имел». Господин Дюринг сам дает нам не один яркий пример подобного «подхода».

Так, например, «Опыт» Юма о проценте начинается следующими словами: «Ничто не считают более верным признаком цветущего состояния какого-нибудь народа, чем низкий

уровень процентной ставки; и это вполне правильно, хотя в объяснении причины этого я расхожусь с обычным мнением». Итак, уже в первой фразе своего «Опыта» Юм указывает, что взгляд на низкий уровень процента, как на самый верный признак цветущего состояния народа, был уже в его время ставшей общим местом банальностью. И, действительно, со времени Чайльда эта «идея» имела целых сто лет для своего популяризирования. У господина Дюринга же мы читаем: «Из взглядов Юма на высоту процента надо, главным образом, выделить идею, что она истинный барометр состояния (какого?) и что низкий уровень его является почти безошибочным признаком процветания какого-нибудь народа» (стр. 130). Чьими же устами говорит «предвзятость»? Устами самого господина Дюринга.

Между прочим, наш критический историограф выражает наивное удивление по поводу того, что Юм, высказав удачную идею, «даже не указывает на себя, как на автора ее». С господином Дюрингом такого казуса не случилось бы.

Мы видели, что Юм смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с тем увеличением их, которое сопровождается обесценением, революцией в их собственной стоимости, т. е. в мериле стоимости товаров. Это смешение было у Юма неизбежно, так как он не имел ни малейшего представления о функции благородных металлов, как мерила стоимости. Он не мог иметь его, так как он не знал ровно ничего о самой стоимости. Само это слово встречается, кажется, только один раз в его статьях, именно там, где он якобы исправляет, а на самом деле еще ухудшает ошибку Локка, что благородные металлы имеют «только воображаемую стоимость», утверждением, что они имеют «главным образом фиктивную стоимость».

Он стоит в этом вопросе значительно ниже не только Петти, но и некоторых своих английских современников. Он обнаруживает ту же «отсталость», когда старомодным образом все еще прославляет «купца» как главную пружину производства, от чего уж задолго до него отказался Петти. Что касается уверения Дюринга, будто Юм в своих очерках касается «главнейших экономических проблем», то достаточно сравнить их хотя бы с цитируемым Адамом Смитом сочинением Кантильона (вышло, как и «Опыт» Юма, в 1752 г., но много лет спустя после смерти автора), чтоб увидеть, как узок кругозор политико-экономических работ Юма. Юм, несмотря на выданный ему господином Дюрингом патент, остается и в области политической экономии почтенной величиной, но он здесь совершенно не оригинальный исследователь, и тем менее создающий эпоху мыслитель. Влияние его экономических работ на образованные круги его времени объясняется не только прекрасной формой изложения, но гораздо больше тем, что они являлись прогрессивно-оптимистическим дифирамбом расцветавшим тогда промышленности и торговле, иными словами, были прославлением быстро поднимавшегося тогда в Англии вверх капиталистического общества, у которого они поэтому должны были встретить «одобрение». Здесь будет достаточно краткого указания. Всякий знает, какая ожесточенная борьба велась как раз во времена Юма английскими народными массами против системы косвенных налогов, планомерно проводившейся тогда пресловутым Робертом Уольполем для снятия налогового бремени с плеч помещиков и вообще богатых классов. В «Опыте о налогах» (Essay on Taxes)» где Юм, не называя его, полемизирует против своего никогда не забываемого им авторитета, Вандерлинта, ожесточеннейшего противника косвенных налогов и решительнейшего сторонника обложения земли, мы читаем следующее: «Действительно, они (налоги на предметы потребления) должны быть очень высоки и очень неразумно установлены, чтобы рабочий не мог — не повышая цены своего труда — выплатить их, усилив свое прилежание и бережливость». Кажется, что слышишь Роберта Уольполя, особенно если к этому присовокупить то место в «Опыте о государственном кредите», где, в связи с

вопросом о трудности обложения государственных кредиторов, говорится: «уменьшение их дохода не может быть замаскировано тем, что это простая статья акциза или пошлины».

Восхищение Юма буржуазной деятельностью не было платоническим, как это и можно ожидать со стороны шотландца. Пустившись в жизнь голым, как сокол, он дошел до приличного ежегодного дохода не в одну тысячу фунтов стерлингов, что господин Дюринг (дело ведь идет здесь не о Петти) излагает со свойственным ему остроумием: «Благодаря разумной частной экономии он, при весьма скромных средствах, добился того, что мог писать, не думая угодить никому». По поводу же дальнейшего замечания господина Дюринга: «Он никогда не сделал ни малейшей уступки влиянию партий, государей или университетов», надо указать следующее: хотя неизвестно, чтобы Юм вел литературные компанейские дела с каким-нибудь «Вагенером», но известно, что он был рьяным сторонником олигархии вигов, которая высоко ставила «церковь и государство», в награду за что он получил сперва место секретаря посольства в Париже, а затем несравненно более важное и доходное место помощника государственного секретаря. «В политическом отношении Юм был и оставался всегда консервативным человеком, строго монархического образа мыслей. Поэтому сторонники господствующей церкви не относились к нему с таким озлоблением, как к Гиббону», говорит старый Шлоссер. «Этот эгоист Юм, этот фальсификатор истории», говорит «грубо» плебейский Коббет — этот Юм называет английских монахов жирными, не имеющими ни жены, ни детей и живущими нищенством бездельниками, «а сам он никогда не имел ни семьи, ни жены, был огромным толстяком, откармливающимся на общественные деньги, которых он не заслужил каким-нибудь действительно общеполезным делом». Юм, говорит господин Дюринг, «в практическом устройстве жизни имеет в существенных чертах большое преимущество перед Кантом».

Но почему Юму отведено такое исключительное место в «Критической истории»? Просто потому, что этот «серьезный и тонкий мыслитель» имеет честь быть Дюрингом XVIII века. Как Юм служит доказательством тому, что «создание целой отрасли науки (политической экономии) было делом более просвещенной философии», гак и его деятельность как предтечи является лучшей гарантией того, что вся эта отрасль науки найдет свое ближайшее завершение в том феноменальном муже, который превратит просто «более кгросвещенную» философию в абсолютно светозарную философию действительности и у которого, — точно так же, как у Юма, «что иа германской почве является совершенно беспримерным до сих пор...—занятия философией в узком смысле слова соединены с научными работами в области народного хозяйства». В соответствии с этим мы находим, что господин Дюринг раздувает значение почтенного Юма как экономиста и превращает его в звезду первой величины, значение которой не признавалось благодаря той же зависти, которая так упорно замалчивает до сих пор и «основополож-иые для эпохи» деяния господина Дюринга.

Как известно, школа физиократов оставила нам в «Экономической таблице» Кенэ загадку, о которую обломали себе зубы все принимавшиеся за нее критики и историки политической экономии. Эта таблица, которая должна была наглядно иллюстрировать идеи физиократов о производстве и обращении совокупного богатства какой-нибудь страны, осталась в достаточной мере темной для экономистов, живших после Кенэ. Господин Дюринг и здесь берется дать нам окончательное решение. Что «должно обозначать» это экономическое отображение отношений производства и обращения у самого Кенэ, говорит он, можно понять только, если «предварительно точно исследовать свойственные ему руководящие идеи». Это тем более необходимо, что до сих пор их изображали с какой-то «расплывчатой неопределенностью», и даже у Адама Смита

«нельзя узнать их существенных черт». С этим традиционным «легковесным изложением» господин Дюринг берется покончить раз навсегда. И вот он начинает водить за нос своего читателя на протяжении целых пяти страниц, пяти страниц, полных напыщенных оборотов речи, бесконечных повторений и рассчитанного беспорядка, которые должны прикрыть тот роковой факт, что господин Дюринг не может рассказать о «руководящих идеях» Кенэ больше, чем можно найти в «популярнейших компилятивных руководствах», от которых он так неутомимо предостерегает читателя. «Одной из сомнительнейших сторон» этого введения является то, что уже здесь господин Дюринг мимоходом касается таблицы, известной пока только по названию, а затем растекается мыслью во всякого рода «размышлениях», как, например, о «различии между затратами и результатом». Если это различие «и не встречается в готовом виде в идеях Кенэ», то зато господин Дюринг дает нам ослепительный образчик его, когда он добирается от растянутых «затрат» своего введения до своего изумительно краткого «результата», да заключения о самой таблице. Приведем же все, буквально все, что он считает необходимым сказать о таблице Кенэ.

В «затратах» господин Дюринг говорит: «Ему (Кенэ) казалось самоочевидным, что доход (господин Дюринг перед этим говорит о чистом продукте) должно рассматривать и трактовать как денежную стоимость... он тотчас же связал свои размышления (!) с денежными стоимостями, которые он предполагает как результат про-. дажи всех сельскохозяйственных продуктов при переходе их из первых рук. Таким образом (!) он оперирует в столбцах своей таблицы с несколькими миллиардами» (т. е. денежными стоимостями). Мы, значит, трижды узнаем, что Кенэ оперирует в таблице «денежными стоимостями» «сельскохозяйственных продуктов», включая сюда стоимость «чистого продукта» или «чистого дохода». Мы читаем далее: «Если бы Кенэ вступил на путь подлинного естественного анализа и перестал считаться не только с благородными металлами и количеством денег, но и с денежными стоимостями... Но он оперирует все время суммами стоимостей и представлял себе (!) заранее чистый продукт как некоторую денежную стоимость». Таким образом, в четвертый и в пятый раз,—в таблице существуют только денежные стоимости.

«Он (Кенэ) получил его (чистый продукт), вычтя затраты и думая (!) главным образом (не традиционное, но зато тем более легковесное изложение) о той стоимости, которая в качестве ренты, доставалась земельному собственнику». Мы все еще не сдвинулись с места; но вот теперь дело пойдет на лад: «С другой стороны однако-же (это «однакоже»—настоящий перл!) чистый продукт входит как естественный предмет в обращение и становится, таким образом, элементом, который служит для поддержания класса, называемого бесплодным. Здесь можно тотчас же (!) заметить путаницу, получающуюся оттого, что в одном случае денежная стоимость, а в другом сами вещи определяют логическое развитие взглядов». Пови-димому, вообще всякое товарное обращение страдает той «путаницей», что товары входят в него одновременно и как «естественный предмет» и как «денежная стоимость». Но мы все еще вертимся вокруг да около «денежных стоимостей», ибо «Кенэ хочет избежать двойной оценки народно-хозяйственного дохода».

Заметим, с разрешения господина Дюринга: у Кенэ внизу, в «анализе» таблицы, фигурируют различные виды продуктов как «естественные предметы», а вверху, в самой таблице,—их денежные стоимости. Впоследствии Кенэ даже поручил своему подручному, аббату Бодо, внести в самое таблицу, на-ряду с денежными стоимостями, и естественные предметы.

После стольких «затрат», наконец, и «результат». И вот что, к изумлению нашему, мы слышим: «Но непоследовательность (по отношению к роли, приписываемой Кенэ земельным собственникам) становится тотчас же очевидной, если только задать вопрос, что же делается в хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты. Здесь методу мышления физиократов и экономической таблице остается только впасть в доходящие до мистицизма путаницу и произвол».

Конец венчает дело. Итак, господин Дюринг не знает, «что делается в хозяйственном кругообороте (изображаемом таблицей) с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты». Таблица для него — «квадратура круга». По собственному признанию, он не понимает азбуки физиократии. После всего этого хождения вокруг да около, после всего этого толчения воды в ступе, после скачков вперед, назад, арлекинад, диверсий, повторений и умопомрачающей путаницы, которые должны были нас подготовить к потрясающему объяснению, «что должна означать таблица у самого Кенэ», — после всего этого мы имеем под конец стыдливое признание господина Дюринга, что он сам этого не знает.

Освободившись от этого тягостного секрета, сбросив горациев-скую черную заботу, сидевшую у него на плечах во время поездки по физиократической стране, наш «серьезный и тонкий мыслитель» с новой бодростью ударяет в литавры: «Линии, которые Кенэ проводит туда и сюда в своей, впрочем, довольно простой (!) таблице (их всего-навсего шесть) и которые должны представить обращение чистого продукта», наводят на мысль, не принимала ли участия при составлении «этих странных соединений столбцов» математическая фантастика; они напоминают о занятиях Кенэ квадратурой круга и т. д. Так как эти линии, несмотря на всю свою простоту, остаются, по собственному признанию господина Дюринга, непонятными ему, то он должен, по своему излюбленному способу, заподозрить их. После этого он смело уже может нанести последний удар роковой таблице: «Рассмотрев чистый продукт с этой сомнителъпейшей стороны» и т. д. Свое вынужденное признание, что он ни слова не понимает в «Tableau economique» и в «роли», которую играет в ней при этом чистый продукт, — это господин Дюринг называет «сомнительнейшей стороной чистого продукта»! Что за юмор висельника!

Но чтобы наши читатели не остались в том же безнадежном неведении о таблице Кенэ, в каком неизбежно пребывают те, кто чер-пают свою экономическую мудрость «из первых рук» от господина Дюринга, мы вкратце сообщим следующее.

Как известно, у физиократов общество делится на три класса:

1) производительный класс, занятый действительно в земледелии, — фермеры и сельскохозяйственные рабочие; они называются производительными, ибо их труд дает избыток—ренту; 2) класс, присваивающий этот избыток; в него входят помещики и вся их челядь, государь и все вообще оплачиваемые государством чиновники и, наконец, церковь как присвоительница десятины. Для краткости мы в дальнейшем будем называть первый класс «фермерами», а второй «земельными собственниками»; 3) промышленный или стерильный (бесплодный) класс, бесплодный потому, что, согласно физиократической точке зрения, он прибавляет к доставляемым ему производительным классом сырым материалам ровно столько стоимости, сколько он потребляет в виде жизненных продуктов, доставляемых ему тем же самым классом. Таблица Кенэ имеет своей задачей показать наглядным образом, как обращается между этими тремя классами совокупный продукт какой-нибудь страны (на деле—Франции) и как он служит для ежегодного воспроизводства.

В качестве первой предпосылки таблица предполагает всеобщее распространение фермерской системы, а с ней и крупного сельского хозяйства, как его понимала эпоха Кенэ; образцом ему здесь служили Нормандия, Пикардия, Иль-де-Франс и некоторые другие-французские провинции. Поэтому фермер является действительным руководителем сельского хозяйства, представляет в таблице весь производительный (занимающийся земледелием) класс и выплачивает земельному собственнику ренту в деньгах. Совокупности фермеров приписывается основной капитал или инвентарь в десять миллиардов ливров, пятая часть которых, т. е. два миллиарда, представляет ежегодно возобновляемый оборотный капитал: при установлении этой пропорции Кенэ руководствовался данными о наилучших фермерствах вышеназванных провинций.

Затем имеются еще следующие предпосылки: 1) простоты ради предполагается постоянство цен и простое воспроизводство; 2) исключается всякое обращение продуктов в пределах одного класса и рассматривается только обращение их между классами; 3) все купли-продажи, происходящие между классами в течение хозяйственного года, объединяются в одну совокупную сумму. Наконец, надо помнить, что в эпоху Кенэ во Франции—как, более или менее, во всей Европе — крестьяне удовлетворяли значительнейшую часть своих потребностей в продуктах не пищевого характера собственным домашним трудом; поэтому такая домашняя промышленность предполагается здесь как сама собою разумеющаяся составная часть сельского хозяйства.

Исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, т. е. фигурирующий вверху таблицы валовой продукт из произведений почвы за год или целое воспроизводство страны, в данном случае Франции. Величина стоимости этого валового продукта определяется по средним ценам сельскохозяйственных произведений у торговых народов. Она равна пяти миллиардам ливров; это сумма, по возможным тогда статистическим расчетам, выражает приблизительно денежную стоимость валового сельскохозяйственного продукта Франции. Именно это и объясняет, почему Кенэ в своей таблице «оперирует несколькими миллиардами», именно пятью миллиардами ливров, а не пятью livres tournois.

Итак, весь валовой продукт, стоимостью в пять миллиардов, находится в руках производительного класса, т. е. прежде всего фермеров, которые произвели его, выложив за год оборотный капитал в два миллиарда, соответствующий основному капиталу в десять миллиардов. Сельскохозяйственные продукты, жизненные припасы, сырые материалы и т. д., необходимые для возмещения оборотного капитала, т. е. для содержания всех непосредственно занятых в земледелии лиц, изъемлются in natura из совокупного урожая и идут в дело на новое сельскохозяйственное производство. Так как, согласно вышесказанному, предполагается постоянство цен и простое воспроизводство в раз данном масштабе, то денежная стоимость этой изъятой части валового продукта равняется двум миллиардам ливров. Следовательно, эта часть не входит в общее обращение. Ибо, как уже замечено нами, в таблице не рассматривается обращение продуктов внутри, каждого отдельного класса, а только между различными классами.

По возмещении оборотного капитала от валового продукта остается избыток в три миллиарда, из которых два миллиарда в жизненных припасах, а один—в сырых материалах. Рента, которую фермеры должны платить земельным собственникам, равна, однако, только двум третям этой суммы, т. е. двум миллиардам. Мы вскоре-увидим, почему эти два миллиарда фигурируют под рубрикой «чистого продукта» или «чистого дохода».

Но кроме сельскохозяйственного «целого воспроизводства» стоимостью в пять миллиардов, из которых во всеобщее обращение входят три миллиарда, имеется еще, до начала изображенного в таблице движения, вся pecule нации, два миллиарда наличных денег в руках фермеров. С ними дело обстоит следующим образом.

Так как исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, то он в то же время образует заключительный пункт некоторого экономического года, например 1758 г., после которого начинается новый экономический год. Во время этого нового, 1759 года, предназначенная для обращения часть валового продукта распределяется, с помощью ряда отдельных выплат и куплей-продаж, между двумя другими классами. Эти следующие друг за другом, раздробленные и растягивающиеся на целый год действия собираются — и оно не могло быть иначе при составлении таблицы — в несколько характеристичных, захватывающих каждый раз целый год, актов. К концу 1758 года класс фермеров получил обратно деньги, которые он выплатил в качестве ренты за 1757 год земельным собственникам (как это происходит, должна показать сама таблица), — именно два миллиарда ливров, которые фермеры, значит, могут в 1759 году снова пустить в обращение. Так как, по замечанию Кенэ, эта сумма значительно больше, чем в действительности требуется для совокупного обращения страны (Франции), где платежи происходят всегда по частям, то находящиеся в руках фермеров два миллиарда ливров представляют всю массу обращающихся в стране денег.

Класс загребающих ренту земельных собственников выступает прежде всего — как это случайно имеет место еще и ныне — в качестве получателей денег. По предположению Кенэ, земельные собственники в тесном смысле слова получают только четыре седьмых всей ренты в два миллиарда, две седьмых достаются правительству и одна седьмая духовенству, получающему десятину. Во времена Кенэ церковь была крупнейшим земельным собственником во Франции и получала, сверх того, десятину со всей прочей земельной собственности.

Потраченный «стерильным» классом в течение года оборотный капитал (avances annuelles) заключается в сырых материалах, стоимостью в один миллиард, — мы говорим только о сырых материалах, ибо орудия, машины и проч. относятся к изделиям самого этого класса. Что касается разнообразных ролей, которые приходится играть подобным изделиям в промысловой деятельности самого этого класса, то они так же мало касаются таблицы, как происходящее исключительно внутри него обращение товаров и денег. Заработная плата за труд, с помощью которого бесплодный класс превращает сырые материалы в мануфактурные товары, равна стоимости жизненных припасов, которые он получает отчасти прямо от производительного класса, отчасти косвенно через земельных собственников. Хотя сам он распадается на капиталистов и наемных рабочих, но, по основному воззрению Кенэ, он является одним совокупным классом, находящимся на жалованьи у производительного класса и у земельных собственников. Все промышленное производство, а значит и все соответствующее обращение, распределяющееся в течение всего следующего за урожаем года, тоже объединено в одно целое. Поэтому предполагается, что при начале описываемого в таблице кругооборота годичное производство товаров бесплодного класса находится целиком в его руках, что, следовательно, весь его оборотный капитал, т. е. сырые материалы, стоимостью в один миллиард, превратились в товары, стоимостью в два миллиарда, половина которых представляет цену потребленных в течение этого периода изготовления товаров жизненных припасов. Но могут возразить: ведь бесплодный класс тоже потребляет промышленные продукты для собственного пользования; где фигурируют они, раз весь продукт этого класса переходит по каналам обращения к другим классам? На это мы получаем такой ответ: бесплодный класс не только потребляет сам часть своих товаров,

но старается еще помимо того удержать возможно большее количество их. Поэтому он продает пущенные им в оборот товары выше их действительной стоимости, и он должен это делать. Но это нисколько не изменяет условий таблицы, потому что оба других класса получают мануфактурные товары только по цене их совокупного производства.

Итак, мы знаем теперь экономическое положение трех различ-ных классов при начале описываемого таблицей движения.

Производительный класс, возместив в натуре свой оборотный капитал, имеет еще в своем распоряжении на три миллиарда сельскохозяйственных продуктов из валового производства и два миллиарда денег. Класс земельных собственников выступает пока только с своими притязаниями к производительному классу на ренту в два миллиарда. Бесплодный класс располагает мануфактурными товарами на сумму в два миллиарда. Обращение, происходящее только между двумя из этих классов, называется у физиократов неполным , а между всеми тремя — полным.

Теперь переходим к самой экономической таблице.

Первое (неполное) обращение. Фермеры выплачивают земель-ным собственникам, без эквивалента с их стороны, причитающуюся им ренту своими двумя миллиардами денег. На один из этих миллиардов земельные собственники покупают жизненные припасы у фермеров, к которым, таким образом, возвращается половина потраченных ими на выплату ренты денег.

В своем «Analyse du Tableau Economique» Кенэ больше не говорит о государстве, получающем две седьмых, и о церкви, получающей одну седьмую земельной ренты, ибо их общественная роль всем известна. По поводу же самих земельных собственников он говорит, что их траты — среди которых фигурируют и издержки всей их челяди — представляют в значительнейшей своей части бесплодные траты, за исключением той небольшой доли, которая применяется «для поддержания и улучшения их имений и для подъема культуры их». Но, согласно «естественному праву», их настоящая функция заключается как раз в «заботе о хорошем управлении и в издержках для сохранения своей наследственной части», или, как развивается дальше, в avances foncieres, т.е. в издержках на то,чтоб подготовить почву и снабдить фермеров всем необходимым инвентарем, который позволил бы им посвятить весь свой капитал исключительно делу сельскохозяйственной культуры.

Второе (полное) обращение. На второй, находящийся еще в их распоряжении, миллиард земельные собственники покупают мануфактурные товары у бесплодного класса, а последний на полученные деньги покупает у фермеров жизненные припасы.

Третье (неполное) обращение. Фермеры покупают у бесплодного класса на миллиард ливров мануфактурных товаров; значительная часть этих товаров состоит из земледельческих орудий и других, необходимых для сельского хозяйства, средств производства. Бесплодный класс возвращает фермерам эту самую сумму, накупив у них на миллиард сырых материалов, в возмещение своего собственного оборотного капитала. Благодаря этому к фермерам возвращаются выплаченные ими в виде ренты два миллиарда ливров, и баланс подведен. А этим решается и великая загадка о том, «что становится в хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты».

Мы видели выше, что в руках производительного класса имеется в начале процесса избыток стоимостью в три миллиарда. Из них только два были выплачены земельным

собственникам, как чистый продукт, в виде ренты. Третий миллиард из избытка образует проценты на весь вложенный фермерами капитал, составляя на десять миллиардов десять процентов. Этот процент они получают — заметим это—не из обращения; он находится in natwa в их руках, они его только реализуют в обращении, обменяв его с помощью обращения на мануфактурные товары той же стоимости.

Без этого процента фермер, главный деятель сельского хозяйства, не авансировал бы ему основного капитала. Уже с этой точки зрения присвоение фермером доли сельскохозяйственного прибавоч-ного дохода, представляющей процент, является, согласно физиократам, столь же необходимым условием воспроизводства, как сам класс фермеров; поэтому этот элемент нельзя причислить к категории национального «чистого продукта» или «чистого дохода», ибо последний характеризуется именно тем, что его можно потребить без всякого отношения к непосредственным потребностям национального воспроизводства. Но этот фонд в один миллиард служил, согласно Кенэ, главным образом для необходимых в течение года исправлений и отчасти для обновления основного капитала, далее в качестве резервного фонда против несчастных случаев, наконец, если можно, для увеличения основного и оборотного капиталов, а также для улучшения почвы и для расширения культуры.

Весь процесс, действительно, «довольно прост». В обращение пускаются: фермерами— два миллиарда денег, для уплаты ренты, и на три миллиарда продуктов, из которых две трети жизненных припасов и одна треть сырых материалов; бесплодным классом — на два миллиарда мануфактурных товаров. Из жизненных припасов, стоимостью в два миллиарда, одна половина потребляется земельными собственниками и связанными с ними группами, другая — бесплодным классом в уплату за его труд. Сырые материалы, стоимостью в один миллиард, возмещают оборотный капитал этого же класса. Из обращающихся мануфактурных товаров на два миллиарда ливров одна половина достается земельным собственникам, другая фермерам, для которых она является лишь превращенной формой процента на вложенный ими капитал, процента, полученного в первоначальном виде из сельскохозяйственного производства. Деньги же, пущенные фермерами в обращение в виде уплаты за ренту, возвращаются к ним обратно благодаря продаже их продуктов, и, благодаря этому, тот же кругооборот может сызнова начаться в ближайшем экономическом году.

А теперь пусть читатель присмотрится к «действительно критическому», столь превосходящему «традиционное легковесное объясне-ние», изложению господина Дюринга. Повторив пять раз подряд с таинственным видом, как неосторожно оперирует Кенэ в таблице с одними только денежными стоимостями, — что, между прочим, оказалось ложным, — он приходит под конец к тому результату, что на вопрос о том, «что же делается в хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты», «экономической таблице остается только впасть в доходящую до мистицизма путаницу и произвол». Мы видели, что таблица, это столь же простое, как и гениальное для своего времени, изображение годового процесса воспроизводства в его реализации через обращение, очень точно отвечает на вопрос о том, что становится с этим чистым продуктом в сельскохозяйственном кругообороте; таким образом, «мистицизм» с «путаницей и произволом» остаются опять-таки только на долю господина Дюринга, как «сомнительнейшая сторона» и единственный «чистый продукт» его физиократических занятий.

Господин Дюринг так же хорошо знаком с исторической ролью

физиократов, как и с их теорией. «В лице Тюрго, — поучает он нас,—физиократия во Франции пришла к своему практическому и теоретическому концу». То, что Мирабо в своих экономических воззрениях был по существу физиократом, что в Учредительном собрании 1789 г. он был первым авторитетом в экономических вопросах, что собрание это в своих экономических реформах перевело значительную часть физиократических учений из области теории в область практики и, в частности, обложило высоким налогом присваиваемый земельной собственностью, «без эквивалента», чистый продукт, земельную ренту, — все это не существует для «некоего» Дюринга.

Господин Дюрпнг одной длинной чертой через период 1691 — 1752 гг. вычеркнул всех предшественников Юма, другой такой же чертой он вычеркивает действовавшего в промежутке между Юмом и Адамом Смитом сэра Джемса Стюарта. О его большом произведении, которое — не говоря уже о его исторической важности — надолго обогатило область политической экономии, в «предприятии» господина Дюринга не говорится ни звука. Зато он обзывает Стюарта самым бранным словом, существующим в его лексиконе, и говорит, что он был «профессором» во время А. Смита. К сожалению, это чистая выдумка. Стюарт в действительности был крупным шотландским помещиком, который был изгнан из Великобритании за участие якобы в заговоре в пользу Стюартов и который, благодаря своим путешествиям и долгому пребыванию на материке, ознакомился с экономическим положением различных стран.

Коротко говоря: согласно «Критической истории», значение всех прежних экономистов сводится или к тому, что их учения представляют как бы «зачатки» более глубоких, «основоположных» исследований господина Дюринга, иди же к тому, что своей негодностью они только больше оттеняют ценность их. Однако и в политической экономии существует несколько героев, дающих не только «зачатки» для «более глубокого основоположения», но и теоремы, из которых оно, как предписано в натурфилософии, не «развивается», а «компонируется»: это—«несравненно выдающаяся величина»—Лист, который придал к вящшей выгоде немецких фабрикантов «мощный» вид «более деликатным» меркантилистским теориям какого-то Феррье и других; это, далее, Кэри, вся мудрость которого заключена в следующем положении: «система Рикардо, это —система раздора... она приводит к порождению классовой вражды... его сочинение является руководством демагога, стремящегося к власти путем раздела земли, войны и грабежа», это, наконец, путаник лондонского Сити — Маклеод.

Поэтому люди, которые в настоящее время и в «ближайшее обозримое будущее» захотят изучать политическую экономию, поступят благоразумнее, если они ознакомятся с «водянистыми продуктами», «плоскостями», «нищенскими похлебками» «популярнейших компилятивных руководств», чем если они положатся на «изложение истории в высоком стиле» господина Дюринга.

* * *

Что же, наконец, получается в результате нашего анализа дю-лгаговой «собственно созданной системы» политической экономии? Просто то, что, несмотря на все высокопарные слова и еще более высокопарные обещания, нас так же водили за нос, как в «философии». Теория стоимости, этот «пробный камень высокопробности экономических систем», свелась к тому, что господин Дюринг понимает под стоимостью пять различных и друг другу резко противоречащих вещей и, следовательно, в лучшем случае, сам не знает, чего он хочет. Возвещенные с такой помпой «естественные законы всякого хозяйства» оказались архи-известными и часто даже неправильно формулированными банальностями худшего сорта. Единственное объяснение экономических фактов, даваемое

нам собственно созданной системой, сводится к тому, что они—результаты «насилия»; это такое общее место, которым филистеры всех народов от века умели отделываться от всех докучных вещей и с которым мы не становимся умнее, чем были прежде. Вместо того чтобы исследовать происхождение и действие этого насилия, господин Дюринг предлагает нам успокоиться с благодарностью при голом слове «насилие», как последней причине и окончательном объяснении всех экономических явлений. Вынужденный дать более конкретное разъяснение капиталистической эксплоатации труда, он сперва сводит ее вообще к обложению податью и к надбавке на цены, присваивая себе здесь целиком прудоновское учение о «поборе» (prelevement), а в дальнейшем пользуется для объяснения ее марксовой теорией прибавочного труда, прибавочного продукта и прибавочной стоимости. Он умудряется счастливо примирить две диаметрально противоположные концепции, для чего ему достаточно попросту списать их обе в один присест. И подобно тому как в философии он не находил достаточно грубых слов для того самого Гегеля, идеями которого он, разжижая их, не перестает пользоваться, так в «Критической истории» самая беспардонная ругань по адресу Маркса служит лишь прикрытием того факта», что имеющаяся в «Курсе» крупица разумных мыслей о капитале и труде представляет тоже разжиженный плагиат идей Маркса. Незнание, которое позволяет себе в «Курсе» принимать за начало истории культурных народов «крупного землевладельца» и ни слова не знает об общей земельной собственности родовых и деревенских общин, являющейся в действительности исходным пунктом всей истории, — это в наши дни просто непонятное незнание почти бледнеет перед тем невежеством, которое в «Критической истории» немало любуется собой, как «универсальной широтой исторического кругозора», несколько ужасающих образчиков которого мы привели. Одним словом, сперва колоссальные «затраты» самовосхваления, базарного, крикливого саморекламирования, головокружительных обещаний, а затем «результат»—полный нуль.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

СОЦИАЛИЗМ — ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Мы видели, каким образом подготовлявшие революцию философы XVIII века апеллировали к разуму, как к единственному судье над всем существующим. Они требовали основания разумного государства, разумного общества и безжалостного устранения всего, стоящего в противоречии с вечным разумом. Мы видели также, что этот вечный разум оказался в действительности лишь идеализованным рассудком третьего сословия, готового превратиться в современную буржуазию. Если общественный строй и новое государство, созданные французской революцией, и могли казаться разумными по сравнению со старыми учреждениями, — они были, во всяком случае, очень далеки от абсолютной разумности. Царство разума потерпело крушение. Общественный договор Руссо нашел себе применение в господстве террора, от которого изверившаяся в своей политической способности буржуазия искала спасения сперва в испорченности директории, а потом под крылом наполеоновского деспотизма. Обетованный вечный мир превратился в бесконечные завоевательные войны.

Не более посчастливилось и разумному общественному строю. Противоположность между богатством и бедностью, вместо того чтобы разрешиться во всеобщее благоденствие, напротив, усилилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших до известной степени ее прикрытием, а также вследствие исчезновения церковной благотворительности, несколько смягчавшей бедствия ни-щеты. [Осуществленная теперь на деле «свобода собственности» от-феодальных оков оказалась для мелкого буржуа и крестьянина свободой продавать задавленную могущественной конкуренцией крупного капитала и крутшого землевладения мелкую собственность именно этим магнатам и превратилась, таким образом, для этих мелких буржуа и крестьян в свободу от собственности.] Быстрое развитие промышленности на капиталистическом основании скоро возвело бедность и страдания рабочих масс в необходимое условие существования общества. [Чистоган стал, по выражению Карлейля, единственным связующим элементом этого общества.] Количество преступлений возрастало с каждым годом. Если пороки феодалов, прежде выставлявшиеся напоказ, теперь на время стушевались, зато тем пышнее расцвели на их месте пороки буржуазии, прежде робко скрывавшиеся во тьме. Торговля все более и более проникалась мошенничеством. Революционный девиз «братство» осуществился в плутнях и во вражде конкуренции. Подкуп заменил грубое насилие, и, вместо меча, главнейшим рычагом общественной жизни стали деньги. «Право первой ночи» по наследству перешло от феодалов к фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров, и даже самый брак превратился в законом признанную форму разврата, в его официальный покров, дополняясь к тому же многочисленными незаконными связями. Одним словом, возникшие вслед за «победой разума» политические и общественные учреждения оказались самой злой, самой отрезвляющей карикатурой на блестящие обещания философов XVIII века. Недоставало только людей, способных констатировать всеобщее разочарование, и эти люди явились с началом нового столетия. В 1802 г. вышли «Женевские письма» Сен-Симона; в 1808 г. появилось первое произведение Фурье, хотя основание его теории относится еще к 1799г.; 1 января 1800 г. Роберт Оуэн взялся за управление Нью-Лэнарком.

Но в это время капиталистическое производство—а с ним и противоположность между буржуазией и пролетариатом—было еще очень неразвито. Крупная промышленность была неизвестна во Франции и только что возникла в Англии. А между тем лишь крупная промышленность развивает борьбу не только между созданными ею классами, но и между

порожденными ею производительными силами и формами обмена, и лишь эти создаваемые крупной промышленностью столкновения ведут с роковою необходимостью к перевороту в способе производства и к устранению его капиталистического характера, причем та же крупная промышленность в гигантском развитии производительных сил дает также средство для разрешения ею же созданных противоречий. Если в 1800 г. сама борьба, вытекающая из современного общественного порядка, только что зарождалась, то тем менее было в наличности средств для ее устранения. Хотя во время террора неимущие массы Парижа захватили на минуту власть и смогли, таким образом, направить буржуазную революцию против самой же буржуазии, но их минутная победа послужила наилучшим доказательством всей невозможности прочного господства рабочего класса при тогдашних условиях. Пролетариат, еще не выделившийся из об-; щей массы неимущих людей, составлял в то время лишь зародыш будущего класса и не был способен к самостоятельному политическому действию. Он являлся лишь угнетенной, страдающей массой, способной в своей беспомощности ждать избавления только от какой-нибудь внешней, высшей силы.

Это историческое положение отразилось и на учениях основателей социализма. Незрелому капиталистическому производству, невыясненности взаимного положения классов соответствовали и незрелые теории. Приходилось изобретать, а не открывать решение общественных задач, еще окутанное туманом неразвитых экономиче- ских отношений. Очевидны были только недостатки общественного строя, найти же средства к их устранению казалось задачей мысля-щего разума. Требовалось изобрести новую, самую совершенную систему человеческих отношений и привить ее существующему обществу посредством пропаганды, а по возможности и посредством примера образцовых учреждений по новой системе. Эти новые социальные системы были заранее обречены оставаться утопиями, и чем старательнее разрабатывались их подробности, тем дальше уносились они в область чистой фантазии.

Утопическая сторона социалистических теорий теперь уже всецело отошла в область истории, и мы не будем останавливаться на ней ни минуты долее, предоставив литературным лавочникам а 1а Дюринг самодовольно перетряхивать эти смешные фантазии и любоваться трезвостью своего образа мыслей по сравнению с подобным «сумасбродством». Мы гораздо охотнее постараемся найти под фантастическим покровом зародыши гениальных идей, всюду разбросанные в теориях великих утопистов, но незаметные для слепых филистеров.

[Сен-Симона можно назвать сыном Великой французской революции, при начале которой он не достиг еще тридцатилетнего возраста. Революция была победой третьего сословия, т.е. большинства нации, занятого в производстве и торговле, над до тех пор привилегированными сословиями — дворянством и духовенством. Но победа третьего сословия оказалась в действительности победой маленькой части этого сословия; она свелась к завоеванию политической власти социально-привилегированной частью его, имущей буржуазией. К тому же эта буржуазия быстро развилась еще в процессе революции, с одной стороны, при помощи спекуляции конфискованными и затем проданными земельными владениями дворянства и церкви, с другой —путем надувательства нации военными поставщиками. Именно господство этих спекулянтов привело в эпоху директории Францию и революцию на край гибели и дало вместе с тем предлог Наполеону для его государственного переворота. Таким образом, в голове Сен-Симона противоположность между третьим сословием и привилегированными сословиями приняла форму противоположности между «рабочими» и «праздными». Последними являлись не только старые привилегированные, но и все те, кто не принимал участия в производстве и торговле, жил на свою ренту. А «рабочими» были не только

наемные рабочие, но и фабриканты, купцы, банкиры. Что праздные потеряла способность к духовному руководству и полити-ческому господству,— не подлежало никакому сомнению и оконча-тельно было доказано революцией. Что обездоленные не обладали этой способностью, об этом, по мнению Сен-Симона, свидетельствовал опыт эпохи террора. Кто же должен был руководить и господствовать? По мнению Сен-Симона — наука и промышленность, объединенные новой религиозной связью, необходимо мистическим и строго иерархическим «новым христианством», которое должно было восстановить | разрушенное со времени реформации единство религиозных воззрений. Но наука — это были ученые, а промышленность — в первую очередь активные буржуа, фабриканты, купцы, банкиры. Правда, эти буржуа должны были стать чем-то вроде государственных чиновников, доверенных лиц всего общества, но по отношению к рабочим они сохраняли распорядительные функции, а также привилегированное экономическое положение. Что касается банкиров, то они были призваны регулировать все общественное производство при помощи регулирования кредита. Такой взгляд вполне соответствовал той эпохе, когда во Франции крупная промышленность, а вместе с ней противоположность между буржуазией и пролетариатом, только начала развиваться. Но что Сен-Симон особенно подчеркивает, так это следующее: всюду и всегда его в первую очередь интересует судьба «самого многочисленного и самого бедного класса» [(«da classe la plus nombreuse et la plus pauvre»)].

Уже в «Женевских письмах» Сен-Симона мы находим положение, что «все люди должны работать»; в том же произведении он утверждает, что господство террора во Франции было господством неимущих масс.

«Посмотрите, — взывает он к этим массам, — что произошло во Франции, когда там господствовали ваши братья: они создали голод!» Нужна была гениальная проницательность, чтобы в 1802 г. понять, что французская революция была классовой борьбой, и не только между дворянством и буржуазией, но также между дворянством, буржуазией и неимущими массами. В 1816 г. Сен-Симон заявляет, что политика есть наука о производстве и заранее предсказывает ее полнейшее поглощение экономикой. Если понятие о происхождении политических учреждений из экономических основ видно лишь в зародыше, зато совершенно ясно выражена та мысль, что по-литическая власть над людьми должна превратиться в управление вещами, в заведывание процессами производства, т. е. прийти к «упразднению государства», о котором так много шумели в последнее время.

С таким же превосходством над современниками Сен-Симон заявляет в 1814 г., — тотчас по вступлении союзников в Париж, — а затем в 1815 г. (во время войны ста дней), что союз Франции с Англией и этих двух стран с Германией представляет единственную гарантию мирного развития и процветания Европы. Нужно было больше мужества и исторической дальнозоркости, чтобы в 1815 г. проповеды-вать французам союз с победителями при Ватерлоо, чем чтобы вести словесную войну с немецкими профессорами.

Если гениальная широта взглядов Сен-Симона позволила ему уловить зародыши почти всех позднейших социалистических идей, не относящихся к области чистой экономии, то Фурье, со своей стороны, дает нам глубоко захватывающую критику существующего общественного строя, выраженную при этом с чисто французским остроумием. Он ловит на слове вдохновенных пророков дореволюционной буржуазии и ее подкупленных льстецов новейшего времени. Он беспощадно раскрывает всю материальную и моральную нищету буржуазного мира и сопоставляет ее с блистательными обещаниями наступления царства разума, цивилизации, несущей счастье всем, и бесконечного совершенствования

человеческого рода; он показывает, какая жалкая действительность соответствует напыщенным хвалеб-ным речам современных ему буржуа-идеологов, и изливает весь свой сарказм на это окончательное фиаско фразы. Благодаря живости своей натуры Фурье является не только критиком, но и сатириком, и даже одним из величайших сатириков всех времен. Сильными и меткими штрихами рисует он спекулятивные плутни и мелко-торгашеский дух, овладевший французской торговлей послереволюционного периода. Еще удачнее его сатирическое изображение отношений полов в буржуазном обществе и положения в нем женщины. Ему первому принадлежит мысль, что степень свободы, достигнутая данным обществом, должна измеряться большей или меньшей свободой женщины в этом обществе.

Но выше всего поднимается Фурье в своем взгляде на историю человеческих обществ. Весь предшествующий ход ее он разделяет на четыре ступени развития: дикое состояние, варварство, патриархат и цивилизация. Под последней он разумеет существующий буржуазный строй, начавшийся с XVI столетия, и показывает, как «эта цивилизация делает сложным, двусмысленным, двуличным и лицемерным каждый порок, остававшийся в простом виде при варварстве». Он указывает на «заколдованный круг» непобедимых и вечно возобновляющихся противоречий, в котором движется цивилизация, всегда достигая результатов, противоположных тем, к которым, искренно или притворно, она стремится. Например, по его словам, «в цивилизации бедность порождается самим избытком». Очевидно, Фурье также мастерски владел диалектикой, как и его современник Гегель. С той же самой диалектической точки зрения он утверждает, вопреки господствовавшей тогда теории о бесконечной способности человека к совершенствованию, что не только каждый исторический фазис имеет свой период роста и упадка, но что и все человечество, в конце концов, обречено на исчезновение. Эта идея Фурье заняла в исторической науке такое же место, какое заняла в естествознании идея Канта о конечном разрушении земного шара.

В то время как над Францией проносился ураган революции, в Англии совершался менее шумный, но не менее могущественный переворот. Пар и машины превратили мануфактуру в современную крупную промышленность и тем самым революционизировали все основы буржуазного общества. Медленный, сонливый ход мануфактуры превратился в настоящий «период бурных стремлений» промышленности. Разделение общества на крупных капиталистов и лишенных всякого имущества пролетариев совершалось с постоянно возраставшей быстротой, разрушая промежуточные состояния. Устойчивый средний класс старого времени превратился теперь в колеблющуюся, неустойчивую массу ремесленников и мелких торговцев, ведущих необеспеченный образ жизни и составляющих наиболее текучую часть населения. Новый способ производства находился еще на первых ступенях своего восходящего развития; он был еще нормальным, правильным, единственно возможным при данных условиях способом производства, а между тем он успел уже породить вопиющие общественные бедствия. Масса бездомного населения скопилась в отвратительнейших закоулках больших городов; разрушились традиционные связи, патриархальный семейный быт, даже самая семья; крайнее удлинение рабочего дня изнуряло непосильной работой, по преимуществу, детей и женщин; испорченность нравов в среде рабочего населения, внезапно брошенного в совершенно новые условия существования, из деревни в город, из земледелия в промышленность, достигла поражающих размеров. И вот, за реформу общественных отношений, порождающих такие бедствия, взялся Роберт Оуэн, 29-летний фабрикант, соединявший редкую способность руководить людьми с возвышенной и почти детской простотой характера. Он, усвоил себе материалистическое учение XVIII века об образовании человеческого характера из взаимодействия, с одной стороны,

унаследованной организации, а с другой—условий, окружающих человека, в особенности в период его развития.

Большинство его собратьев по положению видело в промышленной революции только беспорядок и хаос, годный для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Оуэн искал в ней благоприятных условий для осуществления своей любимой идеи, вносящей порядок в хаос. Он уже пытался, и не без успеха, применить ее в Манчестере, в качестве директора фабрики, занимавшей 500 рабочих. С 1800 по 1829 год он управлял большой бумагопрядильной фабрикой в Нью-Лэнарке, в Шотландии, и, будучи компаньоном в предприятии, действовал здесь с большей свободой и с таким успехом, что вскоре его имя сделалось известным всей Европа. Население Нью-Лэнарка, постепенно возросшее до 2500 человек и состоявшее из крайне смешанных и, по большей части, сильно развращенных элементов, он превратил в образцовую колонию, в которой пьянство, полиция, тюрьмы, суды, благотворительность и надобность в ней стали неизвестными вещами. Он достиг своей цели единственно тем, что поставил рабочих в условия, более сообразные с человеческим достоинством, и в особенности заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения. В Нью-Лэнарке были впервые введены детские сады, придуманные Оуэном. В них принимали детей, начиная с двухлетнего возраста, и так хорошо занимала их, что родители с трудом могли увести домой разыгравшихся питомцев. Рабочий день был уменьшен в Нью-Лэнарке до 10 1/2 часов, тогда как на соперничавших с ним фабриках работа длилась до 13 и 14 часов. А когда хлопчатобумажный кризис принудил к четырехмесячной остановке работ, рабочие продолжали получать полную плату. И при всем том, фабрика удвоила свою стоимость и постоянно приносила своим собственникам отличный доход.

Но все это не удовлетворяло Оуэна. Положение, в которое он поставил своих рабочих, в его глазах далеко не соответствовало человеческому достоинству. «Эти люди — мои рабы», говорил он; сравнительно благоприятные условия существования рабочих Нью-Лэнарка были далеко недостаточны для всестороннего развития их ума и характера, не говоря уже о свободном приложении сил и способностей. «А между тем трудящаяся часть этих 2 500 человек создала такое-количество реального богатства, для производства которого полвека тому назад потребовался бы труд 600 000 человек. Я спросил себя: куда девается разность между количеством продуктов, потребляемых этими 2 500 рабочими, и тем количеством, которое потребовалось бы для прежних 600 000?» Ответ был ясен. Эта разность получалась собственниками фабрики в виде 300 000 фунтов стерлингов (6 000 000 марок) ежегодного дохода, сверх 5% на основной капитал предприн-тия. Этот ответ еще в большей степени, чем к Нью-Лэнарку, был применим ко всем остальным фабрикам Англии. «Без нового источника богатства, созданного машинами, не было бы возможности вести вой-ны для свержения Наполеона и поддержания аристократических принципов общественного устройства. И эта новая сила была делом рук рабочих». Им поэтому должны принадлежать плоды ее. Новые могучие силы производства, служившие до сих пор только обогащению единиц и порабощению масс, представлялись Оуэну основами общественного преобразования и должны были служить благосостоянию всех в качестве общественной собственности.

В такой деловой обстановке, основанной, так сказать, на торговом счетоводстве, возник коммунизм Оуэна и до конца сохранил свой практический характер. Так, в 1823 г. Оуэн составил проект земледельческих колоний с целью устранения ирландских бедствий и приложил к нему подробное вычисление необходимого основного капитала, ежегодных издержек и предполагаемых доходов. В своем окончательном плане будущего строя Оуэн обращает особенное внимание на техническую сторону дела, тщательно разрабатывает все подробности, прилагает при этом планы, чертежи и рисунки, и все это с таким

знанием дела, что если принять его метод общественных реформ, то очень немного можно сказать против подробностей, даже с точки зрения специалиста.

Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока его деятельность была простой филантропией, она доставляла ему богатство, всеобщее одобрение, почет и славу. Он был тогда популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только его товарищи по общественному положению, но даже сами государи и министры. Но лишь только он выступил со своими коммунистическими теориями,—показалась оборотная сторона медали. Три великих препятствия заграждали, по его мнению, путь к общественным реформам: частная собственность, религия и современная форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он знал, что ему предстоит стать отверженным среди официального общества и потерять свое социальное положение; но эти соображения ни на волос не убавили энергии его нападения. Произошло именно то, что он предвидел: его изгнали из официального общества; игнорируемый прессою, обедневший благодаря неудачным коммунистическим опытам в Америке, поглотившим все его состояние, он обратился прямо к рабочему классу и трудился в его среде еще тридцать лет. Все общественное движение, все действительные успехи, достигнутые рабочим классом Англии, связаны с именем Оуэна. Так, в 1819г., благодаря его пятилетним усилиям, прошел первый закон, ограничивающий работу женщин и детей на фабриках. Под его председательством собрался первый конгресс, на котором трэд-юнионы всей Англии соединились в один большой, всеобщий профессиональный союз, Он жа организовал, в качестве переходных ступеней к совершенно-коммунистическому общественному строю, впервые кооперативные товарищества (потребительные и производственные), полезные уже одним тем, что они доказали полную возможность обходиться без купцов и фабрикантов. Кроме того, он устроил рабочие базары, на которых продукты обменивались при помощи бумажных денег, единицей которых служили часы труда. Эти базары неизбежно должны были потерпеть неудачу, но они вполне предвосхитили позднейший прудоновский обменный банк, от которого они отличались лишь тем, что не возводились своим изобретателем в универсальное средство от всех зол, а предлагались только как первый шаг к более радикальному переустройству всего общества.

Таковы те люди, на которых суверенный г. Дюринг взирает с высоты своей «окончательной истины в последней инстанции» с презрением, примеры чему мы привели во введении. И это презрение в известном смысле имеет для себя достаточное основание: оно покоится, в сущности, на истинно ужасающем невежестве относительно сочинений трех утопистов. Так, о Сен-Симоне говорится, что основная его идея. по существу, была верна, и, если оставить в стороне некоторые односторонности, она и теперь может дать толчок к действительному творчеству». Несмотря, однако, на то, что г. Дюринг действительно, повидимому, держал в своих руках некоторые сочинения Сен-Симона, мы на протяжении всех 27 печатных страниц, которые посвящены ему, напрасно искали бы «основных идей» Сен-Симона, как прежде напрасно искали, что, собственно, «должна означать у самого Кенэ» его экономическая таблица, и, в конце концов, мы должны удовлетвориться фразой о том, что «воображение и филантропический аффект... с соответствующим напряжением фантазии господствовали над всем кругом идей Сен-Симона». У Фурье он знает и рассматривает только изображенные в романтических деталях фантазии будущего, что, впрочем, «гораздо важнее» для констатирования бесконечного превосходства г. Дюринга над Фурье, чем для исследования того, как последний «мимоходом пытается критиковать существующий строй». Мимоходом! Ведь почти на каждой странице в его произведениях блестят искры сатиры и критики вопиющих дефектов многопрославленной цивилизации! Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал, что г. Дюринг только «мимоходом» провозглашает г. Дюринга

величайшим мыслителем всех времен! Что же касается двенадцати страниц, посвященных Роберту Оуэну, то для них г. Дюринг не имеет абсолютно никаких других источников, кроме жалкой биографии филистера Сарджента, который, в свою очередь, не знал важнейших сочинений Оуэна — о браке и о коммунистическом строе. И только поэтому, вероятно, г. Дюринг осмеливается утверждать, что у Оуэна «нельзя предполагать решительного коммунизма». Во всяком случае, если бы г. Дюринг держал хотя бы в руках «Book of the New Moral World», он нашел бы в этой книге резко-выраженным не только самый решительный коммунизм, с равной обязанностью труда и равным правом на продукт, — соответственно возрасту, как всегда прибавляет Оуэн, — но также и вполне разработанную систему устройства коммунистической общины будущего с планами, чертежами и общими замечаниями. Впрочем, если «непосредственное изучение подлинных сочинений представителей социалистических идей» ограничить, как это делает г. Дюринг, знакомством с заголовками или, в крайнем случае, эпиграфами к немногим из их сочинений, то ничего не остается, как только изрекать подобные плоские или прямо нелепые утверждения. Оуэн не только проповеды-вал «решительный коммунизм», но он также практиковал его в течение пяти лет (в конце 30-х и начале 40-х гг.) в колонии Гармони-Голль в Гемпшире, в которой коммунизм не оставлял желать ничего в смысле радикализма. Я лично знал некоторых бывших участников этого коммунистического эксперимента. Но обо всем этом, как вообще о деятельности Оуэна между 1836 и 1850 гг., Сарджент абсолютно ничего не знал, а потому и «более глубокая историография» г. Дюринга остается по этому вопросу в дебрях невежества. Г-н Дюринг называет Оуэна «истинным чудовищем филантропической навязчивости». И хотя тот же Дюринг рассказывает нам о содержании книг, с которыми он едва знаком по заголовкам и эпиграфам, мы все-таки остерегаемся, в свою очередь, сказать, что он сам представляет «во всех отношениях истинное чудовище невежественной навязчивости», так как в наших устах это будет названо «руганью».

Утописты, как мы видели, были утопистами потому, что они не могли быть ничем иным в эпоху, когда капиталистическое производство было еще так слабо развито. Они принуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо эти элементы еще не вырисовывались ясно для всех в недрах самого старого общества ; набрасывая план нового здания, они были принуждены ограничиваться обращением к разуму, так как они еще не могли апеллировать к современной им истории. Если же теперь, почти через 80 лет после их выступления, г. Дюринг появляется на сцене с претензией вывести «руководящую» систему нового общественного строя не из наличного исторически развившегося материала как его необходимый результат, а из своей суверенной головы, из своего чреватого окончательными истинами разума, то он, который повсюду чует эпигонов, сам является только эпигоном утопистов, — новейшим утопистом. Он называет утопистов «социальными алхимиками». Пусть так! Алхимия в свое время была необходима. Но с тех пор крупная промышленность развила скрывающиеся в капиталистическом способе производства противоречия в столь вопиющие антагонизмы, что приближающийся крах этого способа производства может быть, так сказать, нащупан руками. Новые производительные силы могут сохраниться и развиваться далее лишь при введении нового, соответствующего их нынешней стадии развития способа производства. Постоянная борьба между двумя классами, созданными существующим способом производства, порождающим все большее и большее обострение классовых отношений, охватила все цивилизованные страны и разгорается с каждым днем, так что, наконец, уже достигнуто понимание этого исторического процесса и условий ставшего благодаря ему необходимым социального преобразования, а также и главных характерных свойств последнего. Если г. Дюринг и теперь фабрикует «утопию» нового общественного строя не из наличного экономического материала, а извлекает ее просто из своего высочайшего черепа, то далеко недостаточно сказать, что он занимается

«социальной алхимией». Нет, он поступает хуже, чем тот, кто, после открытия законов современной химии, вздумал бы воскресить старую алхимию и пожелал бы воспользоваться атомным весом, молекулярными формулами, валентностью атомов, кристаллографией и спектральным анализом для открытия философского камня.

II. ОЧЕРК ТЕОРИИ.

Материалистическое понимание истории зиждется на том положении, что производство, а вслед за производством и обмен продуктов, служат основанием всякого общественного строя: что в каждом историческом обществе распределение продуктов, а с ним и расчленение общества на классы или сословия, зависят от того, как и что производится этим обществом и каким способом обмениваются произведенные продукты. Отсюда следует, что коренных причин социальных переворотов нужно искать не в головах людей, не в растущем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способа производства и обмена; другими словами — не в философии, а в экономии данной эпохи. Пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующих общественных отношений, убеждение в том, что «Vernunft Unsinn, Wohltat Plage geworden ist» (безумством мудрость стала, злом—благо), служит лишь указанием того, что в способах производства и в формах обмена постепенно совершались изменения, настолько значительные, что им уже не соответствует общественный порядок, выкроенный по мерке старых экономических условий. Из сказанного ясно, что и средства для устранения сознанного зла должны заключаться — в более или менее развитом виде — в самих изменившихся условиях производства. Ум человеческий не может изобрести эти средства; он должен открыть их в данных материальных явлениях производства.

Что ж сказать, на основании этого, о современном социализме?

Всеми признано, что существующий общественный строй создан господствующим теперь классом — буржуазией. Свойственный буржуазии способ производства, обозначаемый со времени Маркса именем капиталистического, не мирился с местными и сословными привилегиями, равно как и с теми взаимными связями между личностями, которые существовали в феодальном обществе; буржуазия разрушила феодальный порядок и воздвигла на его развалинах буржуазный общественный строй, царство свободной конкуренции, свободы передвижения, равноправности товаровладельцев, словом, всех буржуазных прелестей. Капиталистический способ производства мог развернуться теперь на полном просторе. С тех пор как пар и машины превратили старую мануфактуру в крупную промышленность, выработавшиеся под управлением буржуазии производительные силы стали развиваться с неслыханной прежде быстротой и в небывалых размерах. Но точно так же, как мануфактура и усовершенствовавшиеся под ее влиянием ремесла пришли некогда в столкновение с феодальными узами цехов, крупная промышленность,, на более высокой ступени своего развития, приходит в столкновение с узкими пределами, которыми ограничивает ее капиталистический способ производства. Новые производительные силы переросли буржуазные формы их эксплоатации. Это противоречие между производительными силами и способом производства не выдумано людьми, — подобно противоречию между первородным грехом и божественной справедливостью, — а существует в действительности, объективно, вне нас, независимо от воли и поведения даже тех людей, деятельностью которых оно создано. Современный социализм есть не что иное, как умственное отражение этого фактического противоречия, идеальное отражение его в головах, прежде всего класса, страдающего от него непосредственно, т. е. класса рабочих.

В чем же состоит это противоречие?

До появления капитализма, т. е. в средние века, всюду существовало мелкое производство, основанное на частной собственности производителей по отношению к средствам производства; в деревне господствовало земледелие мелких, свободных или крепостных, крестьян, в городах — ремесло. Орудия труда — земля, земледельческие орудия, мастерские и инструменты ремесленников—были орудиями труда отдельных лиц, рассчитанными лишь на единоличное употребление, и, следовательно, по необходимости оставались мелкими, несовершенными, ограниченными. Но потому-то они и принадлежали самим производителям. Историческая роль капитализма и его носительницы — буржуазии — заключалась именно в концентрировании этих рассеянных мелких средств производства, в придании им более широких размеров, в превращении их в современные могучие рычаги производства. Как выполняла она эту роль, начиная с XV столетия, на трех различных исторических ступенях производства: простой кооперации, мануфактуры и крупной промышленности, — подробно изображено в IV отделе «Капитала» Маркса. Но там же показано, что, превращая ограниченные средства производ-ства в громадные современные производительные силы, буржуазия не могла не превратить их вместе с тем из частных в общественные, приводимые в действие лишь усилиями многих людей. Вместо самопрялки, ручного ткацкого станка, кузнечного молота появились прядильные машины, механический ткацкий станок, паровой молот; вместо маленьких мастерских — громадные фабрики, требующие соединенного труда сотен и тысяч рабочих. Подобно средствам производства, и само производство превратилось из ряда разрозненных усилий единиц в ряд общественных действий, а продукты из произведения отдельного лица — в произведения всего общества. Пряжи, ткани, металлические товары, выходящие теперь из фабрик и заводов, представляют собою продукт труда множества рабочих, которые поочередно прилагали к ним свои усилия, прежде чем придали им окончательную форму. Никто в отдельности не может сказать о них: «это сделал я, это мой продукт».

Но в обществе, производство которого основано на естественно выросшем, постепенно развившемся без всякого плана разделении труда, продукты неизбежно принимают форму товаров, обмен которых, купля и продажа, дает отдельным производителям возможность удовлетворять свои разнообразные потребности. Так и было в средние века. Крестьянин, например, продавал ремесленнику земледельческие продукты и покупал у него ремесленные произведения. В это-то общество разъединенных товаропроизводителей вклинился новый способ производства. Среди естественно выросшего, без всякого плана сложившегося разделения труда между членами всего общества возникло разделение труда на фабриках, организованное по обдуманному плану; рядом с индивидуальным производством появилось общественное производство.

Продукты того и другого продавались на одних и тех же рынках, а следовательно, по ценам, по крайней мере, приблизительно равным. Но организация, созданная по обдуманному плану, была могущественнее естественно выросшего разделения труда; продукты общественного фабричного труда стоили дешевле продуктов мелких, разъединенных производителей. Индивидуальное производство терпело одно поражение за другим, общественное производство революционизировало, наконец, весь старый способ производства. Революционный характер его, однако, так мало сознавался, что оно вводилось именно ради усиления и поощрения товарного производства. Оно возникло в непосредственной связи с известными, уже раньше его существовавшими двигателями товарного производства: торговым капиталом, ремеслами и наемным трудом. Выступая лишь в виде новой формы товарного производства, оно оставляло в полной силе свойственные этому производству формы присвоения.

При средневековом производстве товаров вопрос о том, кому должны принадлежать продукты труда, не мог даже и возникнуть. Они выделывались каждым отдельным производителем из собственного материала, часто им же самим произведенного, собственными орудиями и собственными руками или руками семьи. Такому производителю незачем было присваивать себе свои продукты, они принадлежали ему по самому существу дела. Следовательно, право собственности на продукты основывалось на личном труде. Даже там, где посторонняя помощь имела место в производстве, она в большинстве случаев играла лишь второстепенную роль и вознаграждалась не одною лишь заработною платой: цеховой ученик и подмастерье работали не столько ради платы или содержания, сколько ради собственного обучения и подготовки к званию самостоятельного мастера. Но вот началась концентрация средств производства в больших мастерских и мануфактурах, превращение их на деле в общественные средства производства. И с этими общественными средствами и продуктами продолжали поступать так, как будто они попрежнему оставались средствами производства и продуктами труда отдельных лиц. Если до сих пор производитель, бывший одновременно и собственником орудий труда, присваивал себе свой продукт, в котором чужой труд участвовал лишь в виде исключения, то теперь собственник орудий труда продолжал присваивать себе продукты, хотя они производились уже не его, а исключительно чужим трудом. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто работал с помощью его орудий и был настоящим производителем его продуктов, а капиталистами. Средства производства и само производство по существу своему стали общественными; но они были подчинены форме присвоения, основанной на частном единичном производстве, свойственном тому времени, когда каждый владел своим собственным продуктом и сам выносил его на рынок. Новая форма производства подчинилась старой форме при-своения, несмотря на то, что она совершенно разрушила ее основы.

Это противоречие, сообщившее новому способу производства его капиталистический характер, заключало в себе зародыши всех современных противоречий. И чем полнее становилось господство нового способа производства во всех наиболее значительных отраслях труда, во всех наиболее влиятельных в экономическом отношении странах, чем дальше оттеснял он незначительные остатки единичного производства, тем резче должна была выступать несовместимость общественного производства с капиталистическим присвоением.

Первые капиталисты застали, как мы видели, форму наемного труда уже готовою. Но наемный труд существовал лишь в виде исключения, побочного занятия, переходного положения для рабочего. Земледелец, нанимавшийся по временам на поденную работу, имел свой собственный клочок земли, продуктами которого он мог жить в случае крайности. Цеховые уставы заботились о том, чтобы сегодняшний подмастерье завтра становился мастером. Но все изменилось, лишь только средства производства приобрели общественный характер и сконцентрировались в руках капиталистов. Средства производства и продукты единичных производителей все более и более обесценивались, и их владельцам не оставалось ничего иного, как наниматься к капиталистам. Наемный труд, существовавший раньше в виде исключения и подсобного промысла, стал общим правилом, основою всего производства; из побочного он превратился в единственное занятие рабочих. Временный наемный рабочий превратился в пожизненного. Масса наемных рабочих чрезвычайно увеличилась благодаря одновременному разрушению феодального порядка, роспуску свит феодалов, изгнанию крестьян из их усадеб и пр. Совершился полный разрыв между средствами производства, сконцентрированными в руках капиталистов, и производителями, лишенными всего, кроме рабочей силы. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением проявилось в антагонизме между пролетариатом и буржуазией.

Мы видели, что капиталистическое производство вклинилось в общество, состоявшее из отдельных товаропроизводителей, связанных между собою лишь посредством обмена своих продуктов. Но особенность каждого общества, основанного на производстве товаров, заключается в том, что в нем производители теряют власть над своими собственными общественными сношениями. Каждый производит сам по себе, сколько позволяют случайно имеющиеся в его распоряжении средства производства, для удовлетворения своих потребностей при посредстве обмена. Никто не знает, сколько появится на рынке того продукта, который он производит, и в каком количестве он может найти потребителей; никто не знает, найдет ли потребителя его товар, окупит ли он издержки производства да и, вообще, будет ли он продан. В общественном производстве господствует анархия. Но товарное производство, как и всякая другая форма производства, имеет свои, присущие ему и неотделимые от чего законы, которые проявляются, несмотря на анархию, в анархии и посредством анархии. Эти законы проявляются в единственно сохранившейся форме общественной связи — в обмене, и подчиняют себе производителей как принудительные законы конкуренции. Они не известны вначале самим производителям и открываются ими лишь постепенно, путем долгого опыта. Следовательно, они действуют без участия производителей и против них столь же неотразимо и слепо, как законы природы. Продукт господствует над производителем.

В первые столетия средних веков производство было рассчитано главным образом на собственное потребление. Оно удовлетворяло прежде всего потребности самого производителя и его семьи. Там же, где, как в земледелии, существовала личная зависимость, производство удовлетворяло также потребности феодального господина. Следовательно, здесь не существовало обмена, и продукты не принимали характера товара. Крестьянская семья сама производила все, для нее нужное: орудия и одежду, так же как и пищу. Производить на продажу она начинала только тогда, когда у нее оставался излишек от собственного потребления, и после уплаты натуральных повинностей господину; этот пущенный в обмен излишек становился товаром. Городские ремесленники должны были,. конечно, с самого начала производить для обмена. Но и они производили большую часть нужных им предметов; они имели сады и небольшие поля, пасли свой скот в общинном лесу, который, кроме того, доставлял им строительный материал и топливо; женщины пряли лен и шерсть и т. д. Производство с целью обмена,— производство товаров,—еще только возникало. Отсюда — ограниченность обмена, ограниченность рынков, устойчивость форм производства, местная замкнутость от внешнего мира, местная связь производителей,—марка, т. е. поземельная община, в деревнях, цехи в городах.

Но с расширением производства для сбыта и именно с выступлением на историческую сцену капитализма, законы товарного производства, до тех пор как бы погруженные в дремоту, стали действовать с большей силой и ясностью. Старые связи были разру- шены, старые рамки разбиты, и производители все более и более обращались в разъединенных и независимых товаропроизводителей. Анархия общественного производства выступила наружу и принимала все бОльшие и бОльшие размеры. А между тем главнейшее орудие, с помощью которого капитализм усиливал анархию в общественном производстве, представляло собою прямую противоположность анархии: оно состояло в усилении общественной организации производства в каждом отдельном промышленном предприятии. С помощью этого рычага капиталистический способ производства покончил со старым мирным застоем. Проникая в данную отрасль промышленности, он изгонял из нее старые методы производства. Становясь господствующим в данной сфере ремесла, он уничтожал старый характер этого ремесла. Поле труда стало полем сражения. Великие географические открытия и последовавшая за ними колонизация умножили места сбыта и

ускорили превращение ремесла в мануфактуру. Борьба не ограничивалась уже местными, единичными производителями; соперничество отдельных местностей разрослось, в свою очередь, до размеров национальной борьбы, до торговых войн XVII и XVIII столетий. Наконец, крупная промышленность и всемирный рынок сделали эту борьбу всемирной и в то же время придали ей неслыханную напряженность. От обладания естественными или искусственно созданными выгодными условиями производства зависит теперь существование не только отдельных капиталистов, но и целых отраслей промышленности и даже целых стран. Побежденные безжалостно устраняются. Это — дарвиновская борьба за существование отдельных особей, возведенная в степень и перенесенная из царства природы в человеческое общество. Естественное состояние животных представляется венцом человеческого развития. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением выступает наружу как противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе.

В этих двух формах проявления того противоречия, которое имманентно ему в силу его происхождения, безвыходно движется капиталистическое производство, описывая «заколдованный круг», указанный еще Фурье. Но во времена Фурье, во всяком случае, невозможно было еще видеть, что этот круг постоянно суживается, что движение производства идет по спирали и, подобно движению планет, должно закончиться столкновением с центром. Неумолимая сила общественной анархии производства превращает постоянно возрастающее большинство человечества в пролетариев, а пролетариат, в свою очередь, положит конец анархии производства. Та же неумолимая сила социальной анархии производства превращает возможность бесконечного усовершенствования машин, служащих крупной промышленности, в безусловную обязанность для каждого отдельного капиталиста беспрерывно совершенствовать свои машины под страхом разорения. Но совершенствовать машины значит делать излишним человеческий труд. Если введение и распространение машин означало вытеснение миллионов работников ручного труда немногими рабочими при машинах, то усовершенствование машин означает все более и более сильное вытеснение самих рабочих при машинах и образование усиленного предложения рабочих рук, превышающее средний спрос на них со стороны капитала. Масса незанятых рабочих образует промышленную резервную армию, как я назвал ее еще в 1845 г., являющуюся к услугам производства, когда оно работает на всех парах, и выбрасываемую на мостовую крахом, неизбежно следующим за каждым оживлением. Эта армия, постоянно висящая свинцовой гирей на ногах рабочего класса в борьбе за существование между ним и капиталом, служит регулятором рабочей платы, постоянно удерживая ее на низком уровне, соответственно потребностям капиталистов. Таким образом выходит, что машина, говоря словами Маркса, является сильнейшим оружием капитала против рабочего класса, что орудие труда постоянно вырывает хлеб из рук трудящегося и собственный продукт рабочих превращается в средство для их порабощения. Оказывается, что сбережение в издержках производства является в то же время самой беззастенчивой растратой рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальным условиям труда; что машина, это сильнейшее средство сокращения рабочего времени, превращается в самое верное средство обращения всей жизни рабочего и его семьи в рабочее время, всегда готовое к услугам капитала. Оказывается, что чрезмерный труд одной части рабочего класса обусловливает полную безработицу другой его части, что крупная промышленность, по всему свету гоняющаяся за потребителями, доводит у себя дома потребление рабочих масс до ничтожного минимума и таким образом подрывает свой собственный рынок. «Закон, по которому относительное перенаселение или резервная промышленная армия постоянно находится в равновесии с размером и силою накопления,—этот закон приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал Прометея к скале.

Он обусловливает соответствующее накоплению богатства на одном полюсе накопление нищеты, изнурения, рабства, невежества, огрубения и нравственного вырождения на противоположном полюсе, т. е. в среде того класса, продукт труда которого становится капиталом» (Marx, Kapital, p. 671). Требовать от капиталистического способа производства другого распределения продуктов было бы столь же основательно, как требовать, чтобы электроды батареи, оставаясь в соединении с нею, перестали разлагать воду и собирать на положительном полюсе кислород, а на отрицательном — водород.

Мы видели, как способность к усовершенствованию, доведенная современными машинами до высочайшей степени, превратилась, вследствие анархии общественного производства, в неумолимый закон, принуждающий отдельных капиталистов-промышленников постоянно улучшать свои машины и увеличивать их производительную силу. В такой же принудительный закон превращается для них и простая фактическая возможность расширять размеры своего производства. Громадная способность крупной промышленности к расширению, перед которой расширяемость газов оказывается детской игрушкой, проявляется теперь в виде потребности расширять ее и качественно и количественно, несмотря на все препятствия. Эти препятствия создаются условиями потребления, сбыта, рынков для продуктов крупной промышленности. Способность рынков как к экстенсивному, так и к интенсивному расширению определяется совсем иными законами, действующими с гораздо меньшей энергией. Расширение рынков не может итти в уровень с расширением производства. Отсюда столкновение, неизбежное, пока существует капиталистическое производство, а потому повторяющееся периодически. Капиталистическое производство попадает в новый «заколдованный круг».

И действительно, начиная с 1825 г., когда разразился первый общий кризис, весь промышленный и торговый мир, производство и обмен всех цивилизованных народов, равно как и их более или менее варварских соседей, приблизительно раз в десять лет сходят с рельсов. Торговля останавливается, рынки переполняются массой не находящих сбыта продуктов, наличные деньги исчезают из обращения, кредит уничтожается, фабрики останавливаются, рабочие лишаются всяких средств к существованию именно по той причине, что они произвели эти средства в слишком большом количестве; банкротства следуют за банкротствами, аукцион сменяется аукцноном. Застой длится целые годы, массы производительных сил и продуктов уничтожаются и расточаются, пока накопившиеся товары не разойдутся, наконец, по более или менее пониженной цене и не возобновится движение производства и обмена. Мало-по-малу движение это ускоряется, шаг сменяется рысью, промышленная рысь пе-реходит в галоп, уступающий свое место безумному карьеру, настоящей скачке с препятствиями промышленности, торговли, кредита и спекуляции, чтобы, после отчаянных скачков, снова свалиться в ров краха. И так каждый раз сначала. С 1825 г. мы уже пять раз пережили этот круговорот и теперь (в 1877 г.) переживаем его в шестой. Характер этих кризисов до такой степени очевиден, что Фурье определил их все разом, назвавши первый из них кризисом от излишка, crise plethorique.

Во время кризисов противоречие между общественным произ- водством и капиталистическим присвоением переходит в жесточай- шее столкновение двух враждебных сил. Обращение товаров на время прекращается: деньги из орудия обращения становятся его пре-пятствием; все законы производства и обращения товаров действуют навыворот. Экономические противоречия доходят до своего апогея, — способ производства восстает против способа обмена.

Тот несомненный факт, что общественная организация производства внутри фабрик достигла такой степени развития, на которой она становится несовместимой с

существующей рядом с нею и над нею анархией производства в обществе, — этот факт становится осязательным для самих капиталистов благодаря совершающейся во время кризисов насильственной концентрации капиталов путем разорения многих крупных и несравненно большего числа мелких капиталистов. Весь механизм капиталистического производства над- ламывается под тяжестью им же созданных производительных сил. Он может уже превращать в капитал всю массу производительных средств: они остаются без употребления, а потому должна бездействовать и резервная армия рабочих. Средства производства, жизненные припасы, рабочие руки, все элементы производства и общего благосостояния находятся в избытке. Но, как говорит Фурье, этот «избыток становится источником нужды и лишений», потому что именно он-то и препятствует превращению в капитал средств производства и потребления, ибо в капиталистическом обществе средства производства не могут функционировать иначе, как превратившись в капитал, т. е. в орудие эксплоатации человеческой рабочей силы. Как привидение, стоит между рабочими и средствами производства и потребления необходимость превращения этих средств производства в капитал. Она одна препятствует соединению вещественных и личных двигателей производства; она одна мешает средствам производства превращаться в продукты, а рабочим жить и трудиться. Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ производства сам обнаруживает свою неспособность к дальнейшему управлению производительными силами, с другой стороны — сами производительные силы с возрастающей силой стремятся к уничтожению этого противоречия, к освобождению себя от своих капиталистических свойств, к фактическому признанию их характера — характера общественных производительных сил.

Эта-то борьба могущественно возрастающих производительных сил против своих собственных свойств как капитала, эта-то возрастающая необходимость признания их общественной природы и принуждает самих капиталистов все чаще и чаще употреблять их в качестве общественных производительных сил, насколько это возможно при капиталистических отношениях. Как периоды промышленной горячки с их безгранично широким кредитом, так и самые крахи, разрушающие крупные капиталистические предприятия, побуждают капиталистов к усвоению тех форм обобществления больших масс производительных средств, которые мы встречаем в различного рода акционерных компаниях. Некоторые из этих средств производства и сообщения, как, например, железные дороги, по самому существу своему до того колоссальны, что не допускают никаких других форм капиталистической эксплоатации. На, известной ступени развития становится недостаточной и эта форма [: все крупные производители одной и той же отрасли промышленности данной страны объединяются в один трест, союз, с целью регулирования производства. Они определяют общую сумму производства, распределяют ее между собою и навязывают наперед установленную продажную цену. А так как эти тресты при первой заминке в торговле распадаются, то они тем самым вызывают еще большую концентрацию производства. Соответствующая отрасль промышленности превращается в одно единственное колоссальное акционерное общество, внутренняя конкуренция уступает место внутренней монополии этого общества. Так это случилось в 1890 г. с английским производством щелочей, которое после слияния всех 48 крупных фирм перешло в руки единственного, руководимого единым центром, общества с капиталом в 120 миллионов марок.

В трестах конкуренция превращается в монополию, а бесплановое производство капиталистического общества капитулирует перед плановым производством вторгающегося социалистического общества. Правда, сначала только в пользу и к выгоде капиталистов. Но в новой своей форме эксплоатация настолько бросается в глаза, что она должна рухнуть. Ни один народ не согласился бы долго мириться с производством,

регулируемым трестами, с неприкрытой эксплоата-цией всего общества маленькой бандой купоновладельцев.

Так или иначе, с трестами или без трестов, и тогда государство, как официальный представитель капиталистического общества, оказывается вынужденным 1 взять на себя ведение производства. Эта необходимость превращения в государственную собственность наступает прежде всего для крупных средств сообщения: почты, телеграфа и железных дорог.

Если кризисы показали неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то переход крупных производительных предприятий и средств сообщения в руки акционерных компаний, трестов и государства доказывает ее ненужность. Наемные агенты исполняют теперь все общественные функции капиталистов. Для самих капиталистов не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, обрезывания купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Капиталистический способ производства, вытеснявший сперва рабочих, вытесняет теперь и самих капиталистов, правда, пока еще не в резервную армию промышленности, а только в разряд излишнего населения.

Но ни переход в руки акционерных компаний, ни превращение в государственную собственность не отнимают, однако, у производительных сил их капиталистических свойств.

Относительно акционерных компаний и трестов это очевидно. Что же касается современного государства, то оно есть не что иное, как организация, которую создает буржуазное общество для охранения общих, внешних условий капиталистического производства от посягательства как рабочих, так и отдельных капиталистов. Какие бы формы ни принимало современное государство, оно остается механизмом чисто капиталистическим, государством капиталистов, идеальным совокупным капиталистом. Чем больше производительных сил захватит оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплоатировать. Рабочие останутся наемными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не устранятся, а еще более обострятся. Но это обострение будет последним шагом их раз- вития. Превращение производительных сил в государственную соб- ственность не разрешает противоречий капитализма, но оно заклю- чает в себе формальное средство, возможность их разрешения.

Это разрешение может состоять лишь в фактическом признании общественной природы современных производительных сил, следовательно, в приведении способов производства, присвоения и обмена в соответствие с общественным характером средств производства. А этого можно достигнуть только прямым и открытым переходом в общественную собственность производительных сил, переросших всякий другой способ применения их к делу. Общественный характер средств производства и его продуктов, проявляющийся теперь с разрушительной силой слепого закона природы, обрушивающийся против самих производителей, периодически нарушающий ход производства и обмена, будет тогда сознательно проведен в жизнь производителями и превратится из причины неурядицы и периодических катастроф в сильнейший рычаг производства.

Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно и разрушительно, пока мы не понимаем их и не считаемся с ними. Но раз мы узнали их, изучили их действие, направление и влияние, от нас самих зависит все более и более

подчинять их нашей воле и через них достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понять их природу и характер, — а этому пониманию противятся капиталистический способ производства и его защитники, — до тех пор производительные силы действуют помимо нас и против нас, до тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз их природа будет понята, они могут превратиться в руках соединившихся производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушительной силой, производящей молнию, и электричеством, покорно действующим в телеграфном аппарате или лампе, между пожаром и огнем, служащим на пользу человека. Когда с современными производительными силами станут обращаться сообразно с их узнанной, наконец, природой, общественная анархия в производстве заменится общественным производством, организованным по плану, рассчитанному на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его члена. Тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт порабощает сперва производителя, а затем и самого присвоителя, уступит место новому способу присвоения, основанному на самой природе современных средств производства: с одной стороны, прямому общественному присвоению продуктов, в качестве средств для поддержания и расширения производства, а с другой — прямому индивидуальному присвоению их, в качестве средств существования и наслаждения.

Превращая постоянно возрастающее большинство населения в пролетариев, капиталистический способ производства создает силу, которая, под страхом собственной гибели, должна совершить этот переворот. Все более и более толкая крупные обобществленные средства производства на путь перехода в государственную собственность, капитализм сам указывает путь к совершению этого переворота. Пролетариат овладевает государственною властью и превращает средства производства сперва в государственную собственность. Но тем самым он прекращает свое существование как пролетариата, уничтожает различие классов и их антагонизм, а также само государство как государство. Классовый антагонизм, лежащий в основании до сих пор существовавших обществ, вызывал необходи- мость государства, т. е. организации данного класса эксплоататоров, для охранения общих условий производства, следовательно и для насильственного удержания эксплоатируемого класса на той ступени подчинения, которая требовалась данным способом производства (в рабстве, крепостном состоянии или в положении наемных рабочих). Государство было официальным представителем всего общества, оно объединяло его в одной видимой организации, но оно исполняло эту роль лишь постольку, поскольку было государством того класса, который сам являлся представителем всего современного ему общества: в древности— государством граждан-рабовладельцев; в средние века—феодального дворянства; в наше время— буржуазии. Сделавшись, наконец, действительным представителем всего общества, оно станет излишним.

Когда не будет общественных классов, которые нужно держать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной анархии производства, когда будут устранены вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества, — обращение средств производства в общественную собственность, — будет его последним самостоятельным действием в качестве государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения станет мало-по-малу излишним и прекратится само собою. На место управления лицами становится управление вещами и руководство

производственными процессами. Государство не «отменяется», оно отмирает. Отсюда можно видеть, какой смысл имеет фраза: «свободное народное государство», пригодная для временных агитационных целей, но неудовлетворительная в научном отношении; отсюда же можно судить о требованиях так называемых анархистов относительно уничтожения государства чуть ли не в 24 часа.

С тех пор как на сцену истории выступило капиталистическое производство, переход всех производительных средств в собственность всего общества часто являлся в виде более или менее неясного идеала будущего как отдельным личностям, так и целым сектам. Но возможным и исторически необходимым он стал лишь тогда, когда явились материальные условия его осуществления. Как и всякий другой общественный прогресс, такой переход становится возможным не потому, что понято противоречие между существованием классов и идеей справедливости, равенства и т. п., не вследствие простого желания уничтожить классы, а лишь при наличности известных новых экономических условий. Разделение общества на классы, эксплоатирующие и эксплоатируемые, господствующие и угнетенные, было неизбежным следствием прежнего недостаточного развития производства. Пока совокупность результатов общественного труда едва превышает самые необходимые средства существования, пока труд отнимает все или почти все время громадного большинства общества, до тех пор оно неизбежно делится на классы. Рядом с огромным большинством, исключительно занятым физической работой, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда и заведующий общественными делами: руководством в работе, государственным управлением, правосудием, науками, искусствами и т. д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь не исключало значительного участия насилия, хищничества, обмана и хитрости в образовании классов; а раз господствующий класс упрочил свое положение, он никогда уже не упустит случая усиливать свою власть за счет трудящихся классов и превращать управление общественными делами в усиленную эксплоатацию масс.

Но если разделение на классы и имело известное историческое оправдание, то оно имело его лишь для данного периода и при данных общественных условиях. Оно коренилось в слабости производства и будет сметено полным развитием современных производительных сил. И действительно, уничтожение общественных классов предполагает достижение той ступени исторического развития, на которой является анахронизмом не только господство того или другого определенного класса, но и вообще всякое классовое господство, а следовательно, и самое разделение на классы. Следовательно, уничтожение классов предполагает такую высокую ступень развития производства, на которой присвоение особым общественным классом средств производства и продуктов, — а с ними и политического господства, монополии образования и умственного главенства, — не только становится излишним, но и является препятствием экономическому, политическому и умственному развитию. Эта ступень теперь достигнута. Политическое и умственное банкротство буржуазии едва ли составляет тайну даже для нее самой, а ее экономическое банкротство повторяется аккуратно каждые 10 лет. При каждом кризисе общество задыхается под тяжестью своих собственных производительных сил и продуктов, которых оно не может употреблять в дело, и остается беспомощным перед бессмысленным противоречием, лишающим производителей возможности потреблять именно потому, что на продукты нет потребителей. В своем могучем росте средства производства разрывают узы, наложенные капитализмом. Освобождение от этих уз есть единственное предварительное условие беспрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому — и практически безграничного увеличения самого производства.

Но это еще не все. Обращение средств производства в общественную собственность устранит не только нынешние искусственные препятствия правильному его ходу, но также неизбежную теперь положительную растрату и порчу производительных сил и продуктов, достигающую высших размеров во время кризисов; сверх того, оно сбережет для общества массу производительных средств и продуктов путем устранения безумной роскоши господствующих теперь классов и их политических представителей. Возможность — путем общественного производства — обеспечить всем членам общества вполне достаточные и с каждым днем увеличивающиеся материальные условия существования, а также полное развитие и упражнение их физических и умственных способностей — эта возможность достигнута теперь впервые, но она действительно достигнута.

С переходом средств производства в общественную собственность устраняется товарное производство, а вместе с тем господство продуктов над производителями. Анархия общественного производства заменится организацией его по заранее обдуманному плану. Прекратится борьба отдельных личностей за существование. Можно сказать, что таким образом человек окончательно выделится из царства животных и из животных условий существования перейдет в условия действительно человеческие. Жизненные условия, окружающие человечество и до сих пор над ним господствовавшие, попадут под власть и контроль людей, которые впервые станут действительными и сознательными повелителями природы, и именно в той мере, в какой они станут господами своих собственных общественных отношений. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут тогда вполне сознательно применяться ими и, следовательно, подчиняться их господству. Общественный строй, до сих пор являющийся людям как бы дарованным свыше природой и историей, будет тогда их собственным, свободным делом. Объективные, внешние силы, господствовавшие над историей, поступят под контроль человека. И только тогда люди начнут вполне сознательно сами создавать свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в значительной и все возрастающей степени желаемые действия. И это будет скачком человечества из царства необходимости в царство свободы.

[В заключение резюмируем весь ход изложенного нами развития.

I. Средневековое общество.

Мелкое единичное производство. Средства производства, предназначенные для единичного употребления и потому, естественно, неуклюжие, мелкие, с ничтожным действием. Производство с целью непосредственного потребления продуктов, самим ли производителем или его феодальным господином. Лишь там, где оказывался излишек производства над непосредственным потреблением, излишек этот поступал в продажу и подвергался обмену; следовательно, товарное производство находилось в зачаточном состоянии; но уже и тогда заключало в себе зародыш анархии общественного производства.

II. Капиталистическая революция.

Переворот в промышленности, совершившийся сначала посредством простой кооперации и мануфактуры. Сосредоточение разобщенных до тех пор средств производства в больших мастерских и превращение их этим путем из производительных средств отдельных лиц в общественные, превращение, вообще говоря, не коснувшееся способа присвоения. Старые формы присвоения остаются в полной силе. Появление капиталиста:

в качестве собственника производительных средств он присваивает себе также и продукты и обращает их в товары. Производство становится общественным делом; обмен же, а с ним и присвоение продуктов, остается индивидуальным актом, делом единиц. Продукт общественного труда присваивается отдельным капиталистом. Это и составляет основное противоречие, заключающее в себе все те противоречия, в которых движется современное общество и которые с особенной ясностью обнаруживаются крупной промышленностью:

а) Отделение производителя от средств производства. Обречение рабочего на пожизненный наемный труд. Противоположность между пролетариатом и буржуазией.

б) Возрастающее обнаружение и усиливающееся действие законов, господствующих над товарным производством. Безудержная конкуренция. Противоречие между общественной организацией на каждой отдельной фабрике и общественной анархией в общем ходе производства.

в) С одной стороны — усовершенствование машин, обратившееся благодаря конкуренции в принудительный закон для каждого отдельного фабриканта и равносильное постоянно усиливающемуся вытеснению с фабрик рабочих: возникновению резервной армии промышленности. С другой стороны — беспредельное расширение производства, также обратившееся в принудительный закон конкуренции для каждого фабриканта. С обеих сторон — неслыханное развитие производительных сил, превышение предложения над спросом, перепроизводство, переполнение рынков, кризисы, повторяющиеся каждые десять лет, заколдованный круг: в одном месте излишек средств производства и продуктов, в другом — излишек рабочих без занятий и без средств существования. Оба эти двигателя производства и общественного благосостояния не могут соединиться, потому что капиталистическая форма производства не позволяет про-изводительным силам действовать, а продуктам двигаться, иначе как под условием предварительного обращения их в капитал, чему именно и препятствует их излишек. Это противоречие возрастает до бессмыслицы: способ производства восстает против формы обмена. Буржуазия уличается, таким образом, в неспособности к дальнейшему управлению своими собственными общественными производительными силами.

г) Частичное признание общественного характера производительных сил, к которому принуждаются сами капиталисты. Обращение больших производительных организмов и средств сообщения—сперва в собственность акционерных компаний, позже трестов, а затем и государства. Буржуазия оказывается излишним классом; все ее общественные функции исполняются теперь наемными агентами.

III. Революция пролетариата.

Разрешение противоречия: пролетариат овладевает общественною властью и обращает с помощью этой власти отнятые у буржуазии общественные средства производства в общественную собственность. Этим он освобождает производительные силы от их современного капиталистического свойства и дает полную свободу развития их общественному характеру. Таким образом становится возможным общественное производство по заранее обдуманному плану. Развитие производства делает анахронизмом существование различных классов. В той же мере, в какой исчезает анархия общественного производства, ослабевает политическая власть государства. Люди, ставшие, наконец, господами своих общественных отношений, становятся, вследствие этого, господами природы и самих себя, т. е. достигают свободы.]

Совершение этого освободительного дела составляет историческое призвание современного пролетариата. Исследовать исторические условия и самое природу этого переворота и таким образом выяснить призванному к его совершению, теперь угнетенному классу значение его собственного дела — такова задача научного социализма, который является теоретическим выражением рабочего движения.

III. ПРОИЗВОДСТВО.

Приняв во внимание все предыдущее, читатель нисколько не удивится, что изложенные в последней главе основные черты со- циализма отнюдь не приходятся по вкусу г. Дюрингу. Наоборот. Он должен отвергнуть их как превратное толкование, наравне с остальными «ублюдками исторической и логической фантастики», «пустыми концепциями», «путаными и туманными представлениями» и т. д. Для него социализм вовсе не является необходимым результатом исторического развития и еще менее результатом грубо материальных, коренящихся на интересах желудка экономических условий современности. У него дело поставлено более основательно. Его социализм является конечной истиной в последней инстанции, представляет «естественную систему общества», коренится во «всеобщем принципе справедливости», и если г. Дюринг все-таки вынужден считаться с условиями, созданными предыдущей грешной историей и современным положением вещей, чтобы улучшить последнее, то это прежде всего следует считать несчастьем для чистого принципа справедливости. Г-н Дюринг создает свой социализм, как и все прочее, прибегая к немощи пресловутых двух субъектов. Стоит только этим двум марионеткам, вместо того чтобы играть, как до сих пор, роли господина и слуги, провозгласить со сцены, для разнообразия, уравнение в правах,—и дюрингов социализм уже осуществлен в своей основе.

Поэтому само собой разумеется, что для Дюринга периодически повторяющиеся промышленные кризисы совсем не имеют того исторического значения, какое мы должны были признать за ними. Для него кризисы являются лишь случайными нарушениями «нормального хода вещей» и служат самое большее побудительным толчком к «развитию планомерно управляемого строя». «Обычный способ» объяснения кризисов перепроизводством совсем недостаточен для его «более точного понимания». Впрочем, такое объяснение, «пожалуй, применимо к частным кризисам в отдельных областях». Таков, например, случай «переполнения книжного рынка изданиями сочинений, внезапно перепечатанных в большом количестве и годных для массового сбыта». Г-н Дюринг может, во всяком случае, спокойно спать с отрадным сознанием того, что его бессмертные творения никогда не породят такого мирового несчастия. По его мнению, при больших кризисах «пропасть между запасами товаров и их сбытом делается все глубже и опаснее» не благодаря перепроизводству, а «благодаря отставанию народного потребления... благодаря искус-ственно созданному недопотреблению... благодаря преградам, по-лагаемым естественному росту народной потребности (!)».

Но, к несчастию, недопотребление масс, ограничение их потребления необходимым для поддержания жизни и для размножения — отнюдь не новое явление. Оно существует с тех пор, как появились эксплоатирующие и эксплоатируемые классы. Даже в те исторические моменты, когда положение масс было особенно благоприятно, например в Англии XV столетия, их потребление все-таки было крайне недостаточно, и массам было далеко до возможности располагать для удовлетворения своих потребностей сполна продуктом своего годового труда. Если, таким образом, недопотребление является существующим тысячелетия историческим фактом, а выражающаяся в кризисах всеобщая заминка в сбыте товаров, вследствие их перепроизводства, оказывается продуктом лишь последних пятидесяти лет, то нужна вся вульгарно-экономическая поверхностность г.

Дюринга, чтобы объяснять новую коллизию не новым явлением перепроизводства, а длящимся тысячелетия старым фактом недостаточного потребления. Это равносильно тому, как если б в математике изменение отношения двух величин, постоянной и переменной, объясняли не тем, что изменяется переменная, но тем, что постоянная осталась неизменной. Недостаточное потребление масс является необходимой предпосылкой всякого, покоящегося на эксплоатации, общественного строя, следовательно и капиталисти-ческого; но только капиталистический способ производства приводит к кризисам. Таким образом, хотя и правда, что недопотребление масс является одним из условий кризисов, играя в них давно признанную роль, но это нисколько не выясняет нам причин существования кризисов в настоящее время, как и того, почему их не было ранее.

Г-н Дюринг вообще имеет замечательное представление о мировом рынке. Мы видели, как он пытается объяснить происходящие в действительности частные промышленные кризисы примером воображаемого кризиса на лейпцигском книжном рынке,—бурю на море бурей в стакане воды, как и подобает настоящему немецкому книжнику. Он предполагает далее, что нынешнее капиталистическое производство должно «находить себе сбыт главным образом в кругу имущих классов»; это ему не мешает, конечно, 16 страницами ниже признать главными современными индустриями железоделательную и хлопчатобумажную, т. е. как раз такие две отрасли производства, продукты которых в ничтожно малом количестве потребляются имущими классами и преимущественно перед всеми другими предназначаются для массового потребления. О чем бы нам ни пришлось его спрашивать, мы слышим в ответ только пустую, полную противоречий болтовню о том и о сем. Возьмем, однако, пример из хлопчатобумажной промышленности. В сравнительно небольшом городе Ольдгеме, одном из дюжины занимающихся хлопчатобумажною промышленностью городов вокруг Манчестера, с населением от 50 до 100 тысяч, в этом одном городе за четыре года, с 1872 по 1875, число веретен, занятых прядением одного только 32-го номера, возросло с 21/2 до 5 миллионов, до количества, равного общей сумме веретен, находящихся в распоряжении всей вообще хлопчатобумажной промышленности целой Германии, вместе с Эльзасом. Если принять во внимание, что расширение производства в остальных отраслях и центрах хлопчатобумажной индустрии Англии и Шотландии происходит почти в таких же размерах, то нужна значительная доза «основательной» развязности для того, чтобы нынешнюю общую заминку в сбыте хлопчатобумажных пряжи и тканей объяснять недостаточным потреблением масс английского народа, а не перепроизводством английских хлопчатобумажных фабрикатов.

Но довольно. Нельзя спорить с людьми, которые настолько несведущи в политической экономии, что принимают лейпцигский книжный рынок за рынок в смысле современной индустрии. Укажем поэтому еще на то, что г. Дюринг говорит о кризисах только «как об обычной игре между чрезмерным напряжением и сменяющей его вялостью» и сообщает читателям, что чрезмерная спекуляция «проистекает не только из-за непланомерного ведения производства в частных предприятиях», но что «к причинам возникновения чрезмерного предложения следует отнести также необдуманность со стороны отдельных предпринимателей и недостаточную частную предусмотрительность». Но что же в свою очередь является «причиной возникновения» необдуманности и недостаточной предусмотрительности? Опять-таки та самая непланомерность капиталистического производства, которая обнаруживается в беспорядочном размножении частных предприятий. Переводить какой-либо экономический факт на язык нравственных упреков для выяснения причин нового явления — тоже в значительной степени является «необдуманностью».

Покончим на этом с кризисами. После того как в предыдущей главе мы разъяснили всю неизбежность их возникновения при капи- талистическом способе производства и их значение как кризисов самого способа производства, принудительно побуждающих к общественному перевороту, — после этого было бы бесполезно тратить слова против поверхностных взглядов г. Дюринга по рассматриваемому вопросу. Перейдем лучше к его положительным теориям, к его «естественной системе общества».

Эта система, построенная на «всеобщем принципе справедливости» и таким образом свободная от всякой зависимости от несносных материальных условий, проповедует федерацию хозяйственных коммун, признающих «свободу передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и нормам управления». Сама же хозяйственная коммуна является прежде всего «всеобъемлющим схематизмом, имеющим значение для истории человечества», и далеко оставляет за собой «сбивающую с пути половинчатость», например, какого-нибудь Маркса. Она означает «совокупность лиц, связанных между собой совместной деятельностью и совместным участием в доходе от предоставленных в их распоряжение публичным правом известного пространства земли и группы производительных учреждений». Публичное право есть «право на вещь... в смысле чисто публицистического отношения к природе и производственной организации». ЧтО это должно обозначать, над этим пусть поломают головы будущие юристы хозяйственной коммуны, мы же отказываемся от какой бы то ни было попытки объяснить это. Мы узнаем только то, что это право отнюдь не тождественно с «корпоративною собственностью рабочих обществ», которые не исключают взаимной конкуренции и даже эксплоатапии наемного труда. Причем мимоходом упоминается, что понятие «общинной собственности», как оно употребляется Марксом, также «по меньшей мере неясно и рискованно, так как это представление о будущем всегда кажется обозначающим не что иное, как корпоративную собственность отдельных групп рабочих». В данном случае мы снова имеем дело со столь часто употребляемой г. Дюрингом гнусной манерой подтасовки, вульгарные свойства которой (как выражается он сам) вполне достойны вульгарного слова — «омерзительные». Точно так же совершенным вымыслом, как и многие другие открытия г. Дюринга, является утверждение, что общинная собственность у Маркса «одновременно представляется индивидуальной и общественной собственностью».

Одно, во всяком случае, ясно: «публицистическое право» данной хозяйственной коммуны на ее средства производства является исключительным правом собственности, по крайней мере по отношению ко всякой другой хозяйственной коммуне, а также и по отношению к целому обществу и государству. Но оно не должно обусловливать собой «полную замкнутость от внешнего мира... ибо между различными хозяйственными коммунами предполагается свобода передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и нормам управления... подобно... нынешней принадлежности к какому-нибудь политическому телу или участию в хозяйственных делах общины». Таким образом будут существовать богатые и бедные хозяйственные коммуны, уравнивание которых будет происходить путем притока населения к богатым из бедных коммун. Следовательно, если г. Дюринг намеревается устранить конкуренцию продуктов между отдельными коммунами посредством организации национальной торговли, то он спокойно оставляет конкуренцию между производителями. Таким образом вещи поставлены вне сферы конкуренции, люди же оставлены в зависимости от нее.

Но это, впрочем, еще не все, что предлагается нам для выяснения сущности «публицистического права». Двумя страницами далее г. Дюринг объявляет нам: торговая коммуна простирается «так же далеко, как и та политически-общественная область, жители которой являются объединенным субъектом права и в качестве таковых имеют в

своем распоряжении всю землю, жилища и производственный аппарат». Итак, оказывается, следовательно, что не отдельные коммуны распоряжаются общественным имуществом и средствами производства, а вся нация. «Публичное право», «право на вещь», «публицистическое отношение к природе» и т. п., все это не только «по меньшей мере неясно и рискованно», но и самопротиворечиво. Действительно, оно,—поскольку, по крайней мере, каждая отдельная хозяйственная коммуна представляет собою субъект права, — «одновременно индивидуальная и общественная собственность», и, следовательно, этот «туманный ублюдочный образ» встречается опять-таки только у г. Дюринга.

Во всяком случае хозяйственная коммуна распоряжается своими орудиями труда в целях производства. Как же идет это производство? Если судить по словам г. Дюринга, оно идет совсем по-старому, с тою разницею, что капиталиста заменяет коммуна и что каждому члену ее предоставлен свободный выбор профессии и устанавливается равная для всех трудовая повинность.

Основой всех существовавших до сих пор способов производства было разделение труда, с одной стороны, внутри общества, с другой — внутри каждого отдельного предприятия. Как относится к нему дюрингова «социалитарная организация» (Sozialitat)?

Первым крупным общественным разделением труда было отделение города от деревни. Эта противоположность, по мнению г. Дюринга, «по природе вещей неустранима», хотя «вообще не вполне правильно представлять себе пропасть между земледелием и индустрией... незаполнимой. В действительности существует уже теперь до некоторой степени постоянное сближение между ними, которое в будущем, судя по всему, может значительно усилиться». Так, например, земледелие и сельское хозяйство включили уже в свою область две индустрии: «сначала винокурение, а потом выделку свекловичного сахара... значение же спирта в этом отношении скорее преуменьшается, чем преувеличивается». И «если б оказалось возможным, вследствие какого-нибудь открытия, преобразовать большое количество индустрии таким образом, чтобы явилась необходимость локализировать их производство в деревне и опираться непосредственно на производство местных сырых материалов», то тем самым была бы ослаблена противоположность между городом и деревней, и «была бы приобретена самая широкая основа для развития цивилизации». Сверх того, «нечто подобное может также возникнуть и другим путем. Кроме технической необходимости, все большее значение приобретают социальные потребности, и если эти последние приобретут решительное влияние на распределение человеческой деятельности, то невозможно будет более оставлять в пренебрежении такие выгоды, которые проистекают из систематической тесной связяи между работами деревни и делом технической переработки ее продуктов».

Но вот в хозяйственной коммуне возникает вопрос о социальных потребностях, и она, надо думать, поспешит воспользоваться в полной мере вышеупомянутыми преимуществами соединения земледелия и индустрии? Г-н Дюринг. конечно, не замедлит поделиться с нами с обычной полнотой своим «более точным пониманием» отношения хозяйственной коммуны к этому вопросу? Напрасное ожидание! Приведенные выше скудные, неясные, вращающиеся все время в сфере винокуренного и свеклосахарного производства и в области действия прусского права общие места представляют собою весь научный багаж г. Дюринга по вопросу о противоположности интересов города и деревни в настоящем и будущем.

Перейдем к разделению труда в отдельных отраслях промышленности. Здесь г. Дюринг уже немного «точнее». Он говорит о «личности, которая должна отдаться исключительно

одного рода деятельности». Если возникает речь о введении какой-нибудь новой отрасли производства, то вопрос заключается просто в том, возможно ли достать определенное число существ, посвятивших себя производству одной данной вещи, и также необходимое для них потребление (!). Каждая отрасль производства в «социалитарной организации» «предъявит запрос на небольшое количество населения». И в «социалитарной организации», в результате, образуются группы лиц, «отличающиеся особым образом жизни, — особые экономические породы» людей. Таким образом в сфере производства все остается более или менее по-старому. Впрочем, в существовавшем до сих пор обществе господствовало «ложное разделение труда»; но в чем заключается это ложное начало и чем оно будет заменено в хозяйственной коммуне, об этом мы узнаем лишь следующее: «что-касается самого разделения труда, то мы выше уже сказали, что вопрос можно считать решенным, как только станет приниматься во внимание наличность различных природных условий и личных способностей». Рядом со способностями будет играть роль и личная склонность: «влечение к такой деятельности, которая требует проявления больших способностей и знания, будет покоиться исключительно на склонности к соответствующему занятию и на удовольствии от упражнения этим именно и не каким другим делом». (Упражнение каким-нибудь делом!) Вместе с тем в «социалитарной организации» возникнет соревнование, и «само производство приобретет известный интерес, и бессмысленная эксплоатация, которая ценит производство лишь как средство для получения барыша, не будет более налагать свой отпечаток на все общественные отношения».

Во всяком обществе со стихийно развивающимся производством — а современное является таковым — не производители господствуют над средствами производства, но средства производства господствуют над производителями. В такого рода обществе каждый новый рычаг производства необходимо превращается в новое средство порабощения производителей средствами производства. Это относится прежде всего к тому рычагу производства, который вплоть до возникновения крупной индустрии был наиболее могущественен, — к разделению труда. Уже первое большое разделение труда, отделение города от деревни, приговорило сельское население к тысячелетиям долгого отупения, а горожан — к порабощению каждого в отдельности его детальной работой. Оно уничтожило основу духовного развития первого и физического — вторых. Если крестьянин делается собственником земли, а городской ремесленник — своих орудий производства, то земля еще в большей степени порабощает крестьянина, а ремесло — ремесленника. С разделением труда был разорван на части и сам человек. В целях развития какой-нибудь одной его деятельности были принесены в жертву все прочие его физические и духовные способности. Это измельчание человека растет одновременно с развитием разделения труда, которое достигает высшей степени в мануфактуре. Мануфактура разлагает ремесло на его отдельные операции, отводит каждую из них отдельному рабочему как его пожизненную профессию и приковывает его, таким образом, на всю жизнь к определенной детальной функции и определенному орудию труда. «Она калечит рабочего, превращает в какого-то урода, чисто оранжерейным путем вызывая в нем развитие детальных навыков и подавляя целый мир производительных склонностей и способностей... Сама личность раздробляется, превращаясь в автоматическое колесо, исполняющее одну частичную работу» (Маркс),—автоматическое колесо, которое во многих случаях достигает своего совершенства лишь путем полного физического и духовного калечения рабочего. Машинизм крупной индустрии превращает рабочего из машины в простой придаток к ней. «Пожизненная специальность работы частичным инструментом превращается в пожизненную же специальность служения частичному механизму. Машиной злоупотребляют для превращения самого ра-бочего с раннего детства в составную часть частичного механизма»

(Маркс). И не только рабочие, но также и эксплоатирующие их, прямо или косвенно, классы, благодаря разделению труда, порабощаются орудиями своей деятельности: духовно опустошенный буржуа – своим собственным капиталом и своею страстью к прибыли; юрист – своими закостеневшими правовыми воззрениями, которые господствуют над ним как самостоятельная сила; «образованные классы» вообще — своею ограниченностью и односторонностью, своей телесной и духовной близорукостью, своей искалеченностью, вызванной воспитанием, приспособленным к их специальности, и прикованностью на всю жизнь к этой специальности, хотя бы она и состояла в ничегонеделании.

Уже утописты вполне понимали пагубное действие разделения труда, видели измельчание, с одной стороны, рабочего, а с другой— самой работы, которая сводится к однообразному механическому повторению в течение всей жизни одного и того же акта. Устранения противоположности между городом и деревнею требовали и Оуэн, и Фурье, видя в нем первое основное условие для упразднения вообще старой системы разделения труда. Согласно мнению обоих, население должно распределиться по стране группами в 1600— 3000 человек; каждая группа занимает громадный дворец в центре своей территории и ведет общее хозяйство. И хотя Фурье местами говорит о городах, однако эти города состоят только из четырех или пяти, находящихся в недалеком расстоянии друг от друга, дворцов. По плану этих двух утопистов, каждый член общества занимается как земледелием, так и промышленностью. У Фурье в последней главную роль играют ремесло и мануфактура, у Оуэна, — напротив,—уже крупная промышленность, и он требует введения силы пара и машин в работы домашнего хозяйства. Но и тот, и другой особенно настаивали на том, чтобы организация земледелия и индустрии гарантировала населению возможно большее разнообразие в занятиях и, согласно с этим, они требовали, чтобы воспитание подготавливало юношество для всесторонней технической деятельности. По мнению обоих, человек должен всесторонне развиваться путем всесторонней практической деятельности, и труд должен вновь получить утраченную им, вследствие своего разделения, привлекательность, именно посредством такого разнообразия и вытекающей из него небольшой продолжительности каждого сеанса (Sitzung) отдельной работы, употребляя выражение Фурье. Оба названные утописта неизмеримо выше по своим воззрениям г. Дюринга, заимствовавшего свои взгляды у эксплоатирующих классов, согласно которым противоположность между городом и деревней неустранима по природе вещей. Ограниченность такого образа мыслей видна уже из того, что известное количество «существ» приговаривается и в будущем обществе производить всегда какой-нибудь один продукт и что, таким образом, увековечивается существование особых «экономических пород» людей, отличающихся от других своим образом жизни и ликующих по поводу того, что они вырабатывают именно эту, а не какую-нибудь другую вещь, следовательно, так глубоко опустившихся, что они радуются своему собственному порабощению и вырождению в односторонний автомат. По сравнению с «идиотом» Фурье, с его даже самыми безумно-смелыми фантазиями, и «грубым, плоским, убогим» Оуэном, с его даже самыми убогими идеями, — г. Дюринг, сам еще совершенно порабощенный разделением труда, представляется пошлым и дерзким карликом.

Овладев всеми средствами производства, чтобы общественно-планомерно распоряжаться ими, общество должно уничтожить господствовавшее до сих пор порабощение людей их собственными средствами производства. Само собою разумеется, такое самоосвобождение общества не может совершиться без того, чтобы не освободился и каждый отдельный член его. Ввиду этого старый способ производства должен быть изменен до основания, а следовательно, должно исчезнуть и старое разделение труда, угнетающее как все общество, так и каждого отдельного его члена. Вместо разделения

труда должна возникнуть такая организация производства, при которой, с одной стороны, никто не мог бы свалить на другого свою долю участия в производительном труде, как естественном условии человеческого существования, а, с другой стороны, производительный труд, вместо того чтобы быть средством порабощения, сделался бы средством освобождения, предоставляя каждой личности возможность развивать во всех направлениях и проявлять все свои способности—как физические, так и духовные. Труд, следовательно, из тяжелой обязанности должен превратиться в удовольствие.

Все это в настоящее время отнюдь не фантазия и не благочестивое пожелание. При современном развитии производительных сил достаточно уже того увеличения производства, которое дается самим фактом обобществления производительных сил, достаточно устранения присущих капитализму затруднений и помех нормальному ходу производства и бесполезного расточения продуктов и средств производства, чтобы, при всеобщем участии в работах, возможно было сократить рабочее время до минимальных размеров.

Точно так же устранение старой системы разделения труда отнюдь не является таким требованием, которое может быть достигнуто лишь за счет уменьшения производительности труда. Напротив, оно стало условием производства именно благодаря крупной промышленности. «Машинное производство уничтожает необходимость закреплять, как это было в мануфактуре, распределение разнородных групп рабочих по разнородным машинам и приурочение одних и тех же рабочих к одним и тем же постоянным функциям. Так как общий ход фабрики зависит не от рабочего, а от машины, то возможна постоянная перемена в персонале без перерыва в процессе труда... Наконец, быстрота, с которой человек в юношеском возрасте приучается работать при машине, также устраняет необходимость воспитывать такой класс рабочих, которые были бы исключительно рабочими, занятыми при машинах». Несмотря на то, что капиталистический способ применения машин продолжает дальше развивать старое разделение труда с его окостенелыми частными функциями, хотя технически это стало излишним,—само машинное производство начинает восставать против этого анахронизма. Технический базис крупной индустрии революционен. «Машинами, химическими процессами и другими способами, вместе с техническими основаниями производства, новейшая промышленность постоянно преобразует занятия работников и общественные комбинации трудового процесса. Вследствие этого она также постоянно революционизирует деление труда внутри общества и бросает массы капиталов и рабочих из одной отрасли производства в другую. Отсюда видно, что по самой природе своей крупная промышленность требует перемены работ, непостоянства функций, всесторонней подвижности рабочего... Мы уже видели, как это абсолютное противоречие... разрешается непрерывным принесением в жертву рабочего класса, безграничным расточением рабочих сил и господством общественной анархии. Это отрицательная сторона. Между тем как перемена работы является теперь только могущественным законом природы и проявляется со слепо разрушающею силою закона природы, повсюду встречающего препятствия,—сама крупная промышленность, благодаря своим собственным катастрофам, превращает перемену занятий в вопрос жизни и смерти, делая ее, — а следовательно, многосторонность рабочего, — всеобщим социальным законом, к нормальному осуществлению которого необходимо приспособить отношения. Она делает вопросом жизни и смерти устранение того безобразия, которое представляет собою нищенствующее население, содержимое в резерве для удовлетворения изменчивой потребности капитала, и замену его абсолютною пригодностью человека для всех изменяющихся требований труда; замену частичного индивидуума,—представляющего собою лишь орган для специальной общественной функции, — индивидуумом вполне

развитым, для которого различные общественные функции являются сменяющими друг друга формами деятельности». [Маркс, Капитал).

Научив нас преобразовывать, в технических целях, молекулярное движение, которое можно получить более или менее везде, в движение масс, крупная промышленность в значительной степени освободила промышленное производство от местных рамок. Сила воды была связана с местом, сила пара — свободна. Если сила воды, находящейся в деревне, неизбежно связана с нею, то сила пара отнюдь не обязательно связана с городом. Только капиталистическое применение концентрирует ее предпочтительно в городах и преобразует фабричные села в фабричные города. Но тем самым создаются условия, могущие подорвать самое производство. Первая потребность паровой машины и главная потребность почти всех отраслей производства крупной промышленности, это — наличие сравнительно чистой воды. Между тем фабричный город превращает всякую чистую воду в вонючее болото. Таким образом, поскольку концентрация в городах является основным условием капиталистического производства, постольку же каждый отдельный капиталист постоянно стремится перенести свое производство из необходимо порождаемого капитализмом большого города в сферу сельского производства. Этот процесс можно наблюдать в подробностях в текстильных округах Ланкашира и Иоркшира; капиталистическая крупная промышленность непрерывно создает там новые большие города тем, что постоянно спасается из города в деревню. То же самое и в округах металлургической промышленности, где, впрочем, те же результаты порождаются отчасти другими причинами.

Уничтожить этот новый порочный круг, это постоянно вновь возникающее противоречие современной промышленности, опять-таки возможно лишь с упразднением ее капиталистического характера. Только общество, способное гармонически приводить в движение свои производительные силы, согласно единому общему плану, в состоянии организовать их так, что будет возможно равномерно распределить крупное производство по всей стране, в полном соответствии с его собственным развитием и сохранением и развитием прочих элементов производства. Таким образом, устранение противоречия между городом и деревнею не только возможно, но оно стало просто необходимым в интересах индустриального и земледельческого производства, а также в целях общественной гигиены. Только с соединением города и деревни в одно целое возможно устранить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы, и только при этом хилые городские массы населения смогут добиться такого положения, что их отбросы, вместо того чтобы порождать между ними болезни, станут полезным материалом, содействуя успеху сельского хозяйства.

Капиталистическая промышленность уже стала относительно независимой от тесных рамок, в которых находится местное производство необходимых для нее сырых продуктов. Текстильная промышленность перерабатывает преимущественно привозное сырье. Испанская железная руда перерабатывается в Англии и Германии, испанская и южно-американская медная руда — в Англии. Каждая каменноугольная копь снабжает горючим материалом промышленные округа, находящиеся далеко за ее границами и увеличивающиеся с каждым годом в числе. На всем европейском материке паровые машины питаются английским, местами немецким и бельгийским каменным углем. Освобожденное от пут капиталистического производства, общество сможет пойти еще дальше в этом направлении. Порождая новое поколение всесторонне развитых производителей, понимающих научные основы всего промышленного производства и изучающих практически, каждый в отдельности, весь ряд отраслей производства от начала до конца, оно может создать новую производительную силу, которая с избытком покроет расход по перевозке из самых отдаленных пунктов сырья и горючих материалов.

Таким образом, уничтожение поводов к отделению города от деревни, — и с точки зрения возможности осуществления равномерного распределения крупной промышленности по всей стране, — не может представляться утопией. Цивилизация, конечно, оставила нам, в лице крупных городов, наследие, покончить с которым будет стоить много времени и усилий. Но с ним необходимо покончить, и это будет сделано, хотя бы это был очень продолжительный процесс. Независимо от гадания, какая участь постигнет германское государство, созданное прусской нацией, Бисмарк может лечь в могилу с гордой уверенностью, что его задушевное желание — гибель больших городов — наверно осуществится.

Теперь, после всего сказанного, можно уже вполне оценить по достоинству детский лепет г. Дюринга о том, как общество овладеет всей совокупностью средств производства, не уничтожая до основания старого способа производства и, прежде всего, не устраняя старого разделения труда; и о том, как предполагаемый им переворот совершится, лишь только «станут приниматься во внимание» «естественные условия и личные способности», причем, однако, как и до сих пор, целые массы человеческих существ останутся прикованными к производству какого-нибудь одного продукта, и целые «населения» будут заняты в одной отрасли производства; одним словом, по его проекту, человечество, как и до сих пор, будет состоять из известного числа различным образом искалеченных «экономических пород», каковы «тачечники» и «архитекторы»!.. Таким образом, общество в целом будет господином средств производства, каждый же отдельный его член останется рабом производства, получив только право избрать свободно род орудия, приноровленного для его порабощения... Пусть читатель приглядится к тому, как г. Дюринг считает вообще отделение города от деревни «неустранимым по природе вещей» и допускает в этом отношении лишь ничтожный паллиатив в специфически прусских отраслях производства — винокурении и приготовлении свекловичного сахара; как он ставит рассеяние промышленности по всей стране в зависимость от будущих открытий и от принуждения соединять промышленное производство непосредственно с добычей сырья, — сырья, которое, кстати, уже и теперь производится во все растущем отдалении от индустрии! — и как, наконец, он пытается прикрыть свое убожество милостивым обещанием, что социальные потребности все-таки в конце концов приведут к соединению земледелия с индустрией, даже вопреки экономическим соображениям, словно дело идет о принесении экономической жертвы!

Конечно, для того чтобы понять, что те революционные элементы, которые должны устранить старое разделение труда вместе с отделением города от деревни и преобразовать все производство, уже находятся в зародышевом состоянии в условиях производства современной крупной индустрии и встречают препятствие для своего дальнейшего развития лишь в нынешнем капиталистическом способе производства,—для того, чтобы понять это, необходимо иметь более широкие горизонты, чем сфера действия прусского земского права, где водка и свекловичный сахар считаются главнейшими продуктами индустрии и о торговых кризисах судят только по делам лейпцигского книжного рынка. Для этого нужно изучать настоящую крупную индустрию в ее историческом развитии и ее современном действительном положении, именно в той стране, которая является ее родиной и в которой она достигла своего классического развития. И в таком случае, конечно, никому не пришло бы в голову опошлить современный научный социализм и низвести его до уровня специфически прусского социализма г. Дюринга.

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

Мы уже видели выше, что дюрингова экономия сводится к положению: капиталистический способ производства вполне хорош и может оставаться непоколебленным, но капиталистический способ распределения является злом и должен быть уничтожен. Теперь же мы убедились, что дюрингова «социалитарная организация» представляет собою не что иное, как фантастическое осуществление этого положения. Действительно, не открыв никаких дефектов в способе производства капиталистического общества и желая сохранить прежнее разделение труда во всех его существенных чертах, г. Дюринг поэтому не может сказать ни одного путного слова о производстве внутри своей хозяйственной коммуны. Конечно, производство, это — область, в которой дело идет о реальных фактах, и тут нет простора для «рациональной фантазии», и полет свободного духа, встретив препятствия, легко может завершиться позорным фиаско. Напротив того, распределение, которое, по мнению г. Дюринга, не находится ни в какой связи с производством и определяется не способом производства, а актом свободной воли, — представляет удобную почву для его «социальной алхимии».

Одинаковой обязанности каждого участвовать в производстве соответствует одинаковое право на потребление, которое как в хо-зяйственной коммуне, так и в торговой коммуне, обнимающей собою некоторое число хозяйственных коммун, является основой органи-зации. Здесь «труд выменивается на другой труд» по принципу одинаковой оценки... Затрата труда и его возмещение представляют здесь действительное «равенство количеств труда». И притом, это «уравнение человеческих сил сохраняет свое значение независимо от того, сколько отдельные личности произвели продуктов, больше или меньше, и даже в том случае, когда они случайно совсем ничего не произвели»; дело в том, что можно рассматривать всякого рода деятельность, поскольку она требует затраты времени или сил, как производительный труд, — следовательно, и игру в кегли, и прогулки. Но обмен продуктами происходит не между отдельными личностями, так как община является собственницей всех средств производства, а следовательно, также и всех продуктов, — он совершается, с одной стороны, между каждою хозяйственною коммуною и ее отдельными членами, а с другой,—между различными хозяйственными и торговыми коммунами. «Именно хозяйственные коммуны заменят внутри своих собственных пределов мелкую торговлю вполне планомерным сбытом». Точно так же будет организована торговля в крупных размерах. «Система свободного хозяйственного общества... будет поэтому громадным учреждением для обмена, операции которого будут производиться при посредстве и на основе благородных металлов. Уверенность в непреодолимой необходимости такого обмена отличает нашу схему от всех тех туманных воззрений, от которых еще не освободились наиболее рациональные формы ходячих в настоящее время социалистических представлений».

В целях этого обмена хозяйственная коммуна, как первая при-своительница общественного продукта, назначает «для каждого рода предметов общую цену», согласно средним издержкам производства. «В настоящее время так называемые издержки производства... служат для определения стоимости и цены, тогда же (в «социалитарной общине») эту роль будут играть... оценки количеств потраченного труда. Эти оценки, которые, согласно принципу, признающему равные права за каждой личностью и применяемому также и в хозяйственной области, сводятся, в конечном счете, к зависимости от числа участвовавших в работе лиц, будут служить вместе с тем основанием для определения цен, соответствующих естественным отношениям производства и общественному праву оценки. Производство благородных металлов, как и в настоящее время, останется определяющим моментом для установления стоимости денег... Из этого видно, что в измененном общественном строе как для стоимостей, так и для тех отношений, в которых взаимно замещаются продукты, не только не утрачивается,

но лишь впервые правильно устанавливается принцип определения и оценки». Прославленная «абсолютная стоимость», наконец, реализуется.

Но, с другой стороны, коммуна должна будет также предоставить каждой отдельной личности возможность покупать у нее произведенные продукты, выплачивая каждому члену ежедневно, еженедельно или ежемесячно, в качестве эквивалента за его труд, определенную сумму денег, одинаковую для всех. «Поэтому, с точки зрения социальной организации, безразлично, говорить ли о том, что заработная плата должна исчезнуть, или же о том, что она должна стать исключительной формой экономических доходов». Но одинаковые заработные платы и одинаковые цены обусловливают «количественное, если не качественное равенство потребления» и тем самым экономически осуществляют «всеобщий принцип справедливости». Что же касается до определения высоты этой заработной платы будущего, то о ней г. Дюринг говорит только, что здесь, как во всех других случаях, «одинаковый труд обменивается на одинаковый труд». За шестичасовой труд будут поэтому выплачивать сумму денег, овеществляющую в себе как раз шесть рабочих часов.

Однако отнюдь не следует смешивать «всеобщий принцип справедливости» с тем грубым равнением под одно, которое так восстанавливает буржуа против всякого,—особенно, стихийного,—рабочего коммунизма. Он далеко не так неумолим, как это кажется с первого взгляда. «Принципиальное равенство прав в экономической области не исключает того, что, на-ряду с удовлетворением требований справедливости, будет иметь место добровольное выражение особой признательности и почета... Общество чтит само себя, отличая выше поднявшиеся виды деятельности тем, что наделяет их умеренным увеличением потребления». И г. Дюринг тоже чтит сам себя, когда он, соединяя голубиную невинность с змеиной муд- ростью, так трогательно заботится об умеренном увеличении потребления для всех Дюрингов будущего.

Так в социалитарной коммуне радикально устраняется капиталистический способ распределения. Ибо, «если предположить, что при наличности такого положения вещей кто-нибудь и будет иметь в своем частном распоряжении излишек средств, то он не в состоянии будет приискать для них никакого капиталистического применения. Ни отдельная личность, ни группа лиц не станут приобретать эти излишки для производства иначе, как путем обмена или покупки, но никогда не станут платить за них проценты или выплачивать прибыль». И поэтому совершенно допустимо «согласное с принципом равенства наследование имущества». Оно неизбежно, ибо «наследование в какой-нибудь форме всегда будет необходимым спутником семейного принципа». И право наследования также «не может привести к накоплению громадных состояний, так как при коммунистических порядках образование собственности не может иметь целью создание средств производства и существование исключительно в качестве рантье».

Таким образом хозяйственная коммуна вполне налажена. Посмотрим же теперь, как она ведет свое хозяйство.

Мы предполагаем, что все проекты г. Дюринга вполне осуществлены и что, между прочим, хозяйственная коммуна выплачивает каждому своему члену за его ежедневный шестичасовой труд денежную сумму, в которой воплощено также шесть часов труда, положим 12 марок. Равным образом мы предполагаем, что цены точно соответствуют стоимостям, т. е., согласно нашим предпосылкам, заключают в себе стоимость сырья, изнашивания машин и орудий труда и выплаченной заработной платы. Хозяйственная коммуна со ста работающими членами производит в таком случае ежедневно товаров стоимостью в 1 200 марок, а в год, состоящий из 300 рабочих дней, стоимость в 360 000

марок и выплачивает такую же сумму своим членам, из которых каждый делает, что ему угодно, с приходящимися на его долю 12 марками ежедневно или 3 600 марок в год. В конце года, как и через сто лет, коммуна не богаче, чем в самом начале. В течение всего этого времени она ни разу не будет в состоянии предоставить некоторый излишек потребления для г. Дюринга, если она не захочет растратить для этого фонд своих средств производства. Накопление совершенно забыто. Хуже того. Так как накопление является общественною необходимостью и сохранением денег дана удобная для него форма, то организация хозяйственной коммуны побуждает своих членов непосредственно к частному накоплению и этим самым ведет к своему собственному разрушению.

Как избежать этого противоречия в природе хозяйственной коммуны? Она могла бы найти выход в излюбленном «обложении пошлиной», в надбавке к цене, и продавать свой годовой продукт вместо 360 000 марок за 480 000. Но так как все остальные хозяйственные коммуны находятся в таком же самом положении и потому должны сделать то же, то каждая из них, при обмене с другой, должна оплачивать ровно столько «пошлин», сколько налагает она сама, и «дань», таким образом, будет целиком ложиться на ее собственных членов.

Или же коммуна решит это дело гораздо проще,—именно будет выплачивать каждому члену за шестичасовой труд менее, чем он стоит, - предположим, только эквивалент четырехчасового труда, т. е. вместо 12 марок — ежедневно только 8 марок, оставляя при этом цены товаров неизменными. В этом случае коммуна прямо и открыто сделает то, к чему в предыдущем случае замаскированно стремилась косвенным путем: она образует марксову прибавочную стоимость, в 120 000 марок ежегодно, чисто капиталистическим образом, т. е. не оплачивая по полной стоимости труд своих членов и, в то же время, продавая им по полной стоимости товары, которые они могут приобретать только у нее. Хозяйственная коммуна, таким образом, только в том случае может составить резервный фонд, если она, сняв с себя маску, выступит в качестве «облагороженной» trucksystem, покоящейся на самом широком коммунистическом основании.

Итак, одно из двух: или хозяйственная коммуна «обменивает равные количества труда на равные» и в таком случае не может накоплять фонд для поддержания и расширения производства, предоставляя это только частным лицам, или же она образует такой фонд и в таком случае не обменивает равные количества труда на равные».

Так обстоит дело с сущностью обмена в хозяйственной коммуне. Как же с формой? Обмен облегчается посредством металлических денег, и г. Дюринг немало кичится «историческим значением» такой формы обмена в коммуне. Но он не понимает, что в сношениях между коммуной и ее членами эти «деньги» отнюдь не являются деньгами и должны функционировать совсем не в этом качестве. Они служат настоящими сертификатами труда, т. е., говоря языком Маркса, их роль ограничивается тем, что они констатируют «только индивидуальное участие производителей в общей работе и их индивидуальное притязание на определенную часть совокупного продукта, назначенного для потребления», и в этой своей функции являются «столь же мало деньгами, как какой-нибудь театральный билет». Они могут поэтому быть заменены каким угодно знаком; так, например, Вейтлинг заменяет их «коммерческой книгой», в которой на одной стороне отмечаются рабочие часы, а на другой — причитающиеся за них средства жизни и наслаждения. Одним словом, в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами деньги функционируют просто как оуэновские «деньги за рабочие часы» (Arbeits-stundengeld) -- тот «призрак», на который с такою важностью сверху вниз смотрит г. Дюринг и который он сам, однако, сделал элементом хозяйства будущего. Куском ли бумаги, костяшкой ли счетов, или куском золота будет марка, обозначающая количество исполненных

«обязанностей в производстве» и приобретенных за это «прав на потребление», — все это совершенно безразлично для поставленной цели. Для других же целей не безразлично,— как это будет ниже показано.

Если, таким образом, металлические деньги уже в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами функционируют не в качестве денег, а как замаскированные трудовые марки, то еще менее они пригодны для функции денег при обмене между различными хозяйственными коммунами. Здесь, если принять предпосылки г. Дюринга, металлические деньги совершенно излишни. Прежде всего совершенно достаточно простой бухгалтерии для регулирования обмена продуктов известного количества труда на продукты равного им труда, а затем гораздо проще в этом случае взять для измерения труда время, а за единицу рабочий час, чем предварительно переводить рабочие часы на деньги. Обмен в данном случае является чисто натуральным обменом; все превышения требований легко и просто выравниваются путем перевода на другие коммуны. Но если коммуна действительно обречена на дефицит по отношению к другим коммунам, то все «существующее во вселенной золото», хотя бы оно и обладало свойством быть по самой природе своей деньгами, не в состоянии избавить эту коммуну от необходимости покрытия этого дефицита путем увеличения собственного труда, если только она не желает впасть в долговую зависимость от других коммун. Впрочем, пусть читатель все время не упускает из виду, что мы здесь отнюдь не занимаемся конструированием будущего. Мы просто, взяв в основание предположения г. Дюринга, выводим из них неумолимые логические следствия.

Итак, ни в обмене между хозяйственною коммуною и ее членами, ни в обмене между отдельными коммунами, золото, которое «по самой природе своей является деньгами», не может осуществить своей природной функции, хотя г. Дюринг и предписывает ему выполнение этой роли в «социалитарной организации». При таком положении нам приходится поставить вопрос, не предназначена ли иная роль для денег в названной организации. На этот вопрос приходится ответить утвердительно. Хотя г. Дюринг и дает каждому право на «количественно одинаковое потребление», но он не в состоянии принуждать к тому кого бы то ни было. Наоборот, он горд тем, что в его социалитарной организации каждый может делать со своими деньгами то, что он хочет. Следовательно, он не может воспрепятствовать тому, чтобы некоторые из членов коммуны делали сбережения, а другие не могли бы сводить концов с концами на свой заработок. Он делает это даже неустранимым, открыто признавая в праве наследования общую собственность семьи, откуда вытекает, далее, обязанность родителей содержать детей. Этим, несомненно, системе количественно одинакового потребления наносится весьма чувствительная брешь. Холостяк прекрасно и весело живет на свой ежедневный заработок в восемь или двенадцать марок, тогда как вдовцу с восемью несовершеннолетними детьми весьма туго приходится при таком заработке. Затем коммуна, допускающая, без дальнейших рассуждений, деньги в качестве платежного средства, тем самым открыто допускает возможность приобретения этих денег не только собственным трудом. Non olet (деньги не пахнут). Она не знает их происхождения. Но в таком случае имеются все условия для того, чтобы металлические деньги, игравшие до сих пор исключительно роль трудовой марки, могли выступить и в роли настоящих денег. Для этого нужен лишь случай; побудительными же причинами для этого должны явиться, с одной стороны, образование сокровищ, а другой — задолженность. Нуждающийся делает заем у накапливающего деньги. И эти полученные взаймы деньги, принимаемые коммуной в уплату за жизненные припасы, становятся вследствие этого снова тем, чем они являются в современном обществе, т. е. общественным воплощением человеческого труда, действительной мерой труда, всеобщим средством обращения. Против этого «законы и нормы управления» всего света так же бессильны, как против таблицы умножения или

химического состава воды. И так как накапливающий деньги в состоянии вынудить у нуждающегося уплату процентов, то вместе с функционирующими в качестве платежного средства металлическими деньгами восстановится само собою и ростовщичество.

До сих пор мы рассматривали, каковы будут последствия сохранения металлических денег лишь в сфере влияния дюринговой хозяйственной коммуны. Но вне этой сферы, в остальной, негодной части мира, экономическая жизнь будет итти по старому пути. Золото и серебро останутся, таким образом, на мировом рынке, сохраняя свойство всемирных денег, всеобщего покупательного и платежного средства, служа абсолютным общественным воплощением богатства. И это свойство благородного металла явится для отдельных членов хозяйственной коммуны новым мотивом к накоплению сокровищ, к обогащению, к ростовщичеству, мотивом свободно и независимо лавировать между коммуной и находящимся вне ее границ миром и с барышом использовать на мировом рынке накопленное богатство. Ростовщики коммун очень скоро сделаются торговцами орудий обращения, банкирами, владельцами средств обращения и всемирных денег, а затем и владельцами средств производства, хотя бы эти последние еще много лет фигурировали номинально как собственность хозяйственной и торговой коммуны; в конце же концов, эти банкиры станут и всеми признанными господами самой хозяйственной и торговой коммуны. «Социалитарная организация» г. Дюринга в самом деле весьма существенно отличается от «туманных представлений» других социалистов. Она не преследует никакой другой цели, кроме возрождения класса крупных финансистов; под их контролем и для их кошельков коммуна должна изнурять себя на работе, если вообще она когда-нибудь образуется и будет существовать. И единственным для нее средством спасения может явиться то, что собиратели сокровищ предпочтут бежать из коммуны, захватив с собою всемирные деньги.

При весьма распространенном в Германии незнакомстве со старыми социалистическими учениями, какой-нибудь невинный юноша может задать вопрос, не дали ли бы, например, трудовые марки Оуэна повода к подобному же злоупотреблению. Хотя мы здесь не намерены распространяться о значении этих трудовых марок, все же не мешает, для сравнения дюринговского «всеобъемлющего схематизма» с «грубыми, бледными и убогими идеями» Оуэна, заметить следующее. Во-первых, для такого злоупотребления трудовыми марками Оуэна необходимо их превращение в действительные деньги, между тем как г. Дюринг предполагает именно ввести действительные деньги, но в то же время хочет воспрепятствовать тому, чтобы они функционировали иначе, чем простые трудовые марки. Если, таким образом, нельзя отрицать опасности злоупотребления трудовыми марками Оуэна, то у г. Дюринга деньги с их имманентной, независимой от человеческой воли природой, конечно, с самого начала явились бы источником злоупотреблений, хотя г. Дюринг и хочет им навязать иную роль, в силу своего собственного непонимания природы денег. Во-вторых, трудовые марки являются у Оуэна лишь переходной формой к полной общности имуществ и свободному пользованию общественными ресурсами и сверх того, пожалуй, еще одним из средств уверить британскую публику в возможности осуществления коммунизма. Если, таким образом, возможные злоупотребления могут принудить оуэновское общество отменить трудовые марки, то это, несомненно, было бы шагом вперед к намеченной цели и могло бы только поднять коммуну на более высокую ступень ее развития. Наоборот, стОит в дюринговой хозяйственной уничтожить деньги, и она тотчас не только потеряет свое «историческое значение» и лишится наиболее существенной своей прелести, но и должна будет, прекратив свое существование, упасть в область тех туманных представлений, откуда извлек ее г. Дюринг, напрасно потратив на это много труда и рациональной фантазии.

Как же могли возникнуть все эти странные нелепости и заблуждения, в рамки которых ставится хозяйственная коммуна г. Дюринга? Просто благодаря туману, окутывающему в голове г. Дюринга понятия стоимости и денег и заставляющему его, в конце концов, стремиться к открытию стоимости труда. Но так как г. Дюринг отнюдь не является монополистом подобных туманных представлений в Германии, а, наоборот, имеет много конкурентов, то мы намерены «заставить себя на минуту заняться распутыванием того клубка», который он здесь напутал.

Единственная стоимость, которую знает политическая экономия, есть стоимость товаров. Что такое товары? Продукты, произведенные в обществе более или менее разъединенных частных производителей, т. е. прежде всего частные продукты. Но эти частные продукты только тогда становятся товарами, когда они производятся не для потребления самих производителей, но для потребления других, т. е. для общественного потребления; они вступают в общественное потребление путем обмена. Частные производители находятся, таким образом, в общественной связи между собой, образуют общество. Их продукты, будучи частными продуктами каждого в отдельности, являются, следовательно, в то же время, но не предумышленно и как бы против воли их также и общественными продуктами. В чем же состоит общественный характер этих частных продуктов? Очевидно, в двух свойствах: во-первых, в том, что все они удовлетворяют какой-нибудь человеческой потребности, имеют потребительную стоимость не только для своего производителя, но и для других: и, во-вторых, в том, что они, будучи продуктами отдельных видов труда, являются, одновременно с этим, продуктом простого человеческого труда вообще. Поскольку они обладают потребительною стоимостью для других, постольку они могут вообще вступить в обмен; поскольку же в них заключается человеческий труд вообще, простое применение человеческой рабочей силы, постольку они могут приравниваться в обмене, будучи равными и неравными в этом отношении друг к другу, соответственно заключающемуся в каждом из них количеству этого труда. В двух однородных частных продуктах, при неизменных общественных отношениях, может заключаться неодинаковое количество частного труда, но всегда обязательно одинаковое количество человеческого труда вообще. Неискусный кузнец может сделать пять подков в то время, в которое искусный сделает десять. Но общество не воплощает в стоимость случайную неискусность отдельной личности; оно признает человеческим трудом вообще только труд, обладающий среднею-нормальною ловкостью работника. Одна из пяти подков первого кузнеца представляет поэтому в обмене не большую стоимость, чем одна из произведенных в то же время десяти подков второго. Лишь постольку частный труд является общественно-необходимым, постольку он и заключает в себе человеческий труд вообще.

Таким образом, говоря, что товар имеет данную определенную стоимость, я говорю: 1) что он представляет собой общественно-полезный продукт; 2) что он произведен за частный счет отдельною личностью; 3) что он, будучи продуктом частного лица, в то же время, как бы без ведома и против воли производителя, является продуктом общественного труда определенного количества, устанавливаемого общественным путем в процессе обмена; 4) что это последнее количество выражается не в известном количестве часов труда, а в некотором другом товаре. Если я, таким образом, говорю, что эти часы стоят столько же, сколько этот кусок сукна, и что стоимость каждого из них равна пятидесяти маркам, то я говорю этим: в часах, в сукне и в этих деньгах воплощено одинаковое количество общественного труда. Я констатирую таким образом, что воплощенное в них общественное рабочее время общественно измерено и найдено равным. Но не прямо, абсолютно, как в других случаях, измеряют рабочее время— рабочими часами или днями и т. д., но косвенным путем, при помощи обмена, значит— относительно. Я не могу, следовательно, выразить это определенное количество рабочего

времени, воплощенного в данном товаре, прямо в рабочих часах, число которых остается мне неизвестным, но только косвенным путем, относительно, — в каком-нибудь другом товаре, который представляет одинаковое с первым количество общественного рабочего времени. Часы стоят столько же, сколько кусок сукна.

Но товарное производство и товарный обмен, принуждая обще-ство прибегать к такому косвенному пути. заставляют его, вместе с тем, стремиться к возможно большему упрощению этого процесса. Они выделяют из общей плебейской массы товаров один более благородный товар, в котором раз навсегда выражается стоимость всех других товаров,—товар, который приобретает значение непосредственного воплощения общественного труда и поэтому непосредственно и безусловно выменивается на все другие товары, — деньги производства, работа распределяется согласно обычаю и потребностям, точно так же и продукты, поскольку они тратятся непосредственно на потребление. Непосредственное общественное производство, как и прямое распределение, исключает всякий товарный обмен, а следова - тельно, и превращение продуктов в товары (по крайней мере внутри общины), а вместе с тем и превращение их в стоимости.

Коль скоро общество вступает во владение средствами производства и применяет их в непосредственно обобществленном производстве, — труд каждого отдельного лица, как бы ни был различен его специфически полезный характер, становится сам по себе и непосредственно общественным трудом. Для того чтобы определить в таком случае количество заключающегося в продукте общественного труда, не надо теперь прибегать к косвенному пути; ежедневный опыт непосредственно указывает, какое количество его необходимо в среднем. Общество может просто учесть, сколько часов труда воплощено в паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста квадратных метрах сукна известного качества. Ему не может поэтому прийти в голову выражать заключающиеся в продуктах количества труда, которые ему тогда непосредственно и абсолютно известны, еще, сверх того, посредством относительной, неопределенной и недостаточной, хотя и бывшей раньше неизбежной, как крайнее средство, мерой, — т. е. выражать их в третьем продукте, а не в их естественной, адэкватной, абсолютной мере, в рабочем времени. Это так же было бы бесполезно, как химику выражать атомные веса разных элементов косвенным путем, в их отношении к атому водорода, в том случае, если бы он умел выражать вес атомов абсолютно, в их адэкватной мере, именно в их действительном весе, в биллионных или в квадриллионных частях грамма. Общество не станет приписывать продуктам, при выше указанных условиях, какой-нибудь стоимости. Оно не будет констатировать того простого факта, что сто квадратных метров сукна потребовали для своего производства, например, тысячу часов труда, косвенным и бессмысленным способом, говоря, что это сукно обладает стоимостью в тысячу рабочих часов. Разумеется, общество должно знать, сколько труда требует каждый предмет потребления для своего производства. Оно должно будет выработать план производства, сообразуясь со средствами производства, к которым, в частности, принадлежат также и рабочие силы. Степень полезности различных предметов потребления, сопоставленных друг с другом и с необходимыми для их произведения количествами труда, определит окончательно этот план. Люди сделают тогда все очень просто, не прибегая к услугам знаменитой «стоимости».

Понятие стоимости является наиболее всеобщим и потому наиболее полным выражением экономических условий товарного производства. В понятии стоимости поэтому заключаются в зародыше не только деньги, но и все более развитые формы товарного производства и товарного обмена. В том, что стоимость есть выражение заключающегося в частных продуктах общественного труда, лежит уже возможность различения последнего от заключающегося в самом продукте частного труда. Если, таким образом,

какой-нибудь частный производитель продолжает производить старым способом, в то время как общественный способ производства прогрессирует, то невыгода становится для него весьма чувствительной. То же явление происходит, когда совокупность частных производителей какого-нибудь определенного рода товаров произведет их в количестве, превосходящем общественную потребность. Вследствие того, что стоимость каждого товара не может выразиться иначе, как в стоимости другого товара, и только в обмене на него может быть реализована, бывает возможным, что или вообще не состоится обмен товаров или же реализуется не вся стоимость данного товара. Наконец, если выступает на рынок специфический товар — рабочая сила, то его стоимость определяется, как и стоимость всякого другого товара, сообразно с общественно-необходимым для ее производства рабочим временем. В форме стоимости продуктов поэтому уже находится в зародыше вся форма капиталистического производства, противоречие между капиталистами и наемными рабочими, промышленная резервная армия и кризисы. Следовательно, желать уничтожения капиталистического способа производства при помощи восстановления «истинной стоимости», это—то же самое, что стремиться к уничтожению католицизма путем восстановления «истинного» папы или же стараться создать общество, в котором производители, наконец, станут господствовать над своими продуктами, путем последовательного проведения экономического фактора, могущего явиться наиболее действительным средством порабощения производителей продуктами их собственного труда.

Если производящее товары общество развивает присущую товарам, как таковым, форму стоимости дальше, в форму денег, то выступают наружу и различные другие, еще скрытые в стоимости, зародыши. Ближайшим и наиболее существенным результатом является всеобщее распространение товарной формы. Даже производи-вшимся до сих пор для непосредственного собственного употребления продуктам деньги навязывают товарную форму и вовлекают их в обмен. Вместе с тем, товарная форма и деньги проникают во внутреннее хозяйство объединенных непосредственно для производства общин, рвут связи общины одну за другой и превращают членов общины в группу отдельных частных производителей. Деньги прежде всего вводят, как это можно наблюдать в Индии, вместо общинной обработки земли индивидуальную культуру; потом они приводят к тому, что пахотная земля, находящаяся в общественной собственности, разбивается на отдельные участки, с периодически повторяющимися переделами, а затем и к окончательному разделу земли (например, в общинах по Мозелю; это же явление начинается и в русской общине); наконец, господство денежного хозяйства вынуждает к такому же разделу еще оставшихся общинных лесов и лугов. Какие бы другие причины, коренящиеся в развитии производства, ни содействовали этому процессу, все же деньги остаются наиболее сильным средством воздействия на общинный быт. И с тою же самой естественной необходимостью деньги — наперекор всем «законам и нормам управления»—должны будут уничтожить и дюрингову хозяйственную коммуну, если она когда-нибудь осуществится.

Мы уже видели выше («Политическая экономия», VI), что говорить о стоимости труда значит впадать в противоречие. Так как труд, при известных общественных отношениях, производит не только продукты, но и стоимость и эта стоимость измеряется трудом, то он так же мало может иметь особую стоимость, как тяжесть, в качестве таковой,—особый вес, или теплота—особую температуру. Но характерной особенностью путаных социальных представлений всех мудрецов «истинной стоимости» является утверждение, что в современном обществе рабочий получает неполную «стоимость» за свой труд и что социализм призван устранить это. В таком случае прежде всего надлежит установить, что такое стоимость труда; и это делают, пытаясь измерять труд не его адэкватной мерой — временем, но его продуктом. Рабочий должен получать «полный продукт своего труда».

Не только продукт труда, но и самый труд должен быть вымениваем непосредственно на продукт, час труда—на продукт другого часа труда. Но тут тотчас же возникает «опасное» затруднение.

Если весь продукт будет распределяться между рабочими, тогда главнейшая прогрессивная функция общества—накопление, атрофируется или будет предоставлена деятельности и произволу каждого в отдельности. Что бы ни делали отдельные личности со своими «доходами», но общество в лучшем случае останется столь же богатым или бедным, каким оно и было. Таким образом, накопленные в прошедшем средства производства централизуются в руках общества только для того, чтобы в будущем все накопленные средства производства снова рассеять по рукам отдельных личностей. Своим собственным предпосылкам наносится удар, они доводятся до чи- стого абсурда.

Живой труд, деятельная рабочая сила, должен вымениваться на продукт труда. В таком случае он — товар, такой же как и продукт, на который он должен быть выменен. А если так, то стоимость этой рабочей силы определяется не продуктом ее, но воплощенным в ней общественным трудом,—т. е. согласно современному закону заработной платы.

Но ведь этого-то как раз и не должно быть. Живой труд, рабочая сила, по их мнению, должен быть выменен на его полный продукт, т. е. он должен обмениваться не по его меновой стоимости, но по его потребительной стоимости. Таким образом выходит, что закон стоимости должен применяться ко всем другим товарам, а между тем он отвергается по отношению к рабочей силе. И эта сама себя уничтожающая путаница является квинт-эссенцией теории «стоимости труда».

«Обмен труда на труд на основании равной оценки», поскольку это выражение вообще имеет смысл, значит, что продукты равных количеств общественного труда вымениваются друг на друга. Этот закон стоимости является основным законом именно товарного про-изводства, следовательно также и высшей формы последнего — капиталистического производства. Он проявляется в современном обще- стве таким способом, каким только и могут проявляться экономические законы в обществе частных производителей, как закон, лежащий в вещах и их отношениях и не зависящий от воли или стремлений производителей, т. е. как слепо действующий естественный закон. Возводя этот закон в основной закон своей хозяйственной коммуны и желая, чтобы она проводила его с полным сознанием, г. Дюринг делает основной закон современного общества основным законом своего фантастического общества. Он хочет сохранить современное общество, но без его отрицательных сторон. Он стоит совершенно на той же почве, как и Прудон. Подобно последнему, желая устранить отрицательные явления, возникшие благодаря превращению товарного производства в капиталистическое, он полагает возможным уничтожить эти явления при помощи основного закона капиталистического производства, существование которого как раз и порождает эти отрицательные явления. Как и Прудон, он хочет заменить действительные следствия закона стоимости фантастическими.

Но как бы гордо ни выступал в рыцарский поход наш современный Дон-Кихот на своем благородном Россинанте, на «всеобщем принципе справедливости», сопровождаемый своим храбрым Санчо Панса — Абрагамом Энсом — для завоевания шлема Мамбрина — «стоимости труда», мы все-таки опасаемся, что домой он не привезет ничего иного, кроме старого, знаменитого таза цирульника.

V. ГОСУДАРСТВО. СЕМЬЯ. ВОСПИТАНИЕ.

В двух последних главах мы почти вполне исчерпали экономическое содержание «новой социалитарной формы» г. Дюринга. И если стоит еще о чем-нибудь упомянуть, так это о том, что «универсальная широта исторической точки зрения» отнюдь не помешала ему принять в соображение свои специальные интересы, помимо известного уже нам «умеренного излишка потребления». Так как старое разделение труда продолжает существовать в «социалитарной организации», то хозяйственной коммуне предстоит считаться, на-ряду с тачечниками и архитекторами, также и с литераторами по профессии, отчего и возникает вопрос, как в таком случае поступить с авторским правом. Этот вопрос занимает г. Дюринга больше, чем какой-либо иной. Всюду, например, при упоминании о Луи Блане и Прудоне, читателю попадается на глаза авторское право, которое, наконец, трактуется вдоль и поперек на протяжении девяти страниц «Курса» и счастливо спасается в тихом пристанище «социалитарной организации» под видом таинственной «оплаты труда», с умолчанием, впрочем, о том, сохранится ли в этом случае также умеренный излишек потребления или нет. Глава о положении блох в естественной системе общества была бы в такой же мере уместна и во всяком случае менее скучна, чем глава об авторском праве.

Относительно государственного строя будущего «философия» устанавливает обстоятельный регламент. В этом вопросе Руссо, хотя и «единственный значительный предшественник» г. Дюринга, заложил все же недостаточно глубокое основание: его более глубокий преемник, конечно, рассматривает этот вопрос основательнее, усердно разбавляя Руссо водою, а также заменяя его мысли безвкусной мешаниной, составленной из обрывков гегелевской философии права. «Суверенитет индивидуума» образует основу дюрин-гова государства будущего. При господстве большинства он не будет подавлен, напротив, при этом только условии он и восторжествует. Как это произойдет? Очень просто. «Если предположить соглашение каждого с каждым во всех направлениях и если эти соглашения имеют своей задачей оказание помощи при несправедливых обидах, —в таком случае, и только в таком, окажется налицо могучая сила, способная охранять от нарушений право, которое уже не будет корениться в простом насилии массы над отдельною личностью или большинства над меньшинством». С легкостью жонглера философия действительности обходит неразрешимые затруднения, и если читатель скажет, что он не стал от этого умнее, то г. Дюринг ему ответит, что нельзя так легко относиться к этому вопросу, ибо «малейшая ошибка в понимании роли общей воли повела бы к отрицанию суверенитета индивидуума, а только из этого суверенитета (!) и проистекает действительное право». Г-н Дюринг обращается с своей публикой как раз так, как она заслуживает. Он мог бы даже быть еще бесцеремоннее: студенты, слушающие курс философии действительности, наверное не обратили бы на это внимания.

Суверенитет же личности, главным образом, заключается в том, что «отдельная личность абсолютным образом подчиняется государству», но это подчинение находит себе оправдание лишь постольку, поскольку оно «действительно служит естественной справедливости». Для этой цели существуют «законодательство и судебная власть», которые «должны остаться в руках коллективности», и, на-ряду с ними, оборонительный союз, осуществляемый «в войске или исполнительном органе, предназначенном для обеспечения внутренней безопасности». Таким образом в будущем обществе будут по-старому функционировать и армия, и полиция, и жандармы. Г-н Дюринг уже не раз выказывал себя бравым пруссаком; здесь он подтверждает свое родство с тем образцовым пруссаком, который, по словам покойного министра фон-Рохова, «носит в груди своей жандарма». Но жандармы социалитарной коммуны будут не так опасны, как нынешние «фараоны». Что бы ни учиняли они над суверенной личностью, последняя всегда будет иметь одно утешение: «справедливость или несправедливость, которую она тогда может встретить при некоторых обстоятельствах, со стороны свободного общества, никогда не

может быть хуже того, что принесло бы с собой естественное состояние»! И далее, заставив нас еще раз наткнуться на неустранимое авторское право, Дюринг обнадеживает нас в том, что в его новом государстве будет существовать, «само собой разумеется, вполне свободная и всем доступная адвокатура». «Ныне изобретенное свободное общество» оказывается все более смешанным. Архитекторы, тачечники, литераторы, жандармы и, к тому же, еще адвокаты! Это «солидное и критическое царство мысли» точь-в-точь похоже на различные неземные царства различных религий, где верующий вновь встречает преображенным все то, что услаждало его в земной жизни. А г. Дюринг ведь принадлежит к государству, в котором «всякий может спасаться на свой лад». Чего же больше желать?

Что нам желательно, это, впрочем, здесь безразлично. Речь идет о том, что желательно г. Дюрингу. Последний же отличается от Фридриха II тем, что в его государстве будущего отнюдь не всякий может спасаться «на свой лад». В конституции этого государства будущего значится: «в свободном обществе не должно быть никакого культа, ибо каждый из его членов будет стоять выше детского, первобытного представления о том, что где-либо в природе есть существо, на которое можно воздействовать путем жертв или молитв». «Правильно понятая социалитарная система должна поэтому... упразднить все направленные к духовному колдовству стремления и вместе с тем все главные начала культа». Религия будет запрещена.

Каждая религия является ни чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму сверхъестественных. В начале истории этому отражению подвергаются, прежде всего, силы природы; в ходе развития у различных народов появляются самые разнообразные и пестрые их олицетворения. Этот первоначальный процесс прослежен при помощи сравнительной мифологии — по крайней мере по отношению к индоевропейским народам—до проявления его в индийских ведах, а также обнаружен, в частности, у индусов, персов, греков, римлян, германцев и, поскольку хватает материала, у кельтов, литовцев и славян. Но скоро, наряду с силами природы, выступают также и общественные силы, — силы, которые противостоят человеку и господствуют над ним, оставаясь для него вначале такими же непонятными, чуждыми и обладающими видимой естественной необходимостью, как и силы природы. Фантастические образы, в которых сначала отражались только таинственные силы природы, теперь приобретают общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил. На дальнейшей ступени развития вся совокупность естественных и общественных атрибутов многих богов переносится на одного всемогущего бога, который, в свою очередь, является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, бывший исторически последним продуктом позднейшей греческой вульгарной философии и нашедший свое воплощение в иудейском, исключительно национальном боге Ягве. В этом удобном, пригодном и для всех подходящем образе религия может продолжать свое существование как выражение непосредственного эмоционального отношения людей к господствующим над ними, непонятным для них, естественным и общественным силам до тех пор, пока люди фактически находятся под гнетом этих сил. Но мы уже неоднократно говорили, что в современном буржуазном обществе люди подчинены созданным ими самими экономическим отношениям, произведенным ими самими средствам производства, как какой-то чуждой силе. Фактическое основание религиозной рефлективной деятельности продолжает, таким образом, существовать, а вместе с нею и самый религиозный рефлекс. И если буржуазная экономия «даже начинает немного понимать» причины этого внешнего господства, то дело ничуть не изменяется. Буржуазная экономия не в состоянии ни противодействовать кризисам вообще, ни спасти отдельного капиталиста от убытков,

от безнадежных долгов и банкротства, ни избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты: по прежнему человек предполагает; а бог (т. е. внешнее господство капиталистического производства) располагает. Простого познания, хотя бы оно шло дальше и глубже знания буржуазной экономии, недостаточно, чтобы подчинить обществу общественные силы. Для этого необходимо, прежде всего, общественное действие. Но если допустить, что это действие воспоследовало и что общество, путем вступления во владение всей совокупностью средств производства и планомерного их употребления, освободило себя самого и всех своих членов от того рабства, в котором они до сих пор находятся благодаря IIМН самими произведенным, но противостоящим нм, в качестве непреодолимых внешних сил, средствам производства, — т. е. если допустить, что человек не только предполагает, но и располагает, то лишь в таком случае исчезнет последняя внешняя сила, до сих пор отражающаяся в религии, а вместе с тем и само религиозное отражение, по той простой причине, что тогда уже нечего будет отражать.

Но г. Дюринг не расположен ждать момента, когда религию постигнет такая естественная смерть. Он поступает основательнее. Он превосходит самого Бисмарка, предлагая издать строгие майские законы не только против католицизма, но и против всех религий вообще; натравляя своих жандармов будущего на религию, он увенчивает ее благодаря этому ореолом мученичества и обеспечивает ей тем самым более продолжительное существование. Куда мы ни посмотрим, всюду специфически прусский социализм.

После того как г. Дюринг искоренил, наконец, в коммунах, религию, человек, «опирающийся только на самого себя и природу и достигший познания своих коллективных сил, может смело итти по всем тем путям, которые ему указывают ход вещей и его собственный характер». Посмотрим же, для разнообразия, по какому «ходу вещей» смело может двинуться под руководством г. Дюринга «опирающийся на самого себя» человек.

Первый момент в ходе вещей, когда человек готовится стать опорой самому себе, это — его рождение. Потом, во время своего натурального несовершеннолетия, он остается на попечении «естественной воспитательницы детей», матери. «Этот период мог бы простираться, как в древнем римском праве, до возмужалости, т. е. до 14 лет». Только в случаях недостаточного уважения к авторитету матери со стороны более взрослых невоспитанных мальчиков устранять этот недостаток должна отцовская власть, с помощью общественных воспитательных мер. Возмужав, ребенок поступает под «естественную опеку отца», если только таковой имеется налицо и «этот факт родства не оспаривается»; в противном случае община назначает опекуна.

Как мы знаем, г. Дюринг считает вполне возможным заменить капиталистический способ производства общественным, не преобразуя самого производства; так же точно он воображает, что возможно оторвать современную буржуазную семью от ее экономической основы, не изменяя вместе с тем ее формы. Эта форма представляется ему изъятой из действия законов эволюции в такой степени, что он сохраняет для семьи на вечные времена «древнее римское иразо», хотя и в «облагороженном» немного виде, и предполагает сохранить для нее и «право наследования», а следовательно, и все прерогативы экономической единицы, обладающей самостоятельным имуществом. Утописты в этом вопросе стоят неизмеримо выше г. Дюринга. У них, на-ряду с свободным соединением людей в общество и преобразованием частной домашней работы в общественную промышленную деятельность, непосредственно придан общественный характер и воспитанию юношества, а вместе с тем действительно-свободный характер — взаимным отношениям членов семьи. Наконец, надо вспомнить, что еще Маркс указал (Marx, Kapital, р. 515 sqq.) на то, как «крупная промышленность благодаря значительной

роли, предоставляемой ею женщинам, подросткам и детям обоего пола в общественно-организованных процессах производства, вне домашнего обихода, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и для отношений между собою обоих полов».

«Каждый социал-реформаторский фантазер,—говорит г. Дюринг,—имеет естественно наготове соответствующую своей новой социальной жизни педагогику». С этой точки зрения сам г. Дюринг представляется «настоящим монстром» среди социал-реформаторских фантазеров. Школе будущего он уделяет столько же внимания,, сколько и авторскому праву, а это нешуточное дело. Он обладает окончательно выработанным планом организации школ и университетов не только для всего «обозримого будущего», но также и для переходного периода. Мы же, с своей стороны, ограничимся лишь обзором наук, которым предполагают обучать юношество обоего пола в совершенной социалитарной организации в последней инстанции.

Всеобщая народная школа дает своим ученикам «все, что может обладать привлекательностью само по себе и принципиально важно для человека», знакомя их с «основами и главными выводами наук относительно миро- и жизнепонимания». Там их будут прежде всего обучать математике, и именно так, что круг всех принципиальных понятий и способов, начиная с простого счета и сложения и заканчивая интегральным исчислением, будет «вполне исчерпан». Это, однако, отнюдь не значит, что в этой школе действительно будут интегрировать и диференцировать; совсем напротив. Там будут изучать в действительности совершенно новые элементы математики в целом, содержащие в зародыше как обыкновенную элементарную, так и высшую математику. И хотя г. Дюринг уверяет, что «содержание учебников» этой школы будущего «в своих главных чертах вырисовывается схематически перед его глазами», но все же, к сожалению, ему до сих пор не удалось открыть эти «элементы математики в целом», а то, чего он не в состоянии сделать, «следует в самом деле ожидать только от свободных и возросших сил нового общественного строя». Но если виноградные гроздья математики будущего еще слишком зелены, зато астрономия, механика и физика будущего не представят особых трудностей для преподавания, составляя «ядро всякого образования»; «зоология же и ботаника, при их — вопреки всем теориям — все еще преимущественно описательном характере, будут служить предметом легкого собеседования». Так говорится в «Курсе философии», стр. 417. Г-н Дюринг и до сего дня знает только одну «преимущественно описательную ботанику и зоологию». Вся органическая морфология, охватывающая собою сравнительную анатомию, эмбриологию и палеонтологию органического мира, не знакома ему даже по названию. В то время, как за его спиной возникают в области биологии целыми дюжинами совершенно новые науки, его детский ум все еще черпает «возвышенные, современные образовательные элементы естественно-научного способа мышления» из естественной истории для детей Раффа, и на основании такого материала он дарует эту конституцию органического мира для всего «видимого будущего». Химия, как и обычно у г. Дюринга, совершенно отсутствует в школьной программе.

Что касается эстетической стороны воспитания, то г. Дюринг намерен создавать все вновь. Существовавшая до сих пор поэзия для этого не годится. Там, где запрещены все религии, само собою разумеется, не могут быть терпимы в школе обычно употребляемые прежними поэтами «мифологические и религиозные образы». Равным образом должен быть воспрещен «поэтический мистицизм, к которому, например, был сильно склонен Гете». Таким образом, г. Дюрингу самому, волей неволей, придется изготовить «поэтические образцы», соответствующие «высшим запросам примирившейся с разумом фантазии», и нарисовать настоящий идеал, «обозначающий завершение мира». Лишь бы

только он не медлил с этим! Хозяйственная коммуна сможет завоевать мир лишь тогда, когда она двинется в поход тяжкой поступью примиренного с разумом александрийского стиха.

Подрастающему гражданину будущего государства не предстоит особых мучений с филологией. «Изучение мертвых языков будет совершенно оставлено... а изучение живых иностранных языков будет делом второстепенным». Только там, где сношения между народами выразятся в передвижениях народных масс, иностранные языки должны быть усвоены каждым в легкой форме, смотря по нужде. Для достижения «действительно образовательного результата при изучении языков» придумана своего рода всеобщая грамматика, и особенно для этого дела должна служить «материя и форма родного языка». Национальная ограниченность современного человека является еще слишком космополитической для г. Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые при современном строе дают хотя некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения,—одновременно упразднить и знание древних языков, открывающее, по крайней мере, лицам разных стран, получавшим классическое образование, общий широкий горизонт, и знание языков новых, при помощи которого люди различных наций понимают друг друга и благодаря которому только и могут ознакомиться с тем, что происходит вне их собственной сферы жизни. Зато грамматика родного языка должна основательно вызубриваться. Но «материя и форма родного языка» только тогда могут быть поняты, когда прослеживают его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки. Это последнее, казалось бы, могло грозить вторжением в запрещенную область. Напрасный страх. Г-н Дюринг, нагнав из своего учебного плана всю современную историческую грамматику, оставляет дтя обучения языкам в своей школе только старомодную, выкроенную в стиле древней классической филологии, техническую грамматику, со всей ее казуистикой и произвольностью, порождаемыми отсутствием в ней исторического основания. Ненависть к старой филологии доводит его до того, что все самое дурное, что можно в ней найти, он делает «центральным пунктом имеющего действительно образовательное значение изучения языков». Очевидно, нам приходится иметь дело с филологом, никогда не слыхавшим об историческом языкознании, так сильно и плодотворно развившемся в последние 60 лет, и поэтому отыскивающим «современные возвышенные образовательные элементы» языкознания не у Боппа, Гримма и Дица, но у блаженной памяти Гейзе и Беккера.

Но и после «этой науки» молодой гражданин государства буду-щего долго не сможет опираться на самого себя. Для этого нужно заложить в его душе более глубокий фундамент, при помощи «усвоения последних философских основ». Но такое углубление... «не представляет собою гигантской задачи», так как г. Дюринг открыл для этого легкий и свободный путь. В самом деле, «если счистить то немногое точное знание, которым может гордиться всеобщая схематика бытия, от ложных, схоластических побрякушек» и если решиться признавать вообще истинным только «удостоверенную (господином Дюрингом) действительность», то элементарная философия станет доступной и юношеству будущего. «Напомним о тех крайне простых приемах, посредством которых мы придали понятию бесконечности и его критике неизвестное до тех пор значение», чтобы «не отказаться от надежды, что, при помощи современного углубления и уточнения, столь просто установленные элементы универсального понимания пространства и времени свободно могут сделаться предметом элементарных знаний... и, таким образом, наиболее основательные мысли (г. Дюринга) могли бы играть не второстепенную роль в универсальной образовательной систематике нового общества». Самому себе равное состояние материи и сосчитанная бесчисленность признаны «не

только поставить человека на ноги, но и заставить уразуметь собственными силами, что так называемый абсолют находится у него под ногами».

Итак, как видит читатель, народная школа будущего, в сущности, не что иное, как немного «облагороженная» прусская гимназия, в которой греческий и латинский языки заменены некоторым увеличением занятий по чистой и прикладной математике и, главным образом, обучением элементам философии действительности, и немецкая педагогика здесь вновь почтительно возвращается к Беккеру, опускаясь до уровня школы низшей ступени. Действительно, нет оснований «отказаться от надежды», почему бы оказавшиеся после нашего рассмотрения в высшей степени школьническими «познания» г. Дюринга во всех затронутых им отраслях знания или, лучше сказать, почему бы вообще то, что осталось от них после проделанной нами основательной «чистки», «не перешло бы, в конце концов», оптом и в розницу «в ряд элементарных знаний», тем более что оно никогда и не покидало этого поприща. Конечно, г. Дюринг одним ухом слышал, что в социалистическом обществе труд и воспитание будут соединены и для этого предполагается обеспечить подрастающим поколениям всестороннее техническое образование; и вот этот-то план своим обычным и своеобразным способом приноравливается г. Дюрингом к социалитарной коммуне. Но так как существующее теперь разделение труда в своих существенных чертах сохраняется, как мы видели, в дюринговом производстве будущего, то тем самым уничтожается и возможность практического применения этого технического школьного образования, отнимается. у него всякое значение для самого производства. У него остается одна только цель: заменить гимнастику, о которой ничего не хочет знать наш «основательный» реформатор. Поэтому в защиту своей школы г. Дюринг мог придумать только несколько банальных фраз, вроде следующей: «юноши, как и старики, должны работать в серьезном смысле этого слова». Но поистине плачевной оказывается эта не имеющая значения и бессодержательная болтовня при сравнении ее хотя бы с следующим местом из «Капитала» (р. 508 — 515), где Маркс развивает положение, что «из фабричной системы, как это можно в подробности проследить у Роберта Оуэна, возникли зародыши будущего воспитания, при котором для всех детей свыше известного возраста будут соединены производительный труд с учением и гимнастикой, не только как способ увеличения общественного производства, но как единственный способ производства всесторонне развитых людей».

Не будем касаться вопроса об университете будущего, в котором философия действительности составит ядро всего знания и в котором, рядом с медицинским факультетом, в полном расцвете будет продолжать свое существование также и юридический; оставим в стороне также «специальные профессиональные заведения», о которых нам сообщают лишь то, что они должны иметь значение только «для двух-трех предметов». Предположим, что юный гражданин будущего «опирается, наконец, на самого себя» по окончании всех школьных курсов и что он уже в состоянии заняться приисканием себе жены. Какой путь открывает ему здесь г. Дюринг?

«Ввиду важности размножения для укрепления, улучшения и смешения, равно как и для развития возникающих вновь особенностей, следует искать основные корни человеческих или нечеловеческих качеств главным образом в половом общении и подборе и, сверх-того, еще в заботе, направленной на обеспечение или предупреждение определенного исхода родов. Суд над дикостью и тупостью, господствующими в этой области, следует предоставить практически позднейшей эпохе. Однако следует выяснить с самого начала, даже при существующем гнете предрассудков, что гораздо важнее удавшийся или неудавшийся природе или человеческой предусмотрительности качественный характер рождений, чем их численность. Во всяком случае во все эпохи и при всяком правовом

строе совершалось тайное уничтожение уродов в огромных размерах... но лестница, ведущая от нормального до уродства, граничащего с потерей человеческого образа, имеет много ступеней. Если принимаются меры против появления такого человека, который оказался бы только плохим созданием, то это представляет, очевидно, плюс». Точно так же в другом месте говорится: «Философскому рассмотрению не трудно будет признать право не родившегося еще мира на возможно лучшую композицию... Момент зачатия и во всяком случае момент рождения дают повод для применения в этом отношении предохранительных или, в крайнем случае, пресекающих мер». И далее: «Греческое искусство идеально представлять человека в мраморе не в состоянии будет сохранить свое прежнее историческое значение, когда будет разрешена менее художественная, но зато более важная для жизненных судеб миллионов задача—усовершенствование образования человека из плоти и крови. Этот род искусства — не просто пластический, и его эстетика не состоит в созерцании мертвых форм»... и так далее.

Наш молодой гражданин будущего падает с облаков. Что при вступлении в брак дело идет не просто о пластическом искусстве и не о созерцании мертвых форм, это он знал, конечно, и без г. Дюринга; но последний ведь обещал ему, что он будет свободно шествовать по всем путям, которые перед ним откроют ход вещей и его собственный характер, для того чтобы найти сочувствующее женское сердце с принадлежащим ему телом. «Нет!» гремит ему в ответ «более глубокая и строгая мораль». Прежде всего надо устранить ту дикость и тупость, которые царят в области полового подбора, и воздать должное праву вновь рождающегося мира на возможно лучшую композицию. В торжественный момент брака на лиц, вступающих в него, возлагается обязанность усовершенствовать образование человека из плоти и крови, чтобы, так сказать, стать Фидием в этом отношении. Как приступить к этому? В приведенных таинственных выражениях г. Дюринга нет ни малейшего указания на это, хотя последний сам говорит, что это дело «искусства». Быть может, г. Дюринг набросал уже перед своими глазами схематическое «руководство к этому искусству», вроде тех, образцы которых в изобилии циркулируют в настоящее время в немецкой книжной торговле? Во всяком случае тут он переносит наше воображение из сферы социа-литарной коммуны в одну из сцен «Волшебной флейты», причем, однако, жизнерадостный франк-масонский поп Зарастро едва ли может назваться «жрецом второго класса» по сравнению с нашим более глубоким и строгим моралистом. Испытания, которым подвергал этот поп любовные парочки своих адептов, представляют просто детскую игру по сравнению с тем грозным осмотром, к которому г. Дюринг вынуждает своих обоих суверенных индивидов, прежде чем позволить им вступить в состояние «нравственного и свободного брака». Так, может случиться, что какой-нибудь «опирающийся на самого себя» Тамино будущего хотя и твердо опирается на так называемый абсолют, но одна из его физических опор отступает на одну-две ступени от нормального, так что злые языки называют его колченогим; или же что его дорогая Памина будущего не вполне твердо стоит на упомянутом абсолюте, благодаря легкому уклонению в сторону правого плечика, каковое перемещение зависть людская называет легким горбиком. Что делать тогда? Воспретит ли им наш более глубокий и строгий Зарастро практику искусства по усовершенствованию образования человека из плоти и крови, или же захочет применить к ним при «зачатии» свои «предохранительные меры», или же при «рождении» свои «пресекающие меры»? Не знаю, но держу пари, что влюбленная пара всегда предпочтет бежать от Зарастро-Дюринга, для того чтобы поспешить заключить законный брак, не внимая его мудрым советам.

Постойте! — восклицает г. Дюринг. Вы меня не поняли! Дайте мне высказаться. «При наличии более возвышенных, истинно-человеческих побудительных мотивов здоровых половых сношений... принявшее облагороженно-человеческий характер половое

возбуждение, которое является в виде страстной любви, представляет в своей двухсторонности лучшую гарантию удовлетворительного супружества, также и по отношению к плодам его... второстепенным результатом будет, что из самих по себе гармонических отношений получится дитя соответствующей красоты. Отсюда опять-таки следует, что всякое принуждение в сфере любви должно действовать вредным образом» и т. д. И таким образом все разрешается к наилучшему в наилучшей из социалитарных коммун. Колченогий и горбатая страстно любят друг друга, а потому в своей двухсторонности представляют наилучшую гарантию достижения гармонического «второстепенного результата», а далее все идет, как в романе: они объясняются в любви, счастливо вступают в брак, родят детей и проч., одним словом, «вся более глубокая и строгая мораль» завершается, как всегда, «гармоничной» ерундой.

Каких благородных вообще взглядов держится г. Дюринг относительно женского вопроса, явствует из следующего его обвинения современного общества: «Проституция в обществе, основанном на угнетении и продаже человека человеку, признается естественным дополнением принудительного брака, созданным в пользу мужчин, и тот факт, что такого же преимущества для женщин не может существовать, представляет весьма понятный, хотя и знаменательный факт». Ни за что на свете не желал бы я получить благодарность, которая вышадет на долю г. Дюринга со стороны женщин за этот комплимент. Кроме того, разве г. Дюрингу совершенно неизвестен не очень-то исключительный тип дохода — сутенерского? Он ведь сам был когда-то в чине референдария и живет в Берлине, где, между прочим, еще в мои времена, 36 лет тому назад, Referendarius довольно часто рифмовался с Schurzenstipendiarius.

* * *

Да позволено будет мне примирительно расстаться с нашей темой, которая часто должна была казаться достаточно сухой и скучной. Поскольку нам приходилось обсуждать отдельные спорные пункты, наш приговор был связан объективными, неоспоримыми фактами; согласно с этими фактами приходилось довольно часто высказываться резко и даже жестоко. Теперь, когда вопросы, касающиеся философии, экономии и социалитарной коммуны, достаточно разобраны и перед нами обрисовалась вся физиономия г. Дюринга, о котором нам раньше приходилось судить только по отдельным частностям, — теперь можно поставить на первый план соображения гуманности, и да будет нам позволено некоторые непонятные научные промахи автора свести к его личным качествам и резюмировать наш общий приговор таким образом: «невменяемость, созданная манией величия».

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТАРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К «АНТИ-ДЮРИНГУ».

О диалектике.

1878.

[Предлагаемая работа отнюдь не возникла под влиянием какого-либо «настоятельного внутреннего побуждения». Как раз напротив: мой друг Либкнехт сможет засвидетельствовать, сколько труда ему стоило побудить меня критически рассмотреть новейшую социалистическую теорию господина Дюринга. Но раз я решился на это, мне ничего не оставалось, как рассмотреть эту теорию, выдающую себя за последний практический плод новой философской системы, в совокупной связи с этой системой, а вместе с тем подвергнуть разбору и всю эту систему. Я вынужден был поэтому последовать за господином Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всевозможнейших вещах. Так возник ряд статей, печатавшихся с начала 1877 г. в лейпцигском «Vorwarts». Эти статьи и предлагаются здесь в связном виде.

Два соображения могут оправдать ту обстоятельность, с которой произведена критика этой столь незначительной, несмотря на все свои притязания, системы, — обстоятельность, которая диктовалась объективным положением вещей. С одной стороны, эта критика давала мне возможность развить в положительном направлении мое понимание спорных вопросов в разнообразных областях, имевших в настоящее время общий теоретический или практический интерес. И как бы мало я ни преследовал цель противопоставить системе господина Дюринга другую систему, все же, надо надеяться, от читателя не укроется внутренняя связь между выдвинутыми мною воззрениями, несмотря на все разнообразие разобранного мною материала.

С другой стороны, «системотворящий» господин Дюринг не представляет собой единичного явления в современной Германии. С некоторых пор философские системы, в особенности натурфилософские системы, растут в Германии, как грибы после дождя, не говоря уже о бесчисленных новых системах в политике, политической экономии и т. д. Подобно тому, как в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, о которых ему приходится подавать голос; подобно тому, как в политической экономии исходят из предположения, что каждый покупатель является знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, — подобно этому дело должно обстоять и в науке. Каждый может писать обо всем, и «свобода науки» понимается как право человека писать обо всем, чего он не изучил, и выдавать это за единственный строго научный метод. Господин Дюринг представляет один из характернейших типов этой развязной лженауки, которая в наши дни в Германии повсюду лезет вперед и все заглушает громом своих трескучих фраз высшего сорта. Трескучие фразы в поэзии, философии, экономии, исторической науке, трескучие фразы с кафедры и трибуны, трескучие фразы везде, трескучие фразы как характернейший массовый продукт интеллектуальной германской индустрии, с девизом «дешево, но скверно». — совсем как другие германские фабрикаты, рядом с которыми они, к сожалению, не были представлены на филадельфийской выставке. Даже немецкий социализм,—особенно после доброго примера, поданного господином Дюрингом, — довольно успешно занимается в наши дни трескучими фразами высшего сорта; то, что практическое социал-демократическое движение не дало одурачить себя этим трескучим фразам, является новым доказательством замечательно здоровой натуры рабочего класса в

нашей стране, в которой в данный момент, за исключением естествознания, чуть ли не все остальное заражено болезнью.

Если Негели в своей речи на мюнхенском съезде естествоиспытателей заявил, что человеческое познание никогда не будет обладать характером всеведения, то ему, очевидно, остались неизвестными подвиги господина Дюринга. Подвиги эти заставили меня после-довать за ним в целый ряд областей, где, в лучшем случае, я могу выступать лишь в качестве дилетанта. Это относится в особенности к различным областям естествознания, где до сих считалось более чем не скромным, если какой-нибудь «профан» пытался высказать свое мнение. Однако меня несколько ободряет высказанное также в Мюнхене и подробнее разобранное в другом месте замечание господина Вирхова, что каждый естествоиспытатель вне своей собственной специальности является тоже только полузнайкой, vulgo профаном. Подобно тому, как такой специалист может и обязан время от времени заглядывать в соседние области, и подобно тому, как специалисты в них прощают ему в этом случае неловкость в выражениях и маленькие неточности, так и я взял на себя смелость привести естественные процессы и законы природы в виде доказательства моего общего теоретического мировоззрения, рассчитывая на то же снисхождение.] Всякому, кто занимается теоретическими вопросами, результаты современного естествознания навязываются с той же принудительностью, с какой современные естествоиспытатели — желают ли они того или нет — вынуждены приходить к общетеоретическим выводам. И здесь наблюдается известная компенсация. Если теоретики являются полузнайками в области естествознания, то такими же полузнайками являются современные естествоиспытатели в области теории, в области того, что называлось до сих пор философией.

Эмпирическое естествознание накопило такую необъятную массу положительного материала, что необходимость систематизировать его в каждой отдельной области исследования и расположить с точки зрения внутренней связи стала неустранимой. Точно так же стало неизбежным привести между собою в правильную связь отдельные области познания. Но, занявшись этим, естествознание попадает в теоретическую область, а здесь методы эмпиризма оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. Но теоретическое мышление является прирожденным свойством только в виде способности. Она должна быть развита, усовершенствована, а для подобной разработки не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения истории философии.

Теоретическое мышление каждой эпохи, а значит и нашей эпохи, это — исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и получающий поэтому очень различное содержание. Следовательно, наука о мышлении, как и всякая другая наука, есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления. И это имеет значение и для практического применения мышления к эмпирическим областям, ибо, во-первых, теория законов мышления не есть вовсе какая-то раз навсегда установленная «вечная истина», как это связывает со словом «логика» филистерская мысль. Сама формальная логика являлась, начиная с Аристотеля и до наших дней, ареной ожесточенных споров. Что же касается диалектики, то до сих пор она была исследована более или менее точным образом лишь двумя мыслителями, Аристотелем и Гегелем. Но именно диалектика является для современного естествознания самой правильной формой мышления, ибо она одна представляет аналог и, значит, метод объяснения происходящих в природе процессов развития для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой.

Во-вторых, знакомство с историческим развитием человеческого мышления, с господствовавшим в разные времена пониманием всеобщей связи внешнего мира необходимо для теоретического естествознания и потому, что оно дает масштаб для оценки выдвигаемых этим естествознанием теорий. Здесь часто ярко выступает недостаток знакомства с историей философии. Положения, установленные в философии уже сотни лет назад, положения, с которыми в философии давно уже покончили, часто выступают у теоретизирующих естествоиспытателей в виде самоновейших истин, становясь на время даже предметами моды. Когда механическая теория теплоты привела в подтверждение учения о сохранении энергии новые доказательства и выдвинула его на первый план, то это было для нее, несомненно, огромным успехом; но могло ли бы это положение казаться чем-то столь абсолютно новым, если бы господа физики вспомнили, что оно было установлено уже Декартом? С тех пор, как физика и химия стали опять оперировать почти исключительно молекулами и атомами, древне-греческая атомистическая философия должна была неизбежно выступить снова на первый план. Но как поверхностно трактуется она даже лучшими из естествоиспытателей! Так, например, Кекуле рассказывает («Ziele u. Leistungen der Chemie»), будто атомистическая теория имеет своим родоначальником Демокрита, а не Левкиппа, и утверждает, будто Дальтон первый признал существование качественно различных элементарных атомов и первый приписал им различные специфические для различных элементов веса; между тем у Диогена Лаэртского (X, 1, § 43 —44 и 61) можно прочесть, что уже Эпикур приписывал атомам не только различную величину, но и различный вес, т. е. по-своему уже знал атомный вес и атомный объем.

Революция 1848 года оставила в Германии почти все на месте, за исключением философии, где произошел полный переворот. Нация, охваченная духом практицизма, который, с одной стороны, дал толчок крупной промышленности и спекуляции, а с другой — вызвал мощный подъем естествознания в Германии, отдавшись под руководство странствующих проповедников материализма—Фохта, Бюхнера и т. д., решительно отвернулась от затерявшейся в песках берлинского старогегельянства классической немецкой философии. Берлинское старогегельянство вполне этого заслужило. Но нация, желающая стоять на высоте науки, не может обойтись без теоретического мышления. Вместе с гегельянством выбросили за борт и диалектику как раз в тот самый момент, когда диалектический характер процессов природы стал непреодолимо навязываться мысли, т. е. тогда, когда только диалектика могла помочь естествознанию выбраться из затруднений; благодаря этому естествоиспытатели снова оказались беспомощными жертвами старой метафизики. Среди публики стали с тех пор иметь успех, с одной стороны, приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Гартмана, с другой — вульгарный, в стиле странствующих проповедников, материализм разных Фохтов и Бюхнеров. В университетах конкурировали между собой различнейшие сорта эклектизма, имевшие общим лишь то, что они состояли из одних лишь отбросов старых философских систем и были все одинаково метафизичны. Остатки классической философии сохранились только в виде неокантианства, последним словом которого была вечно непознаваемая вещь в себе, т. е. та часть кантовского учения, которая меньше всего заслуживала сохранения. Конечным результатом была господствующая теперь путаница и бессвязность теоретического мышления.

Нельзя теперь взять в руки почти ни одной теоретической книги по естествознанию, чтобы не убедиться, что сами естествоиспытатели понимают, как они страдают от этой путаницы и бессвязности, из которой им не дает абсолютно никакого выхода модная, с позволения сказать, философия. И здесь нет действительно иного выхода, нет никакой

возможности добиться ясности без возврата в той или иной форме от метафизического мышления к диалектическому.

Этот возврат может совершиться различным образом. Он может прорваться стихийно, благодаря просто силе самих естественнонаучных открытий, не умещающихся больше в старом метафизическом прокрустовом ложе. Но это тяжелый и мучительный процесс, при котором приходится преодолевать колоссальную массу излишних трений. Процесс этот по большей части уже происходит, в особенности в биологии. Но он может быть значительно сокращен, если теоретизирующие естествоиспытатели захотят познакомиться основательнее с диалектической философией в ее исторически данных формах. Среди этих форм особенно плодотворными для современного естествознания могут стать две.

Первая, это — греческая философия. Здесь диалектическое мышление выступает еще в первобытной простоте, не нарушаемой теми милыми препятствиями, которые сочинила сама себе метафизика XVII и XVIII столетий,—Бэкон и Локк в Англии, Лейбниц в Германии,— и которыми она заградила себе путь от понимания единичного к пониманию целого, к проникновению во всеобщую связь сущего. Так как греки еще не дошли до расчленения, до анализа природы, то она у них рассматривается еще в общем как одно целое. Всеобщая связь явлений в мире не доказывается в подробностях: для греков она является результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, благодаря которому она должна была впоследствии уступигь место другим видам мировоззрения. Но в этом же заключается ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими соперниками. Если метафизика права по отношению к грекам в подробностях, то греки правы по отношению к метафизике в целом. Это одна из причин, в силу которых мы вынуждены будем в философии, как и во многих других областях, возвращаться постоянно к подвигам того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечила ему такое место в истории развития человечества, на которое не может претендовать ни один другой народ. Другой же причиной является то, что в многообразных формах греческой философии имеются в зародыше, в возникновении, почти все позднейшие типы мировоззрения. Поэтому и теоретическое естествознание, если оно хочет познакомиться с историей возникновения и развития своих современных общих теорий, должно возвратиться к грекам. Понимание этого все более и более распространяется. Все реже становятся те естествоиспытатели, которые, сами оперируя отбросами греческой философии,— например, атомистикой,—как вечными истинами, смотрят по-бэко-новски свысока на греков на том основании, что у последних не было эмпирического естествознания. Было бы только желательно, чтобы это понимание углубилось и привело к действительному ознакомлению с греческой философией.

Второй формой диалектики. особенно близкой немецким естествоиспытателям, является классическая немецкая философия от Канта до Гегеля. Здесь лед как будто уж тронулся, ибо даже помимо уже упомянутого неокантианства становится снова модой возвращаться к Канту. С тех пор как открыли, что Кант является творцом двух гениальных гипотез, без которых не может обойтись современное теоретическое естествознание, — именно приписывавшейся прежде Лапласу теории возникновения солнечной системы и теории замедления вращения земли благодаря приливам,—с тех пор Кант снова оказался в почете у естествоиспытателей. Но изучать диалектику у Канта было бы без нужды утомительной и неблагодарной работой, с тех пор как в произведениях Гегеля имеется обширная энциклопедия диалектики, хотя и развитая из совершенно ложной исходной точки.

После того как, с одной стороны, реакция против «натурфилософии» — в значительной степени оправдывавшаяся этим ложным исходным пунктом и жалким обмелением

берлинского гегельянства — исчерпала себя, выродившись под конец в простую ругань, после того как, с другой стороны, естествознание в своих теоретических поисках не нашло никакого удовлетворения у ходячей эклектической метафизики, может быть, станет возможным заговорить перед естествоиспытателями еще раз о Гегеле, не вызывая этим у господина Дюринга пляски святого Вита, в которой он так неподражаемо забавен.

Прежде всего следует установить, что дело здесь идет вовсе не о защите гегелевского исходного пункта о том, что дух, мысль, идея есть первичное, а действительный мир только отражение идеи. От этого отказался уже Фейербах. Мы все согласны с тем, что в любой научной области—безразлично, в естествознании или в истории — надо исходить из данных фактов, т. е. что в естествознании надо исходить из различных объективных форм движения материи, и что, следовательно, в теоретическом естествознании нельзя конструировать связей и вносить их в факты, а надо извлекать их из последних и, найдя, доказать их, поскольку это возможно, опытным путем.

Точно так же речь не может итти о том, чтобы сохранить догматическое содержание гегелевской системы, как она проповедывалась берлинскими гегельянцами старшей и младшей линии. Вместе с идеалистическим исходным пунктом падает и построенная на нем система, следовательно в частности и гегелевская натурфилософия. Но надо помнить, что борьба с Гегелем естествоиспытателей, поскольку они вообще правильно понимали его, направлялась только против обоих этих пунктов: против идеалистического исходного пункта и против произвольного, противоречащего фактам, построения системы.

За вычетом всего этого остается еще гегелевская диалектика. Заслугой Маркса остается то, что он впервые извлек снова на свет, в противовес «брюзжащему, притязательному и посредственному эпигонству, задающему теперь тон в Германии», забытый диалектический метод, указал на связь его с гегелевской диалектикой, а также и на отличие его от последней, и в то же время показал в «Капитале» применение этого метода к фактам определенной эмпирической науки, политической экономии. И сделал он это с таким успехом, что даже в Германии новейшая экономическая школа поднимается над вульгарным фритредерством лишь благодаря тому, что она, под предлогом критики Маркса, занимается списыванием у него (довольно часто неверным).

У Гегеля в диалектике наблюдается то же самое извращение всех реальных отношений, как и во всех прочих частях его системы. Но, как замечает Маркс, «мистификация, которой диалектика подвергается в руках Гегеля, нисколько не мешает тому, что он впервые изобразил всеобъемлющим и сознательным образом ее всеобщие формы движения. Она стоит у него на голове. Нужно перевернуть ее, чтобы найти рациональное ядро в мистической оболочке!»

Но и в самом естествознании мы достаточно часто встречаемся с теориями, в которых реальные отношения поставлены на голову, в которых отражение принимается за объективную реальность и которые нуждаются поэтому в подобном перевертывании. Такие теории довольно часто господствуют долгое время. Подобный случай представляет нам учение о теплоте, которая почти в течение двух столетий рассматривалась как особая таинственная материя, а не как форма движения обыкновенной материи: только механическая теория теплоты произвела здесь необходимое перевертывание. Тем не менее физика, в которой царила теория теплорода, открыла ряд весьма важных законов теплоты. В частности, Фурье и Сади Карно1 проложили здесь путь для правильной теории, которой оставалось только перевернуть открытые ее предшественницей законы и перевести их на свой собственный язык. Точно так же в химии теория флогистона своей вековой экспериментальной работой добыла тот именно материал, с помощью которого

Лавуазье сумел открыть в полученном Пристли кислороде реальный антипод фантастического флогистона, что дало ему возможность отвергнуть всю эту флогистическую теорию. Но это не означало вовсе, что были отвергнуты опытные результаты флогистики. Наоборот, они сохранились, была только перевернута их формулировка, переведена с языка флогистона на современный химический язык.

Гегелевская диалектика так относится к рациональной диалектике, как теория теплорода к механической теории теплоты, как теория флогистона к теории Лавуазье.

ПРИМЕЧАНИЯ К «АНТИ-ДЮРИНГУ».

1878.

а) 0 прообразах математического «бесконечного» в действительном мире.

К стр. 17—181: Согласие между мышлением и бытием.—Бесконечное в математике.

Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому оба они не могут противоречить друг другу в своих конечных результатах, а должны согласоваться между собой. Факт этот является бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического мышления. Материализм XVIII столетия, будучи по существу метафизического характера, исследовал эту предпосылку только с точки зрения ее содержания. Он ограничился доказательством того, что содержание всякого мышления и знания должно происходить из чувственного опыта, и восстановил старое положение: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. Только современная идеалистическая — но вместе с тем и диалектическая — философия, в особенности Гегель, исследовала эту предпосылку также с точки зрения формы. Несмотря на бесчисленные произвольные и фантастические построения этой философии, несмотря на идеалистическую, на голову поставленную, форму ее конечного результата — единства мышления и бытия, — нельзя отрицать того, что она доказала на множестве примеров, взятых из самых разнообразных отраслей знания, аналогию между процессами мышления и процессами в области природы и истории, и обратно, и господство одинаковых законов для всех этих процессов. С другой стороны, современное естествознание до того расширило тезис об опытном происхождении всего содержания мышления, что от его старой метафизической ограниченности и формулировки ничего не осталось. Естествознание, признав наследственность приобретенных свойств, расширяет субъект опыта, делая им не индивида, а род; нет вовсе необходимости, чтобы отдельный индивид имел известный опыт; его частный опыт может быть до известной степени заменен результатами опытов ряда его предков. Если, например, среди нас математические аксиомы кажутся каждому восьмилетнему ребенку чем-то само собою разумеющимся, не нуждающимся в опытном доказательстве, то это является лишь результатом накопленной наследственности. Бушмену же или австралийскому негру их трудно втолковать путем доказательства.

В предлагаемом сочинении диалектика рассматривается как наука о наиболее общих законах всякого движения. Это означает, что законы ее должны иметь силу для движения как в области физической природы и человеческой истории, так и для движения мышления. Подобный закон можно установить в двух из этих трех областей и даже во всех трех, причем рутинер-метафизик даже не заметит, что дело здесь идет об одном и том же законе. Возьмем пример. Из всех теоретических успехов знания вряд ли какой оценивается так высоко, считаясь величайшим торжеством человеческого духа, как

открытие исчисления бесконечно-малых во второй половине XVII столетня. Здесь, кажется, скорее, чем где бы то ни было, мы имеем перед собой чистое и исключительное деяние человеческого духа. Тайна, окружающая еще и в наше время применяемые в исчислении бесконечно-малых величин диференциалы и бесконечные разных порядков, является лучшим доказательством того, что и поныне еще воображают, будто здесь имеют дело с чистыми, свободными творениями и созданиями человеческого духа, для которых нет ничего соответственного в объективном мире. Между тем справедливо как раз обратное. Мы встречаем для всех этих мнимых величин прообразы в природе.

Наша геометрия исходит из пространственных отношений, а наша арифметика и алгебра — из числовых величин, соответствующих нашим земным отношениям, т. е. соответствующих телесным величинам, которые механика называет массами, — массами, как они встречаются на земле и приводятся в движение людьми. По сравнению с этими массами масса земли кажется бесконечно великой и рассматривается земной механикой как бесконечно большая величина. Радпус земли = оо, таков принцип механики при рассмотрении закона падения. Но не только земля, а и вся солнечная система и все встречающиеся в ней расстояния оказываются, с своей стороны, бесконечно малыми, как только мы начинаем интересоваться наблюдаемой в телескоп звездной системой, расстояния в которой приходится определять уже световыми годами. Таким образом, мы имеем здесь перед собой бесконечные величины не только первого, но и второго порядка, и можем предоставить фантазии наших читателей — если им это нравится — построить себе дальнейшие бесконечные величины высших порядков в бесконечном пространстве.

Но, согласно господствующим теперь в физике и химии взглядам, земные массы, тела, служащие объектами механики, состоят из молекул, из мельчайших частиц, которых нельзя делить дальше, не уничтожая физического и химического тожества рассматриваемого тела. Согласно вычислениям В. Томсона, диаметр наименьшей из этих молекул не может быть меньше одной пятидесятимиллионной доли миллиметра. Допустим также, что наибольшая молекула имеет диаметр в одну двадцатипятимиллионную долю миллиметра. В таком случае это все еще ничтожно малая величина по сравнению с теми наименьшими массами, с которыми оперируют механика, физика и даже химия. Между тем она обладает всеми присущими соответственной массе свойствами; она может замещать в физическом и химическом отношении эту массу и, действительно, замещает ее во всех химических уравнениях. Короче говоря, она обладает по отношению к соответствующей массе теми же самыми свойствами, какими обладает математический диференциал по отношению к своей переменной, с той лишь разницей, что то, что в случае диференциала, в математической абстракции, кажется нам таинственным и непонятным, здесь становится само собою разумеющимся и, так сказать, очевидным.

Природа оперирует этими диференциалами, молекулами, точно таким же образом и по точно таким же законам, как математика оперирует своими абстрактными диференциалами. Так, например, диференциал от x3 будет 3x2dx, причем мы пренебрегаем 3xdx2 и dx3. Если мы сделаем соответственное геометрическое построение, то мы получим куб, длина стороны которого x, причем длина эта увеличивается на бесконечно-малую величину dx. Допустим, что этот куб состоит из какого-нибудь возгоночного вещества, скажем, из серы; допустим, что три прилегающие к одной вершине поверхности защищены, а другие три свободны. Поместим этот серный куб в атмосферу из серного газа и понизим температуру последней надлежащим образом; в таком случае серный газ начнет осаждаться на трех свободных гранях нашего куба. Мы не пойдем вразрез с опытными данными физики и химии, если, желая представить себе этот процесс в его чистом виде, мы допустим, что на каждой из этих трех граней осаждается

прежде всего слой толщиной в одну молекулу. Длина стороны куба x увеличилась на диаметр одной молекулы, на dx;. Объем же куба x3 увеличился на разницу между x3 и x3 + 3xrdx + + 3 xdx2 + dx3, причем мы, подобно математике и с тем же правом, можем пренебречь dx3, т. е. одной молекулой, и 3xdx2, тремя рядами линейно расположенных друг около друга молекул длиной в dx. Результат одинаков: приращение массы куба равно 3x2dx. <Строго говоря, у серного куба dx3 и 3xdx2 не бывает, ибо две или три молекулы не могут находиться в том же пространстве, и прирост его массы точно равен поэтому 3x2dx. Это находит себе объяснение в том, что в математике dx есть линейная величина, но таких линий, не имеющих толщины и ширины, в природе самостоятельно, как известно, не существует, а следовательно, математические абстракции только в чистой математике и имеют безусловную значимость. А так как и она пренебрегает 3xdx2 + dx3, то получается одно и то же.> То же самое можно сказать и об испарении. Если в стакане воды происходит испарение верхнего слоя молекул, то высота слоя воды уменьшается на dx, и продолжающееся улетучивание одного слоя молекул за другим фактически есть продолжающееся диференцированне. А если, под влиянием давления и охлаждения, пар в каком-нибудь сосуде сгущается, превращаясь в воду, и один слой молекул отлагается на другом (причем мы отвлекаемся от усложняющих процесс подобных обстоятельств), пока сосуд не заполнится, то перед нами здесь буквально происходит интегрирование, отличающееся от математического интегрирования лишь тем, что одно совершается сознательно, человеческой головой, а другое — бессознательно, природой. Но процессы, совершенно аналогичные процессам исчисления бесконечно-малых, происходят не только при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот. Химия разлагает молекулы на атомы, имеющие меньшую массу и протяженность, но представляющие величины того же порядка, что и первые, так что молекулы и атомы находятся в определенных, конечных отношениях друг к другу. Следовательно, все химические уравнения, выражающие молекулярный состав тел, представляют собой по форме диференциальные уравнения. Но в действительности они уже интегрированы благодаря фигурирующим в них атомным весам. Химия оперирует диференциалами, числовое взаимоотношение которых известно.

Но атомы не считаются чем-то простым, не считаются вообще мельчайшими известными нам частицами материи. Не говоря уже о химиках, которые все больше и больше склоняются к мнению, что атомы обладают сложным составом, большинство физиков утверждает, что мировой эфир, являющийся носителем световых и тепловых излучений, состоит тоже из дискретных частиц, столь малых, однако, что они относятся к химическим атомам и физическим молекулам так, как эти последние к механическим массам, т. е. относятся как d2x к dx. Здесь, таким образом, общераспространенное представление о строении материи тоже оперирует диференциалами второго порядка, и ничто не мешает человеку, которому бы это понравилось, вообразить себе, что в природе имеются еще аналогии d3x, d4x и т. д.

Но какого бы взгляда ни придерживаться относительно строения материи, факт тот, что она расчленена, представляя собою ряд больших, хорошо отграниченных групп относительной массовид-ности, так что члены каждой подобной группы находятся со стороны массы в определенных, конечных отношениях друг к другу, а к членам ближайших групп относятся как к бесконечно-большим или бесконечно-малым величинам в смысле математики. Видимая глазом система звезд, солнечная система, земные массы, молекулы и атомы, наконец, частицы эфира образуют каждая подобную группу. Дело не меняется оттого, что мы находим промежуточные звенья между отдельными группами; так, например, между массами солнечной системы и земными массами мы встречаем астероиды, — из которых некоторые не больше, скажем, княжества Рейсе младшей линии,— метеоры и т. д.; так, между земными массами и молекулами мы

встречаем в органическом мире клетку. Эти средние звенья показывают только, что в природе нет никаких скачков именно потому, что она состоит только из скачков.

Поскольку математика оперирует реальными величинами, она применяет спокойно эту точку зрения. Для земной механики масса земли является бесконечно великой; в астрономии земные массы и соответствующие им метеоры рассматриваются как бесконечно малые; точно так же расстояния и массы планет солнечной системы являются в глазах астрономии ничтожно малыми величинами, лишь только она оставляет пределы солнечной системы и начинает изучать строение нашей звездной системы. Но лишь только математика укроется в свою неприступную твердыню абстракции, так называемую чистую математику, все эти аналогии забываются; бесконечность становится чем-то совершенно таинственным, и тот способ, каким ею пользуются в анализе, начинает казаться чем-то совершенно непонятным, противоречащим всякому опыту и рассудку. Глупости и нелепости, которыми математики не столько объясняли, сколько извиняли этот свой метод, приводящий странным образом всегда к правильным результатам, превосходят худшие, реальные и мнимые, фантазии хотя бы гегелевской натурфилософии, о нелепостях которой математики не могут наговориться досыта. Они сами делают теперь — но в несравненно большем масштабе — то, в чем они упрекают Гегеля, именно доводят абстракции до крайности. Они забывают, что вся так называемая чистая математика занимается абстракциями, что все ее величины, строго говоря, мнимые величины и что все абстракции, доведенные до крайности, превращаются в бессмыслицу или в свою противоположность. Математическая бесконечность заимствована из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому она может быть объяснена только из действительности, а не из самой себя, не из математической абстракции. Но если мы станем исследовать действительность с этой стороны, то мы найдем, как мы видели, те реальные отношения, из которых заимствованы эти математические понятия о бесконечности, и даже естественные аналогии математической трактовки этих отношений. А этим и объясняется все дело. (Плохое изложение у Геккеля вопроса о тожестве мышления и бытия.) Но и противоречия между непрерывной и пре-рывной материей (Гегель).

b) О механическом естествознании.

Примечание 2 к стр. 46: Различные формы движения п рассматривающие их науки.

С тех пор как появилась эта статья («Vorwarts», 9 февр. 1877 г.), Кекуле («Die wissensch. Ziele u. Leistungen der Chemie») дал совершенно аналогичное определение механики, физики и химии: «Если положить в основу это представление о сущности материи, то химию можно будет определить как науку об атомах, а физику как науку о молекулах; в таком случае является мысль выделить ту часть современной физики, которая занимается массами, в особую дисциплину, оставив для нее название механики». Таким образом механика оказывается основой физики и химии, поскольку та и другая, при известной оценке и количественном учете своих молекул или атомов, должны рассматривать их как массы. Эта концепция отличается, как мы видим, от той, которая дана в тексте и в предыдущем примечании, только своей несколько меньшей определенностью. Но если один английский журнал («Nature») придал вышеприведенной мысли Кекуле такой вид, что механика, это — статика и динамика масс, физика — статика и динамика молекул, химия — статика и динамика атомов, то, по моему мнению, такое безусловное сведение даже химических процессов к чисто механическим сужает неподобающим образом поле химии. И, однако, оно стало столь модным, что, например, у Геккеля слова «механический» и «монистический» постоянно употребляются как равнозначащие и что, по его мнению, «современная физиология... дает в своей области место только

физическим, химическим или в широком смысле слова механическим силам» (Perigenesis).

Называя физику механикой молекул, химию — физикой атомов и, далее, биологию — химией белков, я желаю этим выразить переход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, а также различие, разрыв между обеими областями. Итти же дальше этого, называть химию своего рода механикой, по-моему, нерационально. Механика—в более широком или узком смысле слова— знает только количества, она оперирует скоростями и массами и, в лучшем случае, объемом. Там, где на пути у нее стоит качество, — как, например, в гидростатике и аэростатике,—она не может прийти к удовлетворительным результатам, не вдаваясь в рассмотрение молекулярных состояний и молекулярного движения; она сама—только простая вспомогательная наука, предпосылка физики. Но в физике, а еще более в химии, не только происходит постоянное качественное изменение в результате количественного изменения, не только наблюдается переход количества в качество, но приходится также рассматривать множество изменений качества, относительно которых совершенно не доказано, что они вызваны количественными изменениями. Можно охотно согласиться с тем, что современная наука движется в этом направлении, но это вовсе не доказывает, что это направление единственно правильное, что, идя этим путем, мы исчерпаем до конца физику и химию. Всякое движение заключает в себе механическое движение и перемещение больших или мельчайших частей материи; познать эти механические движения является первой задачей науки, однако лишь первой. Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движения вообще. Движение вовсе не есть простое перемещение, простое изменение места, в надмеханических областях оно является также и изменением качества. Мышление есть тоже движение. Открытие, что теплота представляет собой молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте, кроме того, что она представляет собою известное перемещение молекул, то лучше мне замолчать. Химия находится на пороге того, чтобы из отношения атомных объемов к атомным весам объяснить целый ряд химических и физических свойств элементов. Но ни один химик не решится утверждать, будто все свойства какого-нибудь элемента выражаются исчерпывающим образом его положением на кривой Лотара Мейера, что этим одним определяются, например, специфические свойства углерода, делающие его главным носителем органической жизни, или же необходимость фосфора в мозгу. Между тем механическая концепция сводится именно к этому; она объясняет всякие изменения из изменений места, все качественные различия из количественных и не замечает, что отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется взаимодействие. Если мы должны сводить все различия и изменения качества к количественным различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к тому положению, что вся материя состоит из тожественных мельчайших частиц и что все качественные различия химических элементов материи вызываются количественными различиями в числе и пространственной группировке этих мельчайших частиц при их объединении в атомы. Но до этого нам еще далеко.

Только незнакомство современных естествоиспытателей с иной философией, кроме той ординарнейшей, вульгарной философии, которая процветает ныне в немецких университетах, позволяет им опери-вать, таким образом, выражениями, вроде «механический», причем они не отдают себе отчета и даже не догадываются, какие из этого вытекают необходимые выводы. У теории абсолютной качественной тожественности материи свои приверженцы; эмпирически ее также нельзя опровергнуть, как и нельзя доказать. Но если спросить людей, желающих объяснить все «механическим

образом», сознают ли они неизбежность этого вывода и признают ли тожественность материи, то какие при этом получаются различные ответы!

Самое комичное, это—то, что приравнение «материалистического» и «механического» имеет своим родоначальником Гегеля, который хотел унизить материализм эпитетом «механический». Но дело в том, что критикуемый Гегелем материализм — французский материализм XVIII столетия — был действительно исключительно механическим, и по той простой причине, что физика, химия и биология были тогда еще в зачаточном состоянии, далеко не являясь основой общего мировоззрения. Точно так же у Гегеля заимствует Геккель перевод causae efficientes через «механически действующие причины» и causae finales — через «целестремительно действующие причины»; но Гегель понимает под словом «механический»—слепо, бессознательно действующий, а не механически действующий в смысле Геккеля. Но для самого Гегеля все это противоположение является чем-то устарелым, отжившим настолько, что он не упоминает о нем ни в одном из обоих своих изложений проблемы причинности в «Логике», упоминая о нем только в «Истории философии», где оно освещено в исторической перспективе (следовательно, полное непонимание его Геккелем благодаря поверхностному отношению!), и совершенно случайно при разборе вопроса о телеологии («Логика», II, 3), как о той форме, в которой старая метафизика рассматривала противоположность между механизмом и телеологией. Вообще же он рассматривает ее как давно уже преодоленную точку зрения. Таким образом, Геккель, в своем восторженном устремлении найти подтверждение своей «механической» концепции, просто неверно списал у Гегеля, добившись этим того замечательного результата, что если естественный отбор создает у того или другого животного или растения какое-нибудь определенное изменение, то это происходит благодаря causa efficiens; если же это самое изменение вызывается искусственным отбором, то это происходит благодаря causa finalis, и, значит, разводитель оказывается в роли causa finalis. Ясно, что диалектик калибра Гегеля не мог путаться в ограниченной противоположности между causa efficiens и causa finalis. С современной же точки зрения не трудно положить конец всей путанице и болтовне по поводу этой противоположности, указав на то, что, как мы знаем из опыта и теории, материя и способ ее существования, движение, несотворимы и, следовательно, являются своими конечными причинами. Если мы возьмем какую-нибудь отдельную причину, изолированную по времени и месту во взаимодействии мирового движения или изолируемую нашей мыслью, то мы не прибавим к ней никакого нового определения, а внесем только усложняющий и запутывающий момент, назвав ее действующей причиной. Причина, которая не действует, не есть вовсе причина.

NB. Материя, как таковая, это—чистое создание мысли и абстракция. Подводя вещи, рассматриваемые нами как телесно существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех качественных различий в них. Поэтому материя как таковая, в отличие от определенных существующих материй, не является чем-то чувственно существующим. Естествознание, стремящееся отыскать единую материю как таковую, стремящееся свести качественные различия к чисто количественным различиям состава тожественных мельчайших частиц, поступает так, как оно поступало бы, если бы вместо вишен, груш, яблок оно искало плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. искало млекопитающее как таковое, газ как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое соединение как таковое, движение как таковое. Теория Дарвина требует подобного млекопитающего, но Геккель должен в то же время признать, что если оно содержало в себе в зародыше всех будущих и современных млекопитающих, то в действительности оно стояло ниже всех современных млекопитающих и было совершенно грубым, а поэтому и было более преходящим, чем все они. Как доказал уже Гегель («Энциклопедия», I, 199), это воззрение, эта «односторонняя математическая точка

зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно исконно одинакова, является «именно точкой зрения» французского материализма XVIII столетня. Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, количественную определенность, как сущность вещей.

c) О неспособности Негели познать бесконечное.

Негели, стр. 12— 13 (C. v. Nageli, Die Schranken der naturwis-senschaftlichen Erkenntnis, September 1877).

Негели сперва заявляет, что мы не в состоянии познать реальных качественных различий, а вслед за этим сейчас же говорит, что подобные «абсолютные различия» не встречаются в природе! (Стр. 12.)

Во-первых, каждая качественная бесконечность представляет многочисленные количественные градации, например оттенки цветов, твердость и мягкость, долговечность и т. д., —и они, хотя качественно и различны, доступны измерению и познанию.

Во-вторых, не существует просто качеств, существуют только вещи, обладающие качествами, и притом бесконечно многими каче-вами. У двух различных вещей всегда имеются известные общие качества (по крайней мере, свойство телесности); другие качества отличаются между собой по степени; наконец, иные качества могут совершенно отсутствовать у одной из вещей. Если мы станем рассматривать такие две до крайности различные вещи,— например какой-нибудь метеорит и какого-нибудь человека,—то при этом мы добьемся немногого, в лучшем случае того, что обоим присуща тяжесть и другие телесные свойства. Но между обеими этими вещами можно вставить бесконечный ряд других естественных вещей и естественных процессов, позволяющих нам заполнить ряд от метеорита до человека и указать каждой ее место в природе и таким образом познать ее. С этим соглашается и сам Негели.

В-третьих, наши различные чувства могли бы доставлять нам -абсолютно различные в качественном отношении впечатления. В этом случае свойства, которые мы узнали бы при посредстве зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, были бы абсолютно различны. Но и здесь различия исчезают по мере успехов исследования. Давно уже признано, что обоняние и вкус являются родственными, связанными между собой чувствами, воспринимающими связанные между собой, если даже не тожественные, свойства; зрение и слух воспринимают колебания волн. Осязание и зрение так дополняют друг друга, что мы часто можем предсказать на основании вида какой-нибудь вещи ее тактильные свойства. Наконец, всегда одно и то же «я» воспринимает в себе все эти различные чувственные впечатления, собирая их в некое единство; точно так же эти различные впечатления доставляются одной и той же вещью, «являясь» общими, свойствами ее и давая таким образом возможность познать ее. Следовательно, задача объяснить эти различные, доступные лишь различным органам чувств, свойства, установить между ними связь, является задачей науки, которая до сих пор не имела основания жаловаться на то, что мы не имеем вместо пяти специальных чувств одного общего чувства или что мы неспособны видеть либо слышать запахов и вкусов.

Куда мы ни посмотрим, мы нигде не встречаем в природе подобных «качественно или абсолютно различных областей», о которых нам говорят, что они непонятны. Вся путаница происходит от спу-тывания качества и количества. Негели, стоя на господствующей механической точке зрения, считает объясненными все качественные различия лишь тогда, когда они могут быть сведены к количественным различиям (об

этом речь у нас будет в другом месте); для него качество и количество являются абсолютно различными категориями. Метафизика!

«Мы можем познавать только конечное и т. д.». Это совершенно верно лишь постольку, поскольку в сферу нашего познания попадают лишь конечные предметы. Но это положение нуждается в дополнении: «По существу мы можем познавать только бесконечное». Действительно, всякое реальное, исчерпывающее познание заключается лишь в том, что мы в мыслях извлекаем единичное из его единичности и переводим его в особенность, а из этой последней во всеобщность, — заключается в том, что мы находим бесконечное в конечном, вечное в преходящем. Но форма всеобщности есть форма в себе замкнутости, а следовательно, бесконечности; она есть соединение многих конечных вещей в бесконечное. Мы знаем, что хлор и водород, под действием света, соединяются при известных условиях температуры и давления в хлористоводородный газ, давая взрыв; раз мы это знаем, то мы знаем также, что это происходит, при вышеуказанных условиях, повсюду и всегда, и для нас совершенно безразлично, произойдет ли это один раз или повторится миллионы раз и на скольких планетах. Формой всеобщности в природе является закон, и никто не говорит так много о вечности законов природы, как естествоиспытатели. Поэтому если Негели говорит, что мы делаем конечное непонятным, если не ограничиваемся исследованием только этого конечного, а примешиваем к нему вечное, то он отрицает либо познаваемость законов природы, либо их вечность. Всякое истинное познание природы есть познание вечного, бесконечного, и поэтому оно по существу абсолютно.

Но у этого абсолютного познанпя есть своя серьезная заковыка. Подобно бесконечности познаваемого вещества, которое составляется из одних лишь конечностей, так и бесконечность абсолютного познающего мышления слагается из бесконечного количества конечных человеческих голов, которые одновременно или последовательно участвуют в этой бесконечной работе познания, совершают практические и теоретические промахи, исходят из неудачных, односторонних, неверных посылок, идут неверными, кривыми, ненадежными путями и часто даже не распознают истины, хотя и упираются в нее лбом (Пристли).

Поэтому познание бесконечного окружено двоякого рода трудностями и представляет по своей природе бесконечный асимптотический процесс. И этого для нас вполне достаточно, чтобы мы имели право сказать: бесконечность столь же познаваема, сколь и непознаваема, а это все, что нам нужно.

Комичным образом Негели заявляет то же самое: мы способны познавать только конечное, но зато мы можем познать все конечное, попадающее в сферу нашего чувственного восприятия. Конечное, попадающее в сферу и т. д., дает в сумме бесконечное, ибо Негели составляет себе свое представление о бесконечном именно на основании этой суммы. Без этого конечного и т. д. он не имел бы никакого представления о бесконечном.

(О дурной бесконечности, как таковой, поговорим в другом месте.)

*

(Перед этим исследованием бесконечности следует указать на следующее:)

1) «Небольшая область» — с точки зрения пространства и времени.

2) «Вероятно, недостаточное развитие органов чувств».

3) Что мы способны познавать только конечное, преходящее, изменяющееся и в различных степенях относительное (и т. д. до:) «мы не знаем, что такое время, пространство, сила и материя, движение и покой, причина и следствие».

Это старая история. Сперва сочиняют абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают познавать их чувственно, желают видеть время и обонять пространство. Эмпирик до того втягивается в привычный ему эмпирический опыт, что воображает себя все еще в области чувств, опыта даже тогда, когда он имеет дело с абстракциями. Мы знаем, что такое час, метр, но не знаем, что такое время и пространство! Точно время есть нечто иное, чем сумма часов, а пространство нечто иное, чем сумма кубических метров! Разумеется, обе формы существования материи без этой материи представляют ничто, только пустое представление, абстракцию, существующую только в нашей голове. Но мы неспособны познать, что такое материя и движение! Разумеется, неспособны, ибо материю, как таковую, и движение, как таковое, никто еще не видел и не испытал каким-нибудь иным образом; люди имеют дело только с различными реально существующими материями и формами движения. Вещество, материя— не что иное, как совокупность всех чувственно воспринимаемых форм движения; слова, вроде «материя» и «движение», это — просто сокращения, в которых мы резюмируем, согласно их общим свойствам, различные чувственно воспринимаемые вещи. Поэтому материю и движение можно познать лишь путем изучения отдельных форм вещества и движения; поскольку мы познаем последние, постольку мы познаем материю и движение как таковые. Поэтому, когда Негели говорит, что мы не знаем, что такое время, пространство, движение, причина и следствие, то он этим лишь утверждает, что мы при помощи своей головы сочиняем себе сперва абстракции, отвлекая их из реального мира, а затем — не в состоянии познать этих сочиненных нами абстракций, ибо они умственные, а не чувственные вещи, между тем как всякое познание есть чувственное измерение. Это — точь-в-точь как встречающаяся у Гегеля трудность, что мы в состоянии есть вишни, сливы, но не в состоянии есть плода, потому что никто еще не ел плода как такового.

*

Утверждение Негели, что в природе существует, вероятно, множество форм движения, которые мы не способны воспринять своими чувствами, представляет собой довольно «убогое оправдание»; оно равносильно,—по крайней мере, для нашего познания, — отказу от закона о несотворимости движения. Ведь эти невоспринимаемые формы движения могут превратиться в доступное нашему восприятию движение, так что мы, например, легко объясняем контактное электричество!

ВАРИАНТ ВВЕДЕНИЯ К «АНТИ-ДЮРИНГУ».

Современный социализм, несмотря на то, что по существу он возник из осознания царивших в наблюдаемом им обществе классовых противоречий между собственниками и неимущими, между рабочими и эксплоататорами,—в своей теоретической форме является прежде всего дальнейшим и более последовательным продолжением основных принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века, и его первые представители, Морелли и Мабли, недаром принадлежали к их числу.

Подобно всякой новой теории, он должен был исходить из уже имевшегося запаса идей, хотя корнями он был связан с материальными фактами.

Великие мужи, подготовившие во Франции умы для восприятия грядущей могучей революции, сами выступили в высшей степени революционно. Они не признавали никакого авторитета. Религия, взгляд на природу, государственный строй, общество, — все было подвергнуто беспощадной критике. Все должно было оправдать свое существование перед судилищем разума или же от своего существования отказаться. Мыслящий ум был признан единственным мерилом всех вещей. Это было время, когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голову, — сперва в том смысле, что человеческая голова потребовала, чтобы найденные умом положения были признаны также основой человеческого созерцания, действия, обобществления, а впоследствии и в том смысле, что, когда действительность была объявлена противоречащей этим положениям, все было перевернуто вверх дном. Все существовавшие дотоле государственные и общественные порядки, все унаследованные от прошлого воззрения были отвергнуты как неразумные и свалены в одну кучу. Мир в течение прошедших веков руководствовался нелепыми предрассудками; лишь теперь его озарил яркий свет разума, и все прошлое заслуживало лишь сострадания и презрения.

Теперь мы знаем, что это царство разума было не больше, как идеализированное царство буржуазии, что вечная справедливость, которая тогда была прокламирована, нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что разумное государство, Contrat Social Руссо, воплотилось в буржуазно-демократическую республику и ни во что другое воплотиться не могло. Великие мыслители XVIII века—как и мыслители всех предыдущих веков—не могли выйти из тех границ, которые им поставила их эпоха.

Но рядом с противоречиями между дворянством, монархией и буржуазией существовало общее противоречие между эксплоатато-рами и эксплуатируемы, между неимущими рабочими и богатыми бездельниками, и вот это давало представителям буржуазии возможность выступать в качестве представителей страждущего человечества. Ведь уже намечалась—не выдвигаясь покуда на первый план—противоположность между рабочими и капиталистами. Это заставляло отдельные выдающиеся умы углублять свою критику, требовать равенства не только политических прав, но и социального положения, добиваться уничтожения классовых противоречий. В Сен-Симоне оба направления скрестились; у французских аскетических коммунистов второе заняло доминирующее место. Через Оуэна оно, в тесной связи с французским материализмом, получило систематическое развитие в стране самого развитого капиталистического производства и порожденных им общественвых противоречий.

Это развитие с самого начала было отмечено этим противоречием. Т. Мюнцер, левеллеры, «Utopia», Томас Мор и т. д.

Новые преобразования общества опять строятся на вечных законах разума и справедливости, которые, однако, как небо от земли, отличаются от законов буржуазных просветителей. Мир, организованный «просвещенцем» и его принципами, тоже неразумен и несправедлив, а поэтому отвергается на-ряду со всеми прежними государственными и общественными порядками, причина же того, что истинный разум и истинная справедливость доселе не правили миром, заключается в том, что до сих пор они не были познаны. Нужно было появление одного гениального человека, который, наконец, пришел и познал их. Появление его не является необходимым звеном в цепи человеческого развития; оно—чистая случайность. Он мог бы точно так же родиться на 500 лет раньше, и тогда бы человечество страдало и заблуждалось на 500 лет меньше.

ИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К «АНТИ-ДЮРИНГУ».

«Единственным содержанием мышления являются мир и законы мышления».

* Общие результаты исследования мира обнаруживаются в конце этого исследования; итак, они являются не принципами, не исходными пунктами, а результатами, итогами. Получать эти результаты путем конструкции, производимой в уме, исходить из них, как из основы, а затем в уме реконструировать мир — значит придерживаться идеологии, той идеологии, которою до сих пор были заражены и все разновидности материализма, так как для них, конечно, было до некоторой степени ясно отношение мышления к бытию в природе, но неясно было это отношение в истории, зависимость мышления во всяком данном случае от исторически-материальных условий. Так как Дюринг исходит из «принципов», а не из фактов, то он является идеологом, и он может скрывать, что он идеолог, лишь выражая свои положения в столь общей и бессодержательной форме, что эти положения представляются аксиоматическими, плоскими, причем в таком случае из этих положений нельзя сделать никаких выводов, но можно лишь вложить в них произвольное значение. Например, хотя бы принцип единичного бытия. Единство мира и нелепость потустороннего бытия есть результат всего исследования мира, но здесь имеется в виду доказать его a priori, исходя из аксиомы мышления. Поэтому получается нелепость. Но без этого переворачивания невозможна точная философия.

Систематика с точки зрения Гегеля невозможна. Ясно, что мир образует единую систему, т. е. связное целое, по познание этой системы предполагает познание всей естественной истории, которого люди никогда не достигают. Итак, тот, кто строит системы, должен заполнять бесчисленное множество пробелов собственными измышлениями, т. е. иррационально фантазировать, быть идеологом.

Рациональная фантазия — alias — комбинация!

Вычисляющий рассудок — арифмометр! — Забавное смешение математических действий, допускающих материальное доказательство, проверку, так как они основаны на непосредственном материальном созерцании, хотя и абстрактном, с такими чисто логическими действиями, которые допускают лишь доказательство путем умозаключения и которым, следовательно, не свойственна положительная достоверность, присущая математичеким действиям, — а сколь многие из них оказываются ошибочными! Машина для <диферен-цирования> интегрирования, ср. Andrews, speech. <iNature». Sept. 7/76.1

Схема = шаблон.

Противоположность — если вещи <или понятию> присуща противоположность, то в ней, а также и в ее выражении в мысли, обнаруживается противоречие с самой собой. Например, в том, что вещь остается тою же самою и в то же время непрерывно изменяется, что она имеет в себе противоположность между «устойчивостью» и «изменением», заключается противоречие.

[Цель.]

Цель — в применении к истории: цель завоевания Константинополя турками заключалась в том, чтобы греческая литература распространилась в Европе; цель казни Людовика XVI заключалась в том, чтобы Блюхер побывал в Париже и т. д., где для каждого действия оказывается бесчисленное множество целей и ясно обнаруживается hysteron proteron.

[Приспособление растений.]

Дюрингиана. Дарвинизм, стр. 115. [«Курс философии».]

Приспособление растений представляет собой комбинацию физических сил или химических факторов, т. е. вовсе не приспособление. Если «растение во время своего роста выбирает путь, который дает ему максимум света», то оно делает это различным путем и различными способами, которые оказываются различными для различных растений. Но физические силы и химические факторы проявляются в каждом растении по-разному и способствуют тому, что растение, которое ведь есть нечто иное, чем эти «химические и физические и т. д.», получает необходимый для него свет тем путем, который выработался благодаря продолжительному предшествовавшему развитию. Этот свет действует как раздражение на клетки растения, и именно он вызывает в них, как реакцию, эти силы и факторы. Так как этот процесс совершается в органическом клеточном образовании и принимает форму раздражения и реакции на него, которая и здесь, как — при посредстве нервов — в человеческом мозгу, оказывается налицо, то и в том и в другом случае применимо одно и то же выражение, а именно: приспособление. Если же приспособление непременно должно происходить при посредстве сознания <или ощущенпя>, то где же начинаются сознание и приспособление и где они кончаются? У монеры, у насекомоядного растения, у гриба, у коралла в первом «нерве»? Дюринг доставил бы естествоиспытателям старого закала огромное удовольствие, если бы он указал границу. <Клеточки>. Раздражение протоплазмы и протоплазма. Реакция оказывается налицо всюду, где есть живая протоплазма. А так как благодаря действию медленно <друг за другом> изменяющихся раздражений протоплазма так же изменяется, чтобы не погибнуть, то ко всем органическим телам должно быть применимо одно и то же выражение, а именно приспособление1 [см. выше, стр. 69—72].

*Геккель по отношению к развитию видов рассматривает приспособление как отрицательный фактор, вызывающий изменения, а наследственность как положительный фактор, сохраняющий виды. Дюринг, наоборот, утверждает (стр. 122), что наследственность вызывает и отрицательные результаты, производит изменения. (При этом пустословие о преформировании.) Как и по отношению ко всяким противоположностям этого рода, чрезвычайно легко перевернуть их и показать, что, наоборот, приспособление, именно благодаря изменению формы, сохраняет существенное, самый орган, между тем как наследственность уже благодаря происходящему всякий раз совокуплению двух других индивидуумов всегда вызывает изменения, накопление которых не исключает изменения вида. Ведь при нем наследуются и результаты приспособления! Но при этом мы не подвигаемся ни на шаг вперед. Мы должны считаться с фактами и исследовать их, а при этом. конечно, оказывается, что Геккель совершенно прав, считая наследственность по существу консервативною, положительною, а приспособление—вызывающею революцию, отрицательною стороною <принципом> процесса. Приручение, разведение животных и растений и непроизвольное приспособление являются в данном случае более существенными аргументами, чем «тонкие истолкования» Дюринга [см. выше, стр. 70].

[Жизнь.]

* Дюринг, стр. 141.

Жизнь. За последние двадцать лет физиологические химики и химические физиологи х раз утверждали, что обмен веществ есть важнейшее явление жизни, и не раз определяли таким образом жизнь. Но это определение не точно и не полно. Мы наблюдаем обмен

веществ и при отсутствии жизни, например <между искусственными клетками Траубе и окружающею их средою> при простых химических процессах, которые при достаточном притоке сырых материалов всегда снова порождают свои собственные условия, причем носителем процесса является определенное тело (примеры см. Роско 102; 1 изтовление серной кислоты), при эндосмосе и экзосмосе (при прохождении жидкости через мертвые органические и даже неорганические перепонки), в искусственных клетках Траубе и в окружающей их среде. Таким образом, обмен веществ, которым хотят объяснить жизнь, сам требует более точного определения. Ввиду этого, несмотря на всякие глубокие обоснования, утонченные истолкования и тонкие исследования, мы все же не доходим до понимания сути дела и продолжаем спрашивать, что такое жизнь [см. выше, стр. 80—81].

*Определения не имеют значения для науки, потому что они всегда оказываются неудовлетворительными. Единственным реаль-вым определением оказывается развитие самой сути дела, и оно уже не есть определение. Для того, чтобы выяснить, что такое жизнь, мы должны исследовать все формы жизни и представить их в их взаимной связи. Но для практического применения краткое указание наиболее общих и в то же время наиболее характерных отличитель-лых признаков в так называемом определении часто бывает полезно и даже необходимо, и оно не может вредить, если только от него не требуют, чтобы оно давало больше, чем оно может выражать. Итак, попытаемся дать прямое определение жизни, которое старались дать столь многие (см. Никольсон).1

*<Повсюду, где имеется жизнь>. Жизнь есть форма существования белковых тел, и эта форма существования заключается по существу в постоянном обновлении их химических составных частей благодаря питанию и выделению [см. выше, стр. 81].

* Повсюду, где имеется жизнь, мы находим, что она связана с белковым телом, и повсюду, где имеется белковое тело, не находящееся в процессе разложения, мы встречаем явления жизни. Конечно, и наличие других химических элементов и соединений на-ряду с белком необходимо для того, чтобы вызвать характерные для этих явлений жизни процессы диференцирования; но для жизни самой по себе, в ее простейшей форме, они не необходимы, поскольку они не входят в состав пищи и не превращаются в белки. (Конечно, название «белковые тела» употреблено з десь в смысле современной химии, охватывающей этим названием все тела, в которых существенен белок.) Но в чем же заключаются эти <просгые> жизненные явления, одинаково встречающиеся повсюду? В том, что белковое тело извлекает из окружающей его среды другие вещества, ассимилирует их, между тем как другие, более старые части тела разлагаются и выделяются. Иные неживые тела также изменяются, разлагаются или соединяются, но при этом они перестают быть тем, чем они раньше были. То, что у них является причиной их гибели, является у белка основным условием существования. Лишь только в белковом теле прекращается это непрерывное превращение составных частей, оно само перестает существовать, разлагается, т. е. умирает. Жизнь, форма существования белкового тела, заключается, следовательно, прежде всего в том, что оно в каждое мгновение является и самим собою, и в то же время другим. Правда, и всякое другое тело, в котором совершается процесс, в большей или меньшей степени обладает вышеуказанным свойством, но другие процессы являются процессами низшего рода, и тела подвергаются им, а жизнь есть самопроизвольно совершающийся процесс, присущий, врожденный своему носителю — белку. А отсюда следует, что, если когда-нибудь химии удастся искусственно создать белок <из элементов (или из продуктов его разложения)>, этот белок должен будет обнаруживать явления жизни, как бы слабы они ни были. Другой вопрос, удастся ли химии одновременно с этим открыть и подходящую пищу для этого искусственного белка [см. выше, стр. 81 — 82].

* Из органического обмена веществ, как из существенной функции белка, и из свойственной ему пластичности выводятся затем все-прочие, простейшие функции жизни: раздражимость, заключающаяся уже во взаимодействии между белком и его пищей; сокращаемость, обнаруживающаяся при пожирании пищи; способность расти, заключающая в себе на низшей ступени (монера) размножение путем деления; внутреннее движение, без которого невозможны ни пожирание пищи, ни ассимиляция. Но лишь путем наблюдения можно выяснить, каким образом совершается процесс развития от простого пластического белка к клетке и, следовательно, к организации, и такое исследование не приурочено к простому практическому определению жизни. (Дюринг признает на стр. 141 еще целый промежуточный мир, так как без системы каналов, по которым совершается циркуляция веществ, и без «зародышевой схемы» нет подлинной. жизни. Это место превосходно.) [См. выше, стр. 82 — 83.]

[О роли идеи в истории.]

Взгляд, согласно которому идеями и представлениями людей созданы условия их жизни, а не наоборот, опровергается всей историей, в которой до сих пор всегда достигалось нечто иное, чем то, чего желали, а в дальнейшем ходе в большинстве случаев даже противоположное. Этот взгляд может соответствовать действительности лишь в более или менее отдаленном будущем, поскольку люди будут заранее знать необходимость изменения общественного строя (sit venia verbo), вызванного изменением отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет навязано им помимо их сознания и воли. Это применимо и к представлениям о праве, а следовательно и к политике (as far as that goes рассматривать эту политику с точки зрения «философии», — «насилие» остается для экономии).

[Материя и движение.]

* Движение есть форма существования материи, следовательно нечто большее, чем ее свойство. Не существовало и не может существовать материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение сравнительно небольших масс на отдельных мировых телах, молекулярные колебания в виде теплоты, электрическое напряжение, химическое разложение и соединение, органическая жизнь вплоть до ее высшего продукта, мышления, — каждый отдельный атом вещества находится в любой данный момент в той или иной из этих форм движения. Всякое равновесие или является лишь относительным покоем, или само оно, как при движении планет, представляет собой движение в равновесии. Абсолютный покой мыслим лишь там, где нет материи. Итак, нельзя отделять от материи ни движения как такового, ни какой-либо из его форм, например механической силы; нельзя противопоставлять материи движение как нечто особое, чуждое ей, не приходя к нелепым выводам [см. выше, стр. 60].

[Естественный отбор.]

Дюринг должен был бы радоваться тому, что существует естественный отбор, так как он все же представляет наилучший пример для иллюстрации его учения о бессознательных целях — средствах. Если Дарвин исследует ту форму, естественный отбор, в которой совершается медленное изменение, то Дюринг требует, чтобы Дарвин указал также причину изменения, относительно которой господину Дюрингу также ничего неизвестно. Как бы ни развивалась наука, господин Дюринг всегда скажет, что еще чего-то недостает, и таким образом у него окажется достаточное основание для того, чтобы быть недовольным [см. выше, стр. 70].

[Личность Дарвина.]

Сколь великим по сравнению с хвастливым Дюрингом, который сам ничего не сделал, но пренебрежительно относится к тому, что сделали другие, и который...1 представляется чрезвычайно скромный Дарвин, который не только сопоставляет, группирует и подвергает обработке множество фактов из всей биологии, но и с удовольствием упоминает о каждом из своих предшественников, как бы незначителен он ни был, даже и тогда, когда это умаляет его собственную славу.

[Дюринг—Экономия—Две личности.]

Пока речь идет о морали, Дюринг может считать ее одинаковой, но это перестает быть возможным, как только речь заходит об экономии. Если, например, этими двумя личностями оказываются янки, broken into all trades (на все способный), и берлинский студент, у которого нет ничего кроме аттестата об окончании курса и философии действительности, а также рук, принципиально никогда не упражнявшихся в фехтовании, которое сделало бы их сильными, то разве можно говорить о равенстве? Янки производит все, студент лишь изредка помогает, распределение же производится соответственно сделанному каждым, и вскоре янки будет в состоянии капиталистически эксплоатировать возрастающее (благодаря рождению детей или благодаря прибытию новых колонистов) население колонии. Итак, две личности легко могут послужить исходным пунктом развития всего современного строя, капиталистического производства, причем ни одной из них не приходится прибегать к шпаге.

* Точно такой же результат получается уже и при рассмотрении морали и права. После того как Дюринг устранил всякое действительное неравенство и все причины неравенства, он может приравнивать друг другу свои две личности как людей и их воли как лишь человеческие. Но в действительности люди, как таковые, и их воли неравны. Более умный и более энергичный из них навяжет свою волю более глупому и более вялому сперва убеждением, затем по привычке, под видом добровольного соглашения. Соблюдается ли форма добровольного соглашения или нет, рабство остается рабством. В очень многих случаях оно даже было прямо добровольным, например вступление в крепостное состояние в средние века. Когда в Пруссии была отменена крепостная зависимость крестьян, крестьяне посылали к королю петиции с просьбой не делать их несчастными, — ведь кто же позаботится о них в случае нужды, болезни и старости, если будет порвана их связь с милостивым господином? Таким образом, рабство может возникнуть и в том случае, если мы примем за исходный пункт существование двух людей, и оно может стать наследственным, так как мы должны их представлять себе как двух глав семейств, потому что иначе невозможно размножение [см. выше, стр. 100—101].

* Метод Дюринга состоит в том, чтобы разлагать каждую область познания на ее простейшие элементы и применять к этим элементам столь же простые аксиомы, «придерживаясь простой основной схемы, аксиоматически разрешать все вопросы». Но простейшею формою общества являются два человека: итак, основная схема дана. Спрашивается только: кто такие эти два человека? В действительности этими двумя личностями являются мужчина и женщина, образующие семью, простейшую первую форму обобществления. Но это не годится для Дюринга: итак, он предполагает двух мужчин, потому что они должны быть совершенно равны между собой, а при половом различии, существующем в семье, никоим образом не получилось бы равенства. Итак, общество заранее обречено на гибель, так как двое мужчин никогда не произведут на свет ребенка. Или же мы их должны представлять себе как двух глав семейств, и это все же

представляется наиболее рациональным; но в таком случае вся схема осложняется вопросом о пропитании и перестает быть простою [см. выше, стр. 96].

[Равенство и справедливость.]

Дюирингиана.

* Равенство — справедливость. Представление о том, что равенство есть выражение справедливости, принцип совершенного политического и социального строя, возникло вполне исторически. В первобытных обществах равенства не существовало, или оно существовало лишь с значительными ограничениями, для полноправного члена отдельной общины и не исключало существования рабства. То же самое приходится сказать и об античной демократии. Равенство всех людей, греков, римлян и варваров, свободных и рабов, уроженцев государства и иностранцев, граждан и клиентов и т. д. представлялось античным умам не только безумным, но и преступным, и с этой точки зрения было последовательно, что первоначальное выражение равенства всех людей в христианстве вызывало преследования. В христианстве впервые было выражено отрицательное равенство всех людей пред богом как грешников и в более строгом смысле равенство тех и других, искупленных благодатью и кровью Христа детей божиих. Как то, так и другое понимание вытекало из роли христианства как религии рабов, изгнанников, отверженных, гонимых, угнетенных. После победы христианства этот момент отступил на задний план, наиболее важной стала прежде всего противоположность между верующими и язычниками, правоверными и еретиками. Благодаря росту городов и вызванному им усилению более или менее развитых элементов как буржуазии, так и пролетариата, опять должно было выдвигаться требование равенства как условия буржуазного существования, а в связи с этим требованием и пролетарии начали связывать с политическим равенством социальное. Впервые — конечно, в религиозной форме — это требование было ясно выражено во время крестьянской войны. Буржуазная сторона требования равенства была впервые резко, но еще в виде общечеловеческого требования, формулирована Руссо. Как и при всех требованиях буржуазии, и в данном случае пролетариат, как тень, неизбежно следует за буржуазией и делает свои выводы (Бабеф). Следует точнее выяснить эту связь между буржуазным равенством и пролетарскими выводами.

* Итак, для выработки принципа равенство = справедливости понадобилась почти вся предшествующая история, и формулировать этот принцип удалось лишь тогда, когда уже существовали буржуазия и пролетариат. Но принцип равенства заключается в том, что не должно существовать никаких привилегий, следовательно он оказывается по существу отрицательным, в нем содержится утверждение, что вся предшествующая история плоха. Так как этот принцип лишен положительного содержания и так как он огульно отвергает все прошлое, он одинаково пригоден для того, чтобы быть провозглашенным в эпоху великой революции, 89 — 96, и для позднейших изготовителей поверхностных систем. Но выдавать равенство = справедливости за высший принцип и за последнюю истину нелепо. Равенство существует лишь в противоположности к неравенству, справедливость—лишь в противоположности к несправедливости; следовательно, в этих понятиях еще содержится противоположность по отношению ко всей предшествующей истории, следовательно само старое общество.

Уже в силу этого вышеупомянутые понятия не могут выражать вечной справедливости, истины. Через несколько <лет> поколений общественного развития при коммунистическом режиме и при увеличении количества вспомогательных средств люди должны будут дойти до того, что это настаивание на равенстве и праве будет казаться столь же смешным, как теперь настаивание на дворянских и т. п. наследственных

привилегиях. Противоположность как по отношению к старому неравенству и к старому положительному праву, так и по отношению к новому переходному праву исчезнет из практики; тому, кто будет настаивать на педантическом предоставлении ему причитающейся равной п справедливой доли продуктов, в насмешку выдадут двойную порцию. Даже Дюринг согласится с тем, что это можно «предвидеть», и не отойдут ли тогда равенство и справедливость в область исторических воспоминаний? Из того, что теперь подобные фразы весьма пригодны для агитации, еще вовсе не вытекает, что в них выражается вечная истина.

(Выяснить содержание равенства. Ограничение правами и т. д.)

Впрочем, еще и в настоящее время и для сравнительно далекого будущего абстрактная теория равенства оказывается нелепостью. Ни один соц[иалистический] пролетарий или теоретик не захочет до-пустить абстрактное равенство между собой и бушменом или уроженцем Огненной земли, или хотя бы даже крестьянином или полуфеодальным поденщиком; а как только это будет преодолено хотя бы в Европе, будет преодолена и абстрактная точка зрения равенства. При установлении действительного равенства само это равенство утрачивает всякое значение. Если теперь требуют равенства, то при этом предвосхищается само собой наступающее при нынешних теоретических отношениях умственное и нравственное выравнивание. Но вечная мораль должна была быть возможной во всякое время и повсеместно. Даже Дюринг не решается утверждать этого о равенстве; он, наоборот, допускает для переходного времени репрессию, признавая, следовательно, что равенство оказывается не вечной истиной, а историческим продуктом и отличительным признаком определенных исторических состояний.

* Буржуазное равенство (уничтожение классовых привилегий) весьма отличается от пролетарского равенства (уничтожения самих классов). Требование равенства, идущее дальше этого, т. е. абстрактно истолковываемое, становится нелепым. В конце концов и господин Дюринг вынужден вновь ввести через заднюю дверь насилие, вооруженное и административное, судебное и полицейское.

* Таким образом, представление о равенстве само оказывается историческим продуктом, для выработки которого необходима вся предшествующая история и которое, следовательно, не существовало как вечная истина. Если же в настоящее время оно представляется большинству людей в принципе чем-то само собою разумеющимся, то это объясняется не действием аксиоматической истинности, а распространением идей XVII1 века. Итак, если в настоящее время два пресловутых человека становятся на точку зрения равенства, то это вытекает из того, что приходится представлять себе их как образованных людей XIX века и что это для них «естественно». А как ведут и вели себя <два> действительных человека, всегда зависит от исторических условий, при которых они живут [см. выше, стр. 106].

[О «насилии».]

То, что насилие играет и революционную роль, и притом во все имеющие решающее значение «критические» эпохи, признано лишь по отношению к переходу к социалистическому строю и притом только в качестве вынужденной обороны от реакционных внешних врагов.

Но изображенный Марксом переворот, совершавшийся в XVI веке в Англии, имел и свою революционную сторону: он был необходимым условием превращения феодального землевладения в буржуазное и развития буржуазии. Французская революция 1789 года

также в значительной степени прибегала к насилию; 4-е августа лишь санкционировало насильственные действия крестьян и было дополнено конфискацией дворянских и церковных имуществ. Насильственное завоевание, произведенное германцами, основание на завоеванных землях государств, в которых господствовала деревня, а не город (как в древнем мире), сопровождалось—именно поэтому—превращением рабства в менее отяготительное крепостное право и в другие формы зависимости крестьян (в древнем мире латифундии сопровождались обращением пахотной земли в пастбища для скота).

[Общинная собственность и частная собственность.]

Когда индогерманцы переселились в Европу, они, прибегая к насилию, вытеснили первоначальных жителей и обрабатывали землю при общинном землевладении. Существование последнего еще можно исторически установить у кельтов, германцев и славян, а у славян, германцев и даже у кельтов (rundale) оно еще существует даже в форме прямой (Россия) или косвенной (Ирландия) зависимости крестьян. Насилие прекратилось, после того как были вытеснены лопари и баски. Внутри общины господствовало равенство, или возникали добровольно признаваемые привилегии. Там, где из общинной собственности возникла частная собственность отдельных крестьян на землю, этот раздел между членами общины происходил до XVI века совершенно добровольно, в большинстве случаев он совершался постепенно, и остатки общинного владения были весьма обычным явлением. О насилии не было речи, оно применялось лишь к остаткам (Англия XVIII и XIX, Германия главным образом XIX века). Ирландия представляет собой исключительный случай. Эта общинная собственность мирно существовала в Индии и в России при различнейших насильственных завоеваниях, и деспотии служили для нее основой. Россия является доказательством того, как производственные отношения обусловливают политические соотношения сил. До конца XVII века русский крестьянин не подвергался сильному угнетению, пользовался свободой передвижения, был почти независим. Первый Романов прикрепил крестьян к земле. Со времен Петра началась иностранная торговля России, которая могла вывозить лишь земледельческие продукты. Этим было вызвано угнетение крестьян, которое все возрастало по мере роста вывоза, ради которого оно происходило, пока Екатерина не сделала этого угнетения полным и не завершила законодательства. Но это законодательство позволяло помещикам все более и более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался.

[«Насилие» и способ производства.]

* Если насилие является причиною социальных и политических состояний, то что же является причиной насилия? Присвоение продуктов чужого труда и чужой рабочей силы. Насилие могло изменить потребление продуктов, но не самый способ производства, оно не могло превратить барщину в наемный труд, если не оказывалось налицо условий для этого и если форма крепостного труда не стала оковами для производства.

[Прекращение «насилия».]

До сих пор насилие — отныне социалистический строй. Чистое благое пожелание, требование «справедливости». Однако Т. Мор выдвинул это требование уже за 350 лет до настоящего времени, но оно все еще не выполнено. Почему же оно должно было бы быть осуществлено теперь? Дюринг не дает ответа. В действительности крупная промышленность выдвигает это требование не как требование справедливости, а как необходимость для производства, и это все изменяет.

[Война и производственные отношения.]

* И чем же поддерживается насилие, армия? Деньгами. Итак, опять-таки оказывается, что оно зависит от производства. Ср. афин-ский флот и политику 380 — 340 гг. Насилие по отношению к союзникам не удалось вследствие недостаточности материальных средств для того, чтобы энергично вести продолжительные воины. Английские субсидии, доставляемые новою, крупною промышленностью, победили Наполеона.

[Отрицание отрицания.]

* Несколько примеров для того, чтобы обнаружить всю возмутительность этого ужасного преступления. 1) Возьмем <зерно> ячменное зерно. Миллионы таких зерен употребляются в пищу или потребляются в виде пива. Но если ячменное зерно находит нормальные условия, при которых оно может завершить свой нормальный круговорот жизни, если оно попадает на благоприятную почву, то с ним происходит изменение; оно дает росток; зерно, как таковое, исчезает, отрицается; на место его появляется возникшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Он заключается в том, что само оно производит вновь < семена > ячменные семена, и как только последние созреют, растение отмирает, отрицается в свою очередь. Как результат этого отрицания мы имеем снова первоначальное ячменное зерно, но сам-десять, сам-двадцать или тридцать. Хлебные злаки изменяются крайне медленно, а поэтому качество зерен остается почти неизменным в историческую эпоху. Если же мы возьмем какое-нибудь пластическое декоративное растение, например далию, и будем воздействовать на семя, как делает искусный садовник, то, как результат этого «отрицания отрицания», мы получим не только большее количество семян, но и усовершенствованное семя, могущее производить более красивые цветы, и это усовершенствование подвигается вперед при каждом повторении этого процесса. Подобно тому, как с ячменным зерном, этот процесс совершается у многих животных, особенно у насекомых, которые только один раз совокупляются и, отложив яйца, умирают. Здесь нас не касается, что существуют такие растения и животные, которые не умирают, как только завершился процесс продолжения рода, и исследование вопроса о том, почему это происходит таким образом, завело бы нас слишком далеко. Достаточно показать, что отрицание отрицания действительно происходит в растительном и в животном царстве [см. выше, стр. 135]. Далее: возьмем любую алгебраическую величину, а. Если мы отрицаем ее, то мы получаем —а. Если же мы подвергаем отрицанию это отрицание, помножив —а на —а, то получим +а2, т. е. первоначальную положительную величину, но на более высокой ступени развития, а именно во второй степени. И в этом случае не имеет значения, что тот же результат может быть достигнут прямо, если мы умножим +а на +а и также получим +а2; ведь отрицание так прочно пребывает в +а2, что квадратный корень из +а2 равняется не только +а, но столь же необходимо и —а, и это получает весьма осязательное практическое значение в квадратных уравнениях 1 [см. выше, стр. 136]. Далее. Все индогерманские народы начинают с общественной собственности. Почти у всех народов общинная собственность отменяется, отрицается, вытесняется другими формами: частною собственностью, феодальною собственностью и т. д. Отрицание этого отрицания, восстановление общественной собственности на более высокой ступени развития составляет задачу социальной революции [см. выше, стр. 137—138]. Или: античная философия сперва представляла собой первоначальный материализм. Из него возникли идеализм, спиритуализм, отрицание материи, сперва в виде противоположности между душою и телом, затем в учении о бессмертии, которое [нашло свое выражение] в монотеизме. Благодаря христианству этот спиритуализм стал общераспространенным. Отрицание этого отрицания — воспроизведение старого на более высокой ступени [развития], современный материализм, который находит свое теоретическое завершение по отношению к прошлому в научном социализме [см. выше, стр. 138]. Итак, прежде чем изгнать отрицание отрицания из диалектики и из мышления, Дюринг будет вынужден

<новая биология> изгнать его из природы и из истории и изобрести такую математику, в которой —a X из +a2 не есть —a [см. выше, стр. 142].√—a не = +a2 и

<0тражение <«воспроизведение в мышлении»> таких естественных и исторических процессов в человеческом мозгу, следовательно, отрицание отрицания в диалектическом смысле>... Само собою разумеется, что эти естественные и исторические процессы отражаются в мыслящем мозгу и воспроизводятся <у мыслящего человека в форме мыслей. Для некоторых> в нем, как это обнаруживается в вышеприведенных примерах—ах—а и т. д., и именно высшие диалектические задачи разрешаются лишь благодаря применению этого метода.

Конечно, существует и плохое, бесплодное отрицание. Но истинное, естественное, историческое и диалектическое отрицание есть (формально) движущее начало всякого развития — разделение на противоположности, их борьба и разрешение, причем (в истории отчасти, в мышлении вполне) на основе проделанного опыта вновь достигается первоначальный исходный пункт, но на более высокой ступени. Этим бесплодным отрицанием является отрицание чисто субъективное, индивидуальное, представляющее собой не стадию развития сути дела, а извне вносимое мнение. А так как при нем ничего не может получиться, отрицающий, таким образом, должен быть недоволен миром, ворчливо хулить все существующее и все совершавшееся, все историческое развитие. Хотя древние греки кое-что сделали, но они не знали ни спектрального анализа, ни химии, ни диференциального исчисления, ни паровых машин, ни шоссейных дорог, ни электрического телеграфа, ни железных дорог. К чему же останавливаться на продуктах таких отсталых людей? Все дурно— постольку этого рода отрицатели являются пессимистами—до нашего величества, которое оказывается совершенным, так что, следовательно, наш пессимизм переходит в наш оптимизм. Итак, сами мы произвели отрицание отрицания.

Даже точка зрения Руссо на историю — первоначальное равенство—порча благодаря неравенству—установление равенства на более высокой ступени—есть отрицание отрицания1 [см. выше, стр. 138—139].

Дюринг постоянно проповедует идеализм — идеалистическую точку зрения. Если мы делаем из существующих отношений выводы относительно будущего, если мы постигаем и исследуем положительную сторону отрицательных элементов, проявляющихся в ходе истории, а это делает по-своему, как в высшей степени ограниченный прогрессист, даже идеалист Ласкер, то Дюринг называет это идеализмом, и поэтому он считает себя вправе рисовать картину будущего, в которой намечается даже школьный план и которая оказывается фантастической, ибо она основана на невежестве. Он упускает из виду, что при этом сам он производит отрицание отрицания.

[Отрицание отрицания и противоречие.]

«Ничто» чего-либо положительного, говорит Гегель, «есть определенное ничто». 2 «Диференциалы могут быть рассматриваемы как настоящие нули и быть принимаемы за настоящие нули, между которыми, однако, существует определенное отношение, вытекающее из постановки рассматриваемого именно в данном случае вопроса. Математически это не оказывается нелепостью», говорит Боссю. 3 Отношение 0/0 может иметь весьма различное значение, если оно получается благодаря одновременному исчезновению числителя и знаменателя. Также 0:0= A:B, где 0/0 = A/B, а следовательно изменяется с изменением значения A и B (стр. 95, примеры), и не заключается ли «противоречие» в том, что между нулями существуют отношения, т. е. они могут иметь не

только значение вообще, но и различные значения, которые можно выразить в числах? 1:2= 1:2; 1 — 1:2 — 2== = 1:2; 0 : 0 = 1: 2.

* Сам Дюринг говорит, что вышеупомянутые суммирования бесконечно малых величин — на обычном языке интегральное исчисление — представляют собой наивысшие операции в математике. Как производится этот род исчисления? У нас имеются две, три или более переменные величины, то есть такие величины, при изменении которых между ними обнаруживается определенное отношение. Например две [величины], x и y, и требуется разрешить определенную неразрешимую с помощью элементарной математики задачу, в которой функционируют x; и y. Я диференцирую x и y, т. е. принимаю их столь бесконечно малыми, что они исчезают по сравнению со сколь угодно малой действительной величиной, что от x и y не остается ничего, кроме взаимного их отношения, лишенного всякой материальной основы, следовательно $dx/dy = 0/0$, но это $0/0$ выражает собой отношение x/y. То, что это отношение двух исчезнувших величин, фиксированный момент их исчезновения, представляет собой противоречие, не может смущать нас. Итак, что же я сделал, как не то, что я подверг отрицанию x и y, но не в том смысле, что мне до них нет дела, а соответственно обстоятельствам дела. Вместо x и y я имею в данных формулах или уравнениях их отрицание. Затем я произвожу обычные действия с этими формулами, обращаюсь с dx и dy как с величинами действительными, и в известном пункте я отрицаю отрицание, т. е. интегрирую диференциальную формулу, вместо dx и dy получаю действительные величины x и y и тем самым не просто возвращаюсь к исходному пункту, но разрешаю задачу, которая не под силу элементарной геометрии и алгебре [см. выше, стр. 137].

* <Геоло[гия]> История земной коры представляет собой ряд подвергнутых отрицанию отрицаний, разрушений старых, и отложений новых слоев, которые в свою очередь большею частью разрушаются и уносятся морскими волнами, реками и движением ледников, уступая место новым отложениям.

* Но результат этого процесса положителен: образование почвы, составленной из разнообразнейших химических элементов, находящихся в состоянии механического раздробления, благоприятствующем обильной и весьма разнообразной растительности [см. выше, стр. 136].

[Отрицание в диалектике]

В диалектике <философии> отрицать не значит просто сказать «нет», или объявить вещь или представление несуществующими. Для каждой вещи, каждого отношения, каждого представления имеется, как выясняется из вышеприведенных примеров, особый ему свойственный способ отрицания. Если я говорю: роза есть роза, а затем отрицаю это положение, говоря: роза не есть роза, а затем отрицаю это отрицание, говоря: роза все-таки есть роза, то я, конечно, ничего нового не узнал. Повидимому, Дюринг разумеет под отрицанием и отрицание отрицания, именно эту ребяческую и скучную процедуру, и подсовывает ее нам. Уже Спиноза говорил: onmis determinatio est negatio [всякое определение есть отрицание], так что, следовательно, Дюринг должен был бы быть более осведомленным. Если Гегель называет этот совершающийся бессознательно в природе и сознательно в нашем мышлении процесс в его наиболее общей форме отрицанием отрицания, то Дюринг может негодовать по поводу этого выражения, но все же суть дела не изменяется от этого, и ему придется примириться с этим [см. выше, стр. 140—141].

[Реальность и абстракция.]

* С помощью положения о всеединственноcги всеобъемлющего бытия, под которым папа и шейх-уль-ислам могут подписаться, нисколько не отказываясь от своей непогрешимости и от религии, Дюринг так же не может доказать исключительную материальность всего бытия, как он не может построить треугольник или шар на основании какой бы то ни было математической аксиомы или вывести из нее теорему Пифагора. Для того и другого нужны реальные предварительные условия, и лишь путем исследования этих реальных предварительных условий можно достигнуть этих результатов. Уверенность в том, что кроме материального мира не существует еще особого духовного мира, есть результат продолжительного исследования реального мира, y compris продуктов и процедуры человеческого мозга. Результаты геометрии представляют собой не что иное, как естественные свойства различных линий, поверхностей и тел или же их комбинаций, большею частью встречавшихся уже в природе задолго до существования людей (радиолярии, насекомые, кристаллы и т. д).

[Военное обучение и партия.]

При рассмотрении борьбы за существование и декл[амаций Дюринга против борьбы и оружия следует выяснить необходимость того, чтобы революционная партия знала и борьбу: возможно, что ей когда-либо предстоит революция, но не против нынешнего военно-бюрократического государства, это политически было бы столь же безумно, как попытка Бабефа непосредственно перескочить от директории к коммунизму, и даже еще безумнее, так как директория все же представляла собой буржуазное и крестьянское правительство. Но для того, чтобы отстоять законы, изданные самою буржуазией, партия может оказаться вынужденной принять революционные меры против буржуазного государства, которое сменит нынешнее государство. Из этого вытекает в наше время всеобщая воинская повинность, и использовать ее для того, чтобы научиться борьбе, должны все, в особенности же те лица, которым их образование позволяет в качестве вольноопределяющихся получить в течение года военной службы военную подготовку, необходимую для того, чтобы быть офицером.

[Мышление и опыт.]

Все идеи заимствованы из опыта, отражения — верные или искаженные — действительности.

Два рода опыта—внешний, материальный, и внутренний,—законы мышления и формы мышления. И формы мышления отчасти унаследованы благодаря развитию (самоочевидность, например, математических аксиом для европейцев, но, конечно, не для бушменов и австралийских негров).

Если наши предпосылки верны и если мы правильно применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать действительности, точно так же как вычисление в аналитической геометрии должно соответствовать геометрическому построению, хотя то и другое являются совершенно различными методами. Но, к сожалению, этого почти никогда не бывает, или это достигается лишь в совершенно простых действиях.

Внешний мир в свою очередь есть или природа, или общество.

Уже верное отражение природы чрезвычайно трудно; оно оказывается продуктом продолжительной истории опыта. Силы природы представляются первобытному человеку чем-то чуждым, таинственным, подавляющим. На известной ступени, чрез которую проходят все культурные народы, он уподобляет их себе путем олицетворения. Именно

это стремление к олицетворению создало повсюду богов, и consensus gentium [согласие народов], на который ссылается доказательство бытия божия, доказывает именно лишь всеобщность этого стремления к олицетворению как необходимой переходной ступени, а следовательно и религии. Лишь действительное познание сил природы постепенно вытесняет богов или бога отовсюду (Секки и его солнечная система). В настоящее время этот процесс настолько подвинулся вперед, что теоретически его можно считать законченным.

В сфере общественных явлений отражение еще более трудно. Общество определяется экономическими отношениями, производством и обменом, вместе с историческими предварительными условиями.

[Вариант введения к Анти-Дюрингу».]

* Этого воззрения по существу держались все английские, французские и первые немецкие социалисты, в том числе Вейтлинг. Социализм является выражением абсолютного разума, истины и справедливости, и нужно только открыть его, чтобы покорить мир; чистой случайностью представляется, когда именно он открыт. При этом абсолютный разум, истина и справедливость оказываются различными у каждого основателя школы (ср. Оуэн, Фурье, сен-симонисты, Луи Блан, Прудон, Пьер Леру, Вейтлинг), а так как критерием истины и справедливости являются именно субъективный склад ума и субъективное количество познаний и тренировка мышления, то единственным возможным решением оказывается то, что противоречия между ними сглаживаются при их взаимном соприкосновении. Для того, чтобы сделать из социализма науку, нужно было поставить его на реальную, прочную, незыблемую основу. И это было сделано Марксом [см. выше, стр. 19].

<Как социализм XVIII века> Между тем рядом с французской философией XVIII века а вслед за ней возникла новейшая немецкая философия, нашедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой было возвращение к диалектике как к высшей форме мышления. Древние греческие философы были все прирожденными стихийными диалектиками, и Аристотель, Гегель древнего мира, уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления. Хотя и в новой философии диалектика имела блестящих представителей (в лице, например, Декарта и Спинозы), но <она достигла> она, наоборот, особенно под английским влиянием, усвоила себе метафизический образ мышления, господствовавший и среди французов XVIII века. Метафизическое мышление рассматривает вещи и их умственные отражения, понятия, в их обособленности одно за другим и без другого, как постоянные, неподвижные, раз навсегда данные предметы исследования. Вещь или существует, или не существует; вещь не может быть самой собой и в то же время чем-нибудь другим. Этот способ мышления, представляющийся на первый взгляд правдоподобным, был свойственен метафизике. Наоборот, диалектика не удовлетворяется этим, но рассматривает вещи и понятия в их связи, в их взаимном соотношении, в их взаимодействии и в обусловливаемом этим взаимодействием изменении, в их возникновении, развитии и исчезновении. А так как вещи не существуют в мире обособленно, но соприкасаются друг с другом, воздействуют одна на другую, изменяются, возникают и исчезают, то легко понять, что хотя метафизическое мышление вполне правомерно в известных, весьма обширных, но все же более или менее ограниченных областях, протяжение которых обусловливается природой данного в каждом случае исследования, оно все же рано или поздно достигает в каждой области предела, за которым оно становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, разрешить которые можно лишь с помощью диалектики. Например для случаев, представляющихся в обыденной жизни, мы

знаем, существует ли данное животное или нет; но при более точном исследовании оказывается, что абсолютно невозможно установить, когда оно начинает существовать. Это известно юристам,—они тщетно пытались установить границу, за которой умерщвление человеческого зародыша является убийством (и точно так же невозможно установить момент физиологической смерти, которая оказывается продолжительным процессом, со многими стадиями, как можно прочесть в любом учебнике физиологии). Точно так же всякое органическое существо в каждое мгновение таково же [каким оно было в предыдущее] и вместе с тем не таково; в каждое мгновение вымирают клеточки и образуются новые, так что индивидуум всегда оказывается тем же самым и, однако, в то же время иным. Итак, точное представление о вселенной, об ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может выработаться лишь диалектическим путем, только принимая постоянно в соображение общее взаимодействие между возникновением и исчезновением, между прогрессивными и регрессивными изменениями. На такую точку зрения стала новейшая философия. Кант обратил неизменную солнечную систему, которую предполагал Ньютон, и вечное — с тех пор как был дан первый толчок — пребывание этой системы в исторический процесс возникновения солнца и всех планет из первоначальной туманной массы, а через пятьдесят лет после этого Лаплас математически формулировал выводы из этой гипотезы во всех деталях, и теперь она принята всеми естествоиспытателями. Гегель завершил эту философию, создав систему, в которой весь естественный, исторический и духовный мир был впервые представлен как процесс, т. е. в непрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии. С этой точки зрения история человечества перестала казаться нелепым сплетением бессмысленных насилий, которые представляются одинаково неприемлемыми для созревшего теперь разума философов и которые лучше всего как можно скорее забыть при воссиявшем теперь свете вечной истины; но эта история явилась процессом развития самого человечества, и задачей философии стали выяснение этого процесса постепенного развития при всех его блужданиях и обнаружение его внутренней закономерности при всех кажущихся случайностях [см.выше, стр. 10].

Здесь безразлично, разрешил ли Гегель эту задачу. Его заслуга заключалась в том, что он поставил ее. Но он и не мог разрешить ее, потому что он был идеалист, т. е. не мысли казались ему отражениями вещей, а, наоборот, вещи и их развитие представлялись ему лишь воплощенными отражениями «идеи», существовавшей где-то уже до сотворения мира. То, что системе Гегеля не удалось разрешить поста- вленную задачу, объясняется этим и субъективною ограниченностью творца этой системы [см. выше, стр. 24].

Гегелевская система была последнею, наиболее совершенною формою философии, поскольку философия считается особою наукою, стоящею выше всех других наук. В ней потерпела крушение вся философия. Однако остались диалектический обзор мышления и понимание естественного, исторического и <духовного> умственного мира как беспрестанно движущегося, изменяющегося, подверженного непрерывному процессу возникновения и исчезновения. Теперь не только к философии, но и ко всем наукам было предъявлено требование, чтобы каждая из них выясняла в своей особой области законы движения этого непрерывного процесса преобразования. И в этом заключается наследие, оставленное гегелевской философией ее преемникам.

Между тем развитие капиталистического производства подвигалось вперед гигантскими шагами, особенно на его ближайшей родине, в Англии. Антагонизм между буржуа и пролетариями становится все более и более резким, чартистское движение достигло в 1842 г. своего кульминационного пункта, факты все с большею и большею наглядностью доказывали лживость учений буржуазной экономии. Во Франции лионское восстание в 1835 г.[1] также провозгласило борьбу пролетариата против буржуазии. Английские и

французские социалистические теории имели историческое значение и должны были вызвать отклик и критику и в Германии, хотя там еще только начинало развиваться крупное производство. Итак, теоретическому социализму, который развивался тогда не столько в Германии, как среди немцев, пришлось импортировать весь свой материал — фактический...1

II.

[Вторая часть рукописи представляет собой выдержку из курса политической и социальной экономии Дюринга. Мы воспроизводим более или менее длинные замечания, сделанные Энгельсом на полях, указывая всякий раз, к каким рассуждениям Дюринга они относятся.]

*

[По поводу утверждения Дюринга (стр. 1), что политика, как выявление человеческой воли, подлежит действию естественных законов, Энгельс замечает:]

Итак, ни слова об историческом развитии. Лишь вечный закон природы. Все сводится к психологии, которая, к сожалению, оказывается еще гораздо более «отсталой», чем политика.

[В непосредственной связи с рассуждениями Дюринга (стр. 4—5> о насильственной собственности как о чисто политической форме отношений Энгельс пишет:]

Все еще выражается уверенность, что в экономии имеют силу лишь вечные естественные законы, что все изменения и искажения вызваны лишь скверной политикой.

[И он делает по поводу этого следующее замечание:]

Итак, во всей теории насилия верным оказывается лишь то, что до сих пор все <социальные яв[ления]> общественные формы нуждались для своего сохранения в насилии и даже отчасти были установлены путем насилия. Это насилие в его организованной форме называется государством. Итак, здесь выражена та банальная мысль, что, с тех пор как человек вышел из дикого состояния, повсюду существовали государства, но человечество знало это и до Дюринга. Но государство и насилие представляют собой именно то, что есть общего во всех до сих пор существовавших общественных формах, и если я, например, объясняю восточные деспотии, античные республики, македонские монархии, Римскую империю, феодализм средних веков тем, что все они были основаны на насилии, то я еще ничего не объяснил. Итак, различные социальные и политические формы должны быть объясняемы не насилием, которое ведь всегда остается одним и тем же, а тем, к чему насилие применяется, что является объектом грабежа.—продуктами и производительными силами каждой эпохи и вытекающим из них самих их распределением. И тогда оказалось бы, что восточный деспотизм был основан на общинном землевладении, античные республики—на городах, занимавшихся земледелием, Римская империя—на латифундиях, феодализм — на господстве деревни над городом, и для всего имелись экономические основания и т. д.

[К указаниям Дюринга (стр. 5) относительно того, как выяснить «естественные законы хозяйства», относятся следующие замечания, находящиеся на довольно большом расстоянии одно от другого.]

Итак, естественные законы хозяйства можно открыть, лишь отрешившись от всего до сих пор существовавшего хозяйства; до сих пор они никогда не проявлялись в неискаженном виде! Неизменная природа человека —от обезьяны до Гете!

Дюринг имеет в виду объяснить этой теорией «насилия», почему до сих пор большинство состояло из подвергавшихся насилию, а меньшинство из прибегавших к насилию. Это уже само по себе доказывает, что отношение насилия основано на экономических условиях, которые нельзя так просто устранить политическими мерами.

У Дюринга рента, прибыль, процент, заработная плата не объясняются, но он утверждает, что они установлены насилием. Но откуда же берется насилие? Non est, насилие порождает обладание, и обладание = экономической мощи. Птак, насилие = мощи.

* Маркс доказал в «Капитале» (Накопление), что на известной ступени развития законы товарного производства неизбежно вызывают возникновение капиталистического производства со всеми его мошенничествами и что для этого нет надобности в насилии [см. выше, стр. 165 — 166].

* Если Дюринг считает политическое действие последнею решающею силою истории и выдает это за нечто новое, то он лишь повторяет то, что говорили все прежние историки, с точки зрения которых социальные формы также объясняются исключительно политическими силами, а не производством [см. выше, стр. 161—162].

* C'est trop bon! Вся фритредерская школа, начиная от Смита, все экономические учения до Маркса в экономических законах, поскольку они понимают их, усматривают «естественные законы» и утверждают, что действие их искажается государством, «действием государственных и общественных учреждений»!

Впрочем, вся эта теория является лишь попыткой обосновать социализм на учении Кэри: экономия сама по себе гармонична,— государство портит все своим вмешательством.

Дополнением к насилию является вечная справедливость: она появляется на стр. 282.

[Энгельс критикует рассуждения Дюринга (стр. 10) о точке зрения Смита, Рикардо и Кэри и об ее отношении к его собственному мнению о производстве и распределении и замечает:]

Итак, сперва выводят из действительной истории путем отвлечения различные правовые отношения и отделяют их от исторической основы, на которой они возникли и на которой они только и имеют смысл, и переносят их на две личности — Робинзона и Пятницу, где они, конечно, кажутся совершенно произвольными. А сведя таким образом эти отношения к чистому насилию, их затем опять переносят в действительную историю и доказывают таким образом, что и здесь все основано на сплошном насилии. Дюринг не обращает внимания на то, что насилие должно применяться к материальному субстрату и что нужно именно выяснить, почему это произошло.

[Относительно теории распределения и отношения распределения к насилию (стр. 10—11) Энгельс замечает:]

Итак, нельзя ограничиться исследованием распределения текущего производства. Земельная рента предполагает землевладение, прибыль, капитал, заработную плату, ничем не владеющих рабочих, обладателей одной лишь рабочей силы. Итак, следует выяснить, чем это вызвано. Поскольку это его касалось, Маркс сделал это в I томе; исследование происхождения современного землевладения относится к исследованию земельной ренты, следовательно к его II тому. У Дюринга исследование и историческое обоснование ограничиваются одним словом насилие! Здесь уже прямая mala fides.

* Итак, насилие создает экономические, политические и т. п. условия жизни эпохи, народа и т. д. Но кто производит насилие? Организованной силой является прежде всего армия. Ничто не зависит до такой степени от экономических условий, как именно состав, организация, вооружение, стратегия и тактика армии. Основа—вооружение, а последнее опять-таки непосредственно зависит от ступени [развития] производства. Камень, бронза, железное оружие, панцырь, конница, порох и, наконец, огромный переворот, произведенный в военном деле крупною промышленностью благодаря нарезным ружьям, заряжающимся с казенной части, и артиллерии— продуктам, изготовлять которые могла лишь крупная промышленность с ее машинами, равномерно работающими и производящими почти абсолютно тождественные продукты. От вооружения в свою очередь зависят состав и организация, стратегия и тактика. Последняя зависит и от состояния путей сообщений—расположение войск и успехи, достигнутые в битве при Иене, невозможны при нынешних шоссейных дорогах, — и, наконец, железная дорога! Итак, именно сила всего более зависит от наличных условий производства, и это понял даже капитан Иенс (K[olnische] Z[eitung], Macchiavelli)1 [см. выше, стр. 174].

При этом следует обратить особое внимание на современное ведение войны от ружья со штыком до ружья, заряжающегося с казенной части, при котором действует не человек с саблей, а оружие: линия, колонна при плохих войсках, но прикрытая стрелками (Iena contra Wellington), и, наконец, всеобщее распадение на стрелковые цепи и замена медленного шага беглым шагом 2.

[Следующие, лишь отчасти исписанные страницы представляют собой выдержки в виде заглавий, относящиеся к мнениям Дюринга о социализме. В частности они относятся (мы придерживаемся распределения, данного у Энгельса) к половым отношениям, будущему государственному строю, распределению, школе, отмене культа, переходному периоду, семье, разделению труда, деньгам и цене.

Относительно этого последнего пункта Энгельс делает о хозяйственной коммуне Дюринга и о господствующей в ней денежной системе (стр. 278 и сл.) следующее замечание:]

* Следовательно, и вознаграждение отдельного рабочего обществом.

Следовательно, и накопление сокровищ, ростовщичество, кредит и все последствия, в том числе денежные кризисы и безденежье. Деньги вызывают разложение хозяйственной коммуны столь же неизбежно, как они вызывают в настоящее время и разложение русской общины и семейной общины, раз при их посредстве совершаются меновые сделки отдельных членов.

[Энгельс резюмирует взгляды Дюринга на роль потребления в хозяйственном процессе и делает по поводу их следующие критические замечания:]

Но и потребление или скорее «понятие» о нем «может иметь очень большое значение, если его сразу выдвинут на передний план и придадут ему главное значение в системе, вместо того чтобы отодвигать его на задний план» (стр. 13). (Итак, благодаря этому упраздняется все сказанное прежде.) Следует ряд общих мест, которые можно найти у всех прежних социалистов и с которыми освоилось даже обыд[енное] филистерское сознание, относительно того, что на более высокой ступени развития общества возникнут и более сложные потребности и что в обществе, в котором существуют классовые противоречия, потребление богатыми предметов роскоши принимает, при обострении противоречий, карикатурный характер и становится вредным для них самих (стр. 13— 15). Одним словом, вновь подтверждается то, что было сказано на стр. 8 об учении Сэя о потреблении, а именно, что этому учению пришлось ограничиться несколькими мало содержательными замечаниями относительно роскоши и непроизводительных расходов и невольно повсюду играть роль совершенно излишнего добавления или дополнения, не стоящего в связи с предыдущим. «Но нет, в заключение оказывается, что действительный труд в какой-либо форме является, следовательно, социальным естественным законом здоровых форм (итак, все прежние формы нездоровы)... Этот естественный закон равновесия между трудом и потреблением... является критерием жизненности различных общественных элементов;1 он обрекает одни элементы на увядание и выдвигает другие, чтобы влить свежую кровь в жилы народных организмов и способствовать тому, чтобы народы достигали более высоких ступеней цивилизации».

[По поводу вышеприведенных рассуждений Дюринга об отношении между трудом и потреблением Энгельс замечает:]

Или труд рассматривается здесь как экономический, материально производительный труд, и в таком случае эта фраза бессмысленна и не применима ко всей предшествующей истории. Или труд рассматривается в более общей форме, причем под ним разумеется всякого рода нужная или пригодная в какой-либо период деятельность, управление, судопроизводство, военные упражнения, и в таком случае эта фраза опять-таки оказывается совершенно бессодержательным общим местом и неуместна в экономии. Но желать импонировать этим старым хламом социалистам, называя его «есте-ственным законом», есть нечто a trifle impudent (несколько бесстыдное).

[Дюринг выражает на стр. 16—17 связь между грабежом и богатством в их отношении к распределению, и Энгельс замечает по поводу этого :]

Здесь обнаруживается весь метод. Всякое экономическое отношение сперва рассматривается с точки зрения производства, причем совершенно не принимаются во внимание исторические определения. Поэтому нельзя сказать ничего кроме общих фраз, и если Дюринг желает пойти далее этого, то ему приходится принять в расчет определенные исторические отношения данной эпохи, т. е. выйти из-сферы абстрактного производства и прейти к смешению понятий. Затем то же самое экономическое отношение рассматривается с точки зрения распределения, т. е. совершавшийся до сих пор исторический процесс сводится к фразе насалие, и затем выражается негодование по поводу печальных последствий насилия. Мы увидим при рассмотрении естественных законов, к чему это приводит.

[Дюринг утверждает на стр. 18, что для обработки земельной собственности в больших разумах необходимо «рабство» или «крепостная зависимость». По поводу этого Энгельс замечает:

Итак, всемирная история начинается с крупного землевладения. Обработка на больших участках земли тожественна с обработкой земли крупными землевладельцами! Почва Италии, обращенная благодаря латифундиям в пастбища, оставалась до тех пор невозделанной! Северные американские штаты обязаны своим огромным ростом не свободным крестьянам, а рабам, крепостным и т. д. Опять mauvais calembour: «ведение хозяйства на больших участках земли» должно означать обработку этих участков, но тотчас же истолковывается как ведение хозяйства в больших размерах = крупное землевладение! И в этом смысле какое изумительно новое открытие, что если кто-либо владеет таким количеством земли, что он и его семья не в состоянии обработать ее, он не может обработать всей принадлежащей ему земли без применения чужого труда! Ведь ведение хозяйства при посредстве крепостных крестьян означает обработку вовсе не более или менее крупных, а именно мелких участков земли, и обработка предшествовала крепостной зависимости (Россия, флам[анд]-ские, голландские и фризские колонии в славянской марке, см. Langethal1); первоначально свободные крестьяне обращаются в крепостных, а в иных местах даже формально добровольно становятся крепостными.

[На стр.20 Дюринг утверждает, что стоимость зависит от величины усилия при преодолении естественного сопротивления при удовлетворении потребностей. По поводу этого Энгельс замечает:]

Преодоление сопротивления заимствовано из математической механики. Эта категория становится нелепой в экономии. В таком случае выражения: я пряду, тку, белю, набиваю хлопчатую бумагу, означают: я преодолеваю сопротивление хлопчатой бумаги процессу прядения, сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани процессу беления и набивания. Я изготовляю паровую машину—означает: я преодолеваю сопротивление, оказываемое железом превращению в паровую машину. Я выражаю суть дела в иносказательных и высокопарных фразах, благодаря которым не получается ничего кроме неточности. Но благодаря этому я могу ввести распре-делительную стоимость, при которой также будто бы приходится преодолевать сопротивление. В этом-то и дело!

[На стр. 27 Дюринг говорит, что распределительная стоимость существует лишь там, где право располагать неизготовленными вещами обменивается на производственные стоимости. Энгельс замечает:]

Что означает неизготовленная вещь? Землю, обрабатываемую с применением современных приемов? Или это выражение должно означать вещи, не изготовленные самим собственником? Но ей противополагается «действительная производственная стоимость». Следующая фраза показывает, что мы имеем опять-таки дело с mauvais calembour'ом. Предметы природы, которые не изготовляются, смешиваются с «составными частями стоимости, присваиваемыми безвозмездно».

[Дюринг утверждает (стр. 60 и сл.), что все человеческие учреждения обусловлены, но не «практически неизменны». Нелепо допускать произвольность и беспорядочность в человеческих отношениях. По поводу этого Энгельс замечает:]

Итак, этот естественный закон и остается естественным законом. Ни слова о том, что до сих пор во всем непланомерном и бессвязном производстве законы экономии

противостоят людям как объективные законы, по отношению к которым они бессильны, следовательно в форме естественных законов.

[На стр. 63 Дюринг формулирует свой основной закон всей экономии. Этот закон гласит:

«Производительность средств, служащих для хозяйства, а именно сил природы и силы человека, увеличивается благодаря изобретениям и открытиям, причем это совершается таким образом, что можно оставить совершенно в стороне распределение, которое, как таковое, все же может подвергаться значительным изменениям или вызывать их, но не определяет характера главного результата». По поводу этого Энгельс замечает:]

Эта заключительная фраза: «причем» и т. д. не прибавляет к закону ничего нового, потому что если закон верен, то распределение не может вносить в него никаких изменений. Итак, нет надобности говорить, что этот закон верен для всякой формы распределения, потому что ведь иначе он не был бы естественным законом. Но эта фраза добавлена лишь потому, что Дюринг все-таки постыдился формулировать ничем неприкрытый закон во всей его наготе. К тому же эта фраза бессмысленна. Ведь если распределение все-таки может вызывать значительные изменения, то его нельзя «оставить совершенно в стороне». Итак, мы вычеркиваем эту заключительную фразу и получаем тогда закон pur et simple — основной закон всей экономии.

[На стр. 70 Дюринг утверждает, что экономический прогресс зависит не не от суммы средств производства, а лишь от технических знаний. По поводу этого

Энгельс пишет:]

Лежащие в Ниле паровые плуги хедива и бесполезно стоящие в сараях молотилки русских дворян доказывают это. И для пара существуют исторические предварительные условия, которые, правда, сравнительно легко создать, но которые все же должны быть созданы. Но Дюринг очень гордится тем, что таким образом он до такой степени переистолковал вышеупомянутое положение, имеющее совершенно иной смысл, что эта «идея совпадает с нашим основным законом».

[По поводу дюринговой формулировки разделения труда—«обособление специальностей и разложение деятельности повышает производительность труда» (стр. 73)—Энгельс замечает:]

Эта формулировка ошибочна, так как она верна лишь для буржуазного производства, и (даже для него не всегда) разделение специальностей уже и там оказывается стеснительным для производства вследствие уродования и окостенения индивидуумов, но в будущем оно совершенно исчезнет. Уже здесь мы видим, что это разделение специальностей на нынешний лад представляется Дюрингу чем-то неизменным, следовательно (неустранимым) и для социалистического строя.